



ACADEMIA







**ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА**

Под общей редакцией  
А. К. Дживелегова

**МАССИМО Д'АДЗЕЛИО**

**(1798—1866)**

**А С А Д Е М И А**

Москва — Ленинград

МАССИМО Д'АДЗЕЛИО

# ЭТТОРЕ ФЬЕРАМОСКА

## ИЛИ БАРЛЕТТСКИЙ ТУРНИР

Перевод с итальянского  
Т. Гликмана и С. Розанова  
Статьи и примечания Ив. Гревса  
Редакция А. К. Дживелегова



А С А Д Е М І А  
1 9 3 4

**MASSIMO D'AZEGLIO**  
**Ettore Fieramosca**

*Супер-обложка, переплет  
и заставки Сарры Шор*







Массимо д'Азелио  
*С гравюры Белла*

**МАССИМО Д'АДЗЕЛИО**  
(Жизнь и творчество)

1

Массимо д'Адзелио, один из сыновей маркиза Чезаре Тапарелли д'Адзелио, родился в Турине 24 октября 1798 года. Предки его переселились некогда в Италию из Бретани и вошли в состав пьемонтской феодальной знати. Отец его, владевший несколькими замками и землями в Пьемонте, прошел военную школу, сражаясь под знаменами Савойской династии против натиска революционной Франции. Он был ревностный католик и преданно служил местной монархии. Жена его, Кристина, также принадлежавшая к аристократическому роду, прожила с ним 42 года и оставила рукописную биографию мужа, которою Массимо д'Адзелио пользуется в своих «Воспоминаниях», ценном источнике для изучения его жизни и состояния Италии в его время<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> *Massimo d'Azeglio, I miei ricordi* (2 изд., 2 тома, Firenze, 1867); имеется французский перевод.

Акты Венского конгресса (1814—1815), на котором ликвидировано было наследство Наполеона и определена новая политическая карта Европы, сохранили за Италией раздробленность; последняя была особенно характерною чертою внутреннего строя Италии в феодальные века, но и после долгих войн между великими державами Запада за обладание этой страной, наполнявших XVI, XVII и XVIII столетия, пестрота покрывавших ее площадь политических единиц уменьшилась только отчасти. Городские республики, главные носительницы хозяйственного и духовного развития Италии в прошлом, уже издавна потеряли почти всю свою самостоятельность, и территории их сплотились в княжества под абсолютною (часто тираническою) властью единоличных правителей; другие части страны были захвачены иностранцами.

Революционная Франция и Наполеоновская империя перекроили Италию по-новому. Венский же конгресс решил восстановить прежних государей или, — как выражались тогда на языке дипломатов, — утвердить «легальный» порядок. Надо бросить взгляд на конфигурацию Италии, какою она вышла из канцелярий Венского конгресса: этим наметится политическая среда, в которой суждено было расти Массимо д'Адзелино, представятся элементы и силы, влиявшие на его мысль и волю, откроется и ближайшая арена его деятельности.

На северо-западе находилось государство, с которым д'Адзелино был связан теснейшим образом своим рождением. Оно называлось королевством Сардинским, но главным ядром его был Пьемонт с столицею Туринном; к Пьемонту с севера примыкала Савойя и теперь присоединена была Генуя, одна из трех (Венеция, Генуя, Лукка) до того времени остававшихся в Италии старых республик.

Пьемонт был страной земледельческой; в горах земля была собственностью крестьян, в равнине принадлежала знатым фамилиям, крестьяне же являлись зависимыми съемщиками. Крупные помещицы имения передавались старшим сыновьям, младшие выбирали военную или гражданскую службу или вступали в духовный сан. В хозяйственном отношении население было отсталое, кроме генуэзцев, игравших большую роль в средневековой промышленности и торговле; но экономическое процветание Генуи уже давно было подорвано.

Указанный комплекс территории был предоставлен власти Савойского дома (король Виктор Эммануил I); он отменил реформы Наполеона и восстановил прежние устарелые законы и порядки. Король правил самодержавно, опираясь на дворянство и духовенство; последнему возвращены были земли, судейские привилегии, даны были широкие права в школьном просвещении, цензуре книг и полиции нравов.

Милан и Венеция с их территориями перешли к Австрии под наименованием Ломбардо-Венецианского королевства. Император правил им через наместника. Живое и деятельное население, добившееся высокого экономического развития, тяжело переносило фискальное и полицейское иго чужеземной монархии, главного оплота реакции в Европе.

В средней Италии—Парме, Модене, Лукке, Тоскане—утверждены были герцогами либо принцы Габсбургского дома, либо князья, подчиненные австрийской опеке. Только во Флоренции великие герцоги из Лотарингской ветви сохраняли начала политики просвещенного абсолютизма. Значительная средняя часть полуострова от Рима до Адриатического моря была занята папским церковным государством, и там ца-

рили, на основе полного экономического и умственного застоя, мрачная тирания высшего духовенства, иезуитов и вновь введенной инквизиции, своекорыстное управление и полицейский разгул.

Южная Италия—под названием королевства обеих Сицилий—была возвращена под власть прежде царствовавшей там отрасли испанских Бурбонов, представителей самой разнузданной реакции. Земля принадлежала королю и знати, светской и духовной. Масса населения, бедная и невежественная, жила под гнетом правительства и дворянства. Нужда и угнетения плодили разбои, как специфическое бытовое явление; образовались опасные разбойничьи ассоциации, ежедневно совершавшие насилия, и государство не могло справиться с ними.

Страна была разбита на осколки. Руководитель европейской реакции, австрийский министр Меттерних прямо объявлял, что «Италия—только географический термин». Устраивая Италию, дипломаты Венского конгресса нисколько не задумывались о ее народе; они заботились лишь о «европейском равновесии» в смысле обеспечения интересов великих держав. Зависимость от Австрии, стремившейся «властвовать, разделяя», тяготела над итальянским населением особенно невыносимо.

Абсолютизм давил и раздражал прогрессивные элементы дворянства и городской буржуазии, требовавшие участия в законодательстве и управлении, свободы слова и неприкосновенности личности. Разделение возмущало эти слои, уже тогда жаждавшие единства нации. Инициаторы борьбы выходили из среды людей свободных профессий, адвокатов, врачей, писателей, художников, учительства, профессоров и студентов, а также из офицерства. Крестьянство, за-

давленное нуждою, зависимостью и темнотою, было слишком подчинено религиозным суевериям, чтобы в нем могла пробудиться способность к коллективной борьбе за освобождение. Стихийные порывы вспыхивали иногда в городском пролетариате, но он был еще малочислен, слаб и разрознён<sup>1</sup>. Сильнее всего волнение ощущалось в передовых областях Италии, — Ломбардии и Венеции, отчасти в Тоскане и в папской Романье; там кипела ненависть во всех слоях и быстро накапливался революционный материал.

На родине Массимо д'Адзелио, в Пьемонте, сохранялось много архаических черт в хозяйстве, быту и нравах, много консерватизма в привычках и общественных настроениях. Дворянство не отличалось экономической предприимчивостью, довольствуясь в общем старыми оброками. В городах промышленный капитализм развивался слабо; только в Генуе, в порту, образовался значительный слой наемных рабочих, которые и будут заметно участвовать в последующих исторических событиях.

Умственный уровень общества в Пьемонте стоял также ниже, чем в соседних центрах Италии, и Турин не играл видной роли в сознании и деятельности итальянской интеллигенции. Но Савойская династия увлекалась планами руководить судьбами Италии. Условия сочетались так, что Пьемонт стал исходною точкою объединенного движения.

Массимо д'Адзелио впоследствии говорил: «Пьемонтцы далеки от притязания на более высокий ум и

---

<sup>1</sup> На юге Италии крестьянство поддерживало установившийся режим если не сочувствием, то равнодушием. А когда там начулся движения против абсолютизма, бесчисленные неаполитанские ладзарони за деньги будут держать сторону короля против революционеров.

более богатые дарования, чем остальные итальянцы, но характер у них более твердый, оттого им выпало на долю прекрасное дело—положить почин освобождению Италии».

## 2

Семья, в которой родился д'Адзелио, принадлежала к титулованному дворянству, но не обладала очень крупным состоянием. Родители его жили сравнительно просто: пьемонтская знать в общем сохраняла еще патриархальные обычаи в своих отношениях с дворянами и крестьянами.

Отец его стоял довольно близко к двору, но не добивался видных должностей. Он сумел развить в сыновьях способность к труду и чувство долга. Он считал, что надобно проходить через школу страдания, чтобы научиться самоотвержению. Так рисует Массимо систему отца. Он умел внушить сыну незыблемое уважение. Мать подчинялась авторитету мужа, смягчая его строгость добротой и лаской. Развивая в сыновьях общественные и нравственные принципы, отец руководился, разумеется, сословными соображениями: он хотел, чтобы они стали *galantuomini* (т. е. джентльменами). Он развивал в них верность строю, унаследованному от предков, и всем классовым традициям.

Когда Пьемонт был завоеван французами, Чезаре д'Адзелио уехал во Флоренцию и там, на свободе от службы, занялся воспитанием детей при помощи педагогов, между прочим и духовных, как это было в обычае<sup>1</sup>. Массимо провел в столице Тосканы часть детства; он всю жизнь оставался привязан к знаме-

---

<sup>1</sup> Д'Адзелио указывает, что иезуитская система портила его характер и искажала религиозность.

питому городу, бывшему когда-то блестящим центром Ренессанса.

После падения Наполеона семья вернулась в Турин. Массимо рано стал посещать там университет, в котором преподавание носило элементарный, школьный характер. Он так изображает себя: «В 16 лет я был высоким, крепким юношей... Я полон был жажды видеть, узнавать, странствовать; я носился повсюду, будто какой-то дьявол сидел в моем теле, я рвался освободиться от стеснявших меня пут».

В 1815 году отец был назначен королевским посланцем при дворе папы. Вся семья прожила с ним в Риме несколько лет. Массимо остался в Вечном городе и после отъезда родителей. Он со страстью путешествовал по Италии. Избавившись от домашней опеки, он отдался было рассеянной жизни, но скоро погрузился в напряженный труд дальнейшего самообразования. Годы его жизни в Риме были заполнены изучением книг и памятников, а также общением с людьми и непосредственным накоплением жизненного опыта. У него создались два центра духовных интересов: искусство и литература. Он изучал древность и ревностно занимался живописью, к которой рано почувствовал призвание. Постепенно в нем созрел пейзажист и исторический живописец. Картины его стали обращать на себя внимание на выставках (позже попадали даже в Париж) и охотно покупались любителями<sup>1</sup>. Они не были первоклассными произведениями, но в них было живое и искреннее чувство действительности. Писал он сначала робко, хотя и стремясь отойти от шаблонов, но в то же время боясь преувеличений

---

<sup>1</sup> Их можно видеть и теперь в картинных галереях Турина и Милана.



реализма, к которому чувствовал склонность. Краски у него были мягкие, бледноватые, но теплые, освещение сдержанное, атмосфера золотистая.

Отец, в заботе о служебной карьере сына, убедил его прервать обучение искусству и вступить на военное поприще. Массимо пробыл некоторое время в Турине офицером гвардейского кавалерийского полка. Но военная служба скоро опостылела ему; наскучили и пустые развлечения грубоватого общества пьемонтской столицы, и кутежи с военной молодежью. Массимо снял мундир и вернулся в Рим, в мастерскую художника, для совершенствования в искусстве.

Новые римские годы много дали для образования его ума и формирования характера. Увлекался он еще музыкой и с жадностью отдавался изучению литературы—старой и новой, своей и чужой.

Любимыми его писателями стали Данте и Ариосто. Передовые люди Италии обращались тогда к великому автору «Божественной Комедии», не только как к гениальному поэту, но и как к провозвестнику национального возрождения, которое теперь вновь волновало сердца. Из новых поэтов своим национальным энтузиазмом влиял на Адзелио Альфиери. Сам Массимо сочинял поэмы, оды и сонеты, «трепетавшие любовью к Италии»; в писательстве он, стараясь отбросить риторику, искал обновляющих форм для реальной правды.

Наблюдение жизни, переживание событий, встречи с выдающимися людьми в Риме и Италии обогатили его опытом. Живя в центре католичества, знакомясь с разложением церкви и ужасающей действительностью папской монархии, видя бедствия населения на юге Италии и в областях, находящихся под игом Австрии, он не мог остаться равнодушным к политическим инте-

ресам, все острее захватывавшим идейно настроенных людей.

Д'Адзелио был тогда затронут республиканскими мотивами в поэзии Альфиери. Что же касается церкви, он воочию убедился в полном разложении духовенства сверху донизу и, оставаясь убежденным католиком, усомнился в возможности терпеть далее светскую власть папы, хотя продолжал признавать его права на главенство в вопросах религии и в управлении церковью.

Он сообщает, что ему опротивела придворная знать в Турине; наблюдение растленной римской аристократии утвердило его в таком отвращении.

Поводом больших переживаний для д'Адзелио послужили революционные события в Неаполе в 1820 году и в Пьемонте в 1821 году. Возбудителями их были тайные общества, размножившиеся тогда в Италии повсеместно. Возникли они уже в первые годы XIX века для борьбы с французским завоеванием, будто бы среди угольщиков Калабрии; поэтому члены их именовались карбонарами. Они первые поднялись против «тиранов» и чужеземных господ.

В интересующее нас время союз карбонаров представлял революционную организацию, пополняемую из недовольных различных слоев, преимущественно интеллигенции, военных и горожан. Имя карбонаров получило переносное значение для людей, радикально настроенных и готовых вступить в заговор против существующего строя. Формы устройства, конспиративные приемы и секретный, символический церемониал они заимствовали от масонов. Для обозначения своих групп, должностных лиц и членов они условно приняли термины цеха угольщиков. Общество было организовано централистически: местные ячейки—«вендиты», как

у масонов «ложы»—подчинялись одному центру; все члены находились в строгой иерархической субординации друг к другу; они давали клятву верности общему делу; за предательство им грозила смерть.

Численность карбонаров возрастала; в 1820 году они насчитывали несколько сот тысяч членов. Власти боролись против них репрессиями и казнями, устраивали для сыска «контробщества». В Неаполе союз против карбонаров назывался «кальдерарами» (котельщиками); в церковном государстве образовался союз «сан-федистов» (защитников веры). Они действовали шпионством и доносами. Карбонары отвечали заговорами и террором.

Они замыслили вооруженное восстание. Крайние требовали объединения Италии в федеральную республику; более умеренные удовлетворялись низвержением абсолютизма. Внешним толчком для взрыва явилась успешная революция 1820 года в Испании. Движение вылилось в Неаполе в форму военного бунта, к которому присоединились группы городских рабочих. Напуганный король Фердинанд IV присягнул конституции, но после прибытия австрийского войска немедленно изменил присяге. В Турине взбунтовавшиеся солдаты, сагитированные студентами университета, также требовали конституции; король Виктор Эммануил отказался от престола; брат его и преемник Карл Феликс призвал на помощь Австрию; восстание было подавлено и здесь. За разгромом восстания последовали репрессии; вожди были казнены или скрылись за границей. В Ломбардии также происходили волнения, поднятые карбонарами. Австрийское правительство усилило преследования; миланские «либераль» и «патриоты» подвергались пыткам в страшных австрийских тюрьмах. Писатель Сильвио Пеллико перенес дол-

голетнее заключение в политической тюрьме Шпильберг в Моравии, и описал его в прославившейся книге «I miei prigionieri» (Мои темницы).

Для Италии настали еще более тяжелые годы, отмеченные гнетом победившей реакции и упадком революционной энергии. Но потребность обновления была так настоятельна, что борьба не могла потухнуть; собирались новые силы.

### 3

Д'Адзелио не был ни в Неаполе в 1820 году, ни в Турине в 1821. Он не присутствовал при восстаниях и не пережил момента их кратковременного торжества. Но он увидел в Риме печальные последствия разгрома. События должны были произвести сильное действие на его мысль и чувство.

Трудно сказать, насколько он уже тогда утвердился в отрицательной оценке революционных способов освобождения Италии. Мемуары его выражают взгляды, сложившиеся к старости. Но можно думать, что под влиянием настроений близких ему кругов он отнесся к революционному движению отрицательно.

Он говорит, что никогда не был карбонаром. Он уважал некоторых вождей движения, но их действий не одобрял. По его мнению страна не была готова к реформам, и восстания надолго отодвигали освобождение. Особенно неприемлемо для него было военное восстание. У него не было революционного темперамента, а сословные и классовые предрассудки, в которых он вырос, держали его мысль в крепких тисках.

Еще несколько лет он продолжал заниматься искусством в Риме; живопись не только удовлетворяла его вкусам, но служила ему заработком: отец поддерживал его не очень щедро, желая, чтобы он научился жить

собственным трудом. Собирая материалы и сюжеты для картин, он продолжал путешествовать по Италии, бывал и во Франции; в его образовании был силен французский элемент.

Странствования познакомили его с населением различных областей Италии, он перестал быть «пьемонтцем», стал «итальянцем» и в нем усилился интерес к общественным делам. Он окончательно убедился, что абсолютизм—основной враг, а для его уничтожения необходимо свержение австрийского ига, потому что повсюду в Италии он получал поддержку именно из Австрии. Д'Адзелио приходил к выводу, что победу над внутренним деспотизмом может дать только сплоченное мнение сознательных элементов общества. Военного восстания он не допускал, на народные массы не рассчитывал, ссылаясь на их подавленность, темноту и политическую апатию. При таком состоянии страны тайные заговоры и революционные вспышки могли, по его мнению, только вредить.

Политическую теорию, которая мало-по-малу слагалась в его сознании, он называет идеей пассивного сопротивления. Она требует терпения, медленного действия, большой выдержки,—только так, думал он, можно прийти к победе. Свою мысль он подкрепляет историческими ссылками: карбонарское восстание привело к тяжелому краху, а вот либеральное движение сороковых годов в Пьемонте достигло торжества над абсолютизмом. Это и есть революция общественного мнения, окрепшего и претворяющегося в факты.

На деле д'Адзелио был типичный либерал, чья теория и практика отражали политическое бессилие и предательскую по отношению к массам тактику экономически слабой и раздробленной итальянской буржуазии 20—30-х годов.

Представление д'Адзелио о силах, движущих общественную жизнь, имеет доктринерский характер. Д'Адзелио не понимает сложности исторических процессов, не видит неизбежности революции. Односторонность его взгляда объясняется, конечно, не только и не столько его личными качествами, а кругозором того класса, к которому он принадлежал по происхождению и с которым был связан всеми своими интересами. События общественной жизни он истолковывал в духе своей доктрины. Он убедился на опыте, что старые отношения неустойчивы, что переворот назрел, но с типичной близорукостью либерального буржуа он надеется на осуществление этого переворота без кровопролития и гражданской войны, когда созреют «нужные силы». Так формулировал он свою точку зрения, когда план действий выработался у него вполне и не в виде далекой перспективы, а в виде практической программы на ближайшие годы. Ненавидя «насилие», он хотя и мирился с неизбежностью открытой войны против Австрии, но неизменно и решительно высказывался против революционного движения внутри страны.

До 1827 года д'Адзелио жил в Риме, все более становясь профессиональным художником, но в то же время интерес его к современности усиливался, и он внимательно изучал «людскую породу». Записки его показывают, как много он знал из того, что совершалось вокруг него. Потом он вернулся в Турин. Общественная жизнь там угнетала его: в правление Карла Феликса абсолютизм безраздельно царил в Пьемонте.

Отыскивая тему для исторической картины, д'Адзелио наткнулся на рассказ историка XVI века Гвиччардини из времен борьбы Италии с Францией в первые годы столетия; рассказ заключал в себе эффектный сюжет для картины. Историк рассказывал о турнире

группы итальянских рыцарей с группой французских по вызову первых, воодушевленных страстным желанием выказать свою доблесть и патриотизм. Д'Адзелио назвал свою картину «Поединок в Барлетте». Но, по мере знакомства с событием, он загорелся намерением разработать этот момент из истории борьбы Италии с чужеземцами не только в красках, но и в слове, дополнив историческую картину историческим романом.

Так вернулся он к литературной работе, в которой пробоval свои силы еще в ранней юности. Возник роман «Этторе Фьерамоска». Д'Адзелио прочел первые главы своему другу Чезаре Бальбо; одобрение последнего дало ему энергию для продолжения работы.

Но литературная жизнь в Турине была так же бедна, как и политическая; д'Адзелио нужна была более культурная среда. После смерти отца (в конце 1830 года) он перебрался в Милан, где надеялся найти вдохновителей, советчиков и сотрудников. Тут начался новый 12-летний период его жизни, в течение которого он, продолжая деятельность художника, работал главным образом как беллетрист.

Как ни тяжело было положение Ломбардии под австрийскою пятой, но в Милане умственная жизнь не заглохла. Милан был одним из самых богатых центров Возрождения в XV и XVI вв.; он сохранил значительную культурную силу вплоть до XIX века, несмотря на пережитый им долгий период упадка. Для д'Адзелио здесь открылся желанный круг знакомств в литературном мире.

Еще в конце XVIII века в итальянской литературе было заметно увлечение французскою революцией. Аббат Парини и граф Альфиери—разночинец и аристократ—оба захвачены лозунгами национального освобождения и тираноборства. Граф Фантони и Джованни

Пиндемонте в классическом стиле воспевают идеи якобинцев; взор их устремлен на язвы, от которых страдает Италия. Временно поэты Италии прославляют Наполеона, как освободителя страны от тиранов. Но скоро поклонение перед ним сменяется ненавистью. Наполеон обманул надежды итальянских патриотов, дав Италии не свободу, а рабство.

В творчестве Уго Фосколо (1778—1827) звучит глубокое разочарование и гнев; но он остается верен революционному идеалу; он хочет не только свержения абсолютизма, но всеобщего равенства, чтобы не было ни богатых, ни бедных. Настоящее навеваёт на него только грусть. Это сильнее всего выражено в его романе «Последние письма Якопо Ортиса». Роман написан под влиянием «Вертера», но проникнут не отвлеченной мировой скорбью, как у Гете, а конкретным политическим пессимизмом после утраты неосуществившихся надежд на свободу и счастье родины.

Фосколо был учеником Парини, и сам стал учителем поэтов следующего поколения. Карбонарское движение вновь вызвало усиление революционного энтузиазма и в итальянских писателях. Огромное влияние в этом направлении оказала могучая фигура Байрона. Он жил в Италии, был карбонаром и горячо принимал к сердцу беды этой страны. Но и сама Италия рождала певцов карбонаризма. В Неаполе волновала сердца лира Габриэле Россетти, в Пьемонте раздавались «Песни о бедствиях Италии» Даниэле Берше. Оба принуждены были спасать свою жизнь в чужих краях.

Разгром восстаний 20-х годов привел к тому, что в рядах идеологов придавленной чужеземной властью, княжеским деспотизмом и феодализмом буржуазии увеличилось число сторонников мирного прогресса и воз-



держания от заговоров и вооруженных выступлений. Оформилась группа «умеренных», «либералов», отказывающихся от революционных методов. В литературе проводником этого течения явилась романтическая школа.

К ней принадлежал еще раньше Сильвио Пеллико (1789—1851), тоже пьемонтец, основавший в 1819 году в Милане журнал «Il Conciliatore» (Примиритель). Однако, как мы видели, и этот умеренный, чисто соглашательски настроенный писатель надолго попал в австрийскую тюрьму. Последнее окончательно разуверило его в возможности активной борьбы, и он стал призывать к терпению, покорности и самоусовершенствованию, стал доказывать, что каждый должен заняться выработкой в себе стоической твердости характера, чтобы создалась порода людей, способных подготовить родине независимость в будущем.

Романтизм не носил в Италии столь реакционной окраски, как в Германии. Итальянские романтики, при всей своей умеренности, все же смотрели вперед, а если обращались к прошлому, то искали в нем образцов для свободного будущего. Сильвио Пеллико утверждал, что «романтизм», зовущий к «гуманности», есть «либерализм», отстаивающий освобождение.

Главою миланских романтиков был Алессандро Манцони (1785—1873). Это был талантливый поэт-лирик, драматург и романист, образованный и настроенный либерально. Он был внук философа и публициста Чезаре Беккариа, автора знаменитого трактата «О преступлениях и наказаниях» (1764), в котором нашли отражение некоторые просветительские идеи XVIII века. Освободительные заветы Беккарии хранились в семье Манцони. В юности Манцони сочувствовал революционным идеям, но потом «разочаровался» и примкнул к

романтическому либерализму. Как и Пеллико он развивал мысль, что нравственная высота личности—необходимая предпосылка для национального освобождения, и пока она не достигнута, нужно воздерживаться от решительных действий. Его миросозерцание было окрашено в религиозные тона.

Манцони считал, что цель поэзии—польза и благо людей; основная тема ее—истина, средства—увлекательность художественного изображения. Поэтическую проповедь он обращал к просвещенным людям демократического происхождения и стремился вдохнуть в них жажду избавления от власти иностранцев и от гнета абсолютизма. В этом—пафос его трагедий и исторического романа «Обрученные» («I Promessi sposi»). Сюжет последнего—злключения молодой крестьянской четы; но за этой личной драмой раскрывается мрачное историческое полотно—картина испанского владычества в Италии. Роман Манцони дышит вдохновением, полон исторической правды и художественного реализма. Не говоря о чистой беллетристике, он оказал сильное влияние и на политическую литературу Италии.

Д'Адзелио вошел в кружок Манцони, а затем женился на его дочери Джулии. В кружке чтилась память сошедших со сцены Беккариа, Парини, Пеллико, Фосколо, Монти и др. Это был литературный центр либерально-национального движения. В этой атмосфере д'Адзелио энергично продолжал работу над романом; Манцони и Гросси одобряли его. В 1833 году «Этторе Фьерамоска» был напечатан, пройдя мытарства австрийской цензуры. Книга имела блестящий успех. Форма исторического романа была уже популярна в итальянской литературе; Вальтер Скотт служил здесь образцом, и все крупные писатели культивировали этот жанр. Не-

задолго перед тем вышли «Обрученные» Манцони, Гверацци только что прославился «Битвою при Беневенре» и—одновременно с д'Адзелио—Гросси работал над своим «Марко Висконти».

Д'Адзелио разделял взгляд Манцони на художественную литературу: она должна преследовать моральные и общественные цели, быть полезною для жизни. «Я стремился предпринять медленный труд содействия возрождению национального характера, вызвать в сердцах благородные чувства. Может быть, я уклонился от какого-нибудь правила литературной теории, но если бы все писатели мира обвинили меня, что я нарушил правила, на меня бы это не подействовало, если бы я знал, что, вопреки правилам, я зажег сердца».

Такова была тенденция всей итальянской патристической литературы: своей задачей она ставила не осуществление определенного художественного канона, а общественно-воспитательное воздействие. Выбор сюжета, его трактовка, пафос всего произведения вытекали из основного намерения: пробудить чувство национальной доблести и энтузиазм борьбы за независимость. Считали, что высота задачи, при наличии у автора таланта, гарантирует художественность исполнения; при отсутствии этой высоты исчезнет и художественность.

«Этторе Фьерамоска» был одним из первых после «Обрученных» Манцони историческим романом с политической и патристической тенденцией. В этом его главное значение. Политическая задача заключалась в том, чтобы минорным тонам «Обрученных», которые в политическом плане представляли собою плач над Италией, дать бодрое, мажорное дополнение. Д'Адзелио и дал его в «Фьерамоске». Но задача эта была

трудная. В прошлом Италии нужно было найти такие факты, которые можно было бы сделать убедительным материалом для бодрой, воспламеняющей умы политической проповеди. А прошлое Италии в политическом отношении давало очень мало такого материала. Нужно было ведь брать Италию в борьбе с чужеземцами, а не внутренние итальянские усобицы и войны. А в борьбе с чужеземцами Италия, как целое, чаще всего была бита, и героических реминисценций ее столкновения с чужеземными врагами не вызывали.

Д'Адзелио первый нашел тему: маленький эпизод из Гвиччардиниевой «Истории Италии» о победе 13 итальянцев над 13 французами в бою на огороженном пространстве. Эпизод был ничтожный, политического значения не имел никакого, общего грустного итога столкновения с чужеземцами не менял ни в какой мере, но давал полную возможность показать яркую картину Италии начала XVI века и сколько угодно трубить в патриотические фанфары. Выполнение этих двух условий исчерпывало социальный заказ либеральной буржуазии эпохи Resorgimento, и д'Адзелио этот заказ выполнил блестяще. Его большой литературной заслугой было то, что он не только трубил в фанфары, но дал в романе ряд превосходных картин, рисующих быт и культуру Италии XVI века, портреты людей того времени, изображение событий. Рисорджиментные мотивы преходящи, пластическая картина имеет значение длительное. Ей обязан роман тем, что его не только без конца переиздают в Италии, но до сих пор не перестают переводить.

Ободренный успехом первого романа, д'Адзелио принялся за второй. «Никколо де Лапи» вышел в Милане в 1841 году. Тема взята из истории Флоренции XVI века, из эпохи последней борьбы средневековой рес-

публики против внедрявшегося абсолютизма. Роман повествует о судьбе одной семьи во время осады Флоренции войсками императора Карла V, преследующего цель укрепить власть Медичи над непокорной коммуной. Не вступая в соперничество с Гвераци и его «Осадой Флоренции», автор не дает широкой картины политической и военной жизни республики в последний героический период ее существования, а рисует интимный эпизод, в котором воплощается гибель свободы. Обладая даром колоритного изображения, автор преследует цель пробудить любовь к родине и стремление защитить ее от иностранцев и тиранов.

«Никколо де Лапи» был также встречен с одобрением. Д'Адзелио приступил к работе над третьим романом—«Ломбардская лига», но оставил его неоконченным. Коллективным героем его является союз средневековых городов Ломбардии. Они всеми силами боролись против императора Фридриха Барбароссы и отстаивали свободу,—этим напоминанием автор хотел вдохнуть в современную Ломбардию патриотический пыл и решимость свергнуть ненавистное австрийское иго.

В беллетристических произведениях д'Адзелио не выдвигает доблестей дворянства и рыцарства, а все свои надежды возлагает на средний класс, т. е. буржуазию. Знатных он рисует насильниками, совратителями и безбожниками<sup>1</sup>. Положительные типы у него принадлежат почти всегда к среднему сословию: Фьерамоска—человек незнатный и бедный; Никколо де Лапи—флорентийский купец; в третьем романе в ка-

---

<sup>1</sup> Нужно отметить, что религиозность проникает все сочинения этого буржуазного патриота, а Провидение представляется ему силой, руководящей процессом истории.

честве героя действует городская торгово-промышленная буржуазия. Как беллетрист и как публицист он прямо называет себя защитником буржуазии (*avvocato della classe borghese*).

Миланские впечатления приблизили д'Адзелио к практической политике. Он окончательно упрочился в том мнении, что Австрия—главный враг и что первая задача возрождения Италии—освободиться от владычества «немцев». Средневековый девиз «долой варваров» наполнился для него новым смыслом. Наблюдая окружающие условия, он утверждался в необходимости конституционных реформ при содействии того из правительств Италии, которое окажется способным осуществить такую инициативу.

Дело представлялось ему нелегким. Противником были не только силы Австрии, но также упорство абсолютизма и «косность» народных масс; с другой стороны, его пугали революционные организации внутри страны, которые, ему казалось, могли возбудить несбыточные надежды и зажечь пожар, который, как он думал, приведет лишь к тяжелым, бесполезным жертвам и помешает осуществлению достижимых целей.

Волнения действительно не умолкали. Последние карбонары вызвали в 1831 году восстание в папской области Романье, но оно было быстро подавлено австрийским оружием. В Генуе впервые появляющийся на исторической сцене Гарибальди пытался поднять флот. Из Швейцарии вторгается в Савойю группа революционеров, рассчитывая взволновать Пьемонт с севера (1834). Много горючего материала хлопотало под почвой и в других частях полуострова.

Все попытки потерпели крушение; но сторонники решительной борьбы не складывали рук; они организовывались по-новому. Так возник союз «Молодой

Италии». Вождем движения был Джузеппе Мадзини, — одна из крупнейших фигур Рисорджименто.

Родом из Генуи (1805), Мадзини учился там в университете, занимаясь литературой и примыкая к романтикам. Уже в юности он попал в пьемонтскую тюрьму за агитацию. Вырвавшись на свободу, он из изгнания стал звать самоотверженных патриотов на борьбу против внешних и внутренних врагов Италии.

«Молодая Италия» представляла тайное общество, разветвляющееся по всей стране. Оно должно было собрать боевые силы, вооружить их и воодушевить к действию. Оно выступило против «умеренных». Жалобы Гварацци и моральная проповедь Манцони недостаточны; надобна героическая доблесть. Зовите трудовой народ к борьбе за свободу от тирании чужеземцев, собственных правительств, чиновников, богатых и знатных. Революция восторжествует, когда в ней примет участие народ. Она должна совершиться в его интересах.

Италия будущего не должна быть союзом различных государств, а единой демократической республикой. Рим в третий раз станет центром мира, объединяя справедливый закон с христианским альтруизмом в новое социальное евангелие. Только нераздельная республика со столицей Римом создаст равенство; Италия станет во главе европейской федерации свободных национальностей, как их идейный вождь.

Так проповедывал Мадзини. Он был религиозно настроен, но отвергал «испорченное» католичество, а выдвигал идею «истинного христианства», свободного от вероисповедных предрассудков. Он сам говорил, что его девизом было «бог и народ».

Мадзини был убежден, что настал канун общей революции, и только зазвучит труба «Молодой Ита-

лий», как поднимутся полки бойцов, готовых на все для великого дела; пьемонтская армия двинется с ними и изгонит ненавистных австрийцев. В открытом письме новому королю Пьемонта Карлу Альберту (вступившему на престол в 1831 году) Мадзини звал его стать во главе движения, грозя, что в противном случае он погубит свою власть. Программа Мадзини находила широкий отклик в разночинной, проникнутой стремлением к национальному освобождению, итальянской интеллигенции. Ячейки «Молодой Италии» множились, захватывая даже кое-где и крестьянские, рабочие и солдатские группы.

Подшли сороковые годы. В широких кругах населения атмосфера накалилась.

В умеренно-прогрессивных кругах наметились различные направления. Одно из них—представители которых называли себя «неогвельфами»—может быть названо партией католического возрождения. Оно состояло из последователей романтиков школы Манцони, проповедывало очищение религии, свободы церкви и наступление эры обновленного папства, которое станет вождем мира и покровителем слабых и угнетенных. Проникнутые отвлеченным гуманизмом, «неогвельфы» строили сентиментальные утопии примирения классов, рисовали идеальный строй, в котором священники и монарх, проникнутые чувством справедливости и сострадания, будут править народом к его благу и счастью.

Это были реакционные моралисты и мечтатели, но картины общественных бед, ими рисуемые, выставляли на вид язвы существующего и обостряли критику современности. Идеи неогвельфской школы развивались павийским философом Романьози и историком Чезаре Канту, флорентийцами Джино Каппони, Никколо Томазео и др. Но самую большую популярность из



выступлений этой группы приобрела брошюра туринского профессора, священника и философа Винченцо Джоберти—«Нравственное и гражданское первенство итальянцев» (1843). Проникнутый верой в высокое назначение итальянского народа, он рисовал картину объединения Италии в форме союза свободных государств под главенством папы-преобразователя, который провиденциально появится, чтобы обновить церковь и общество. Все итальянские государства соединятся и все классы общества забудут свои несогласия, чтобы вместе добыть независимость, а пьемонтский король явится правой рукою папы-спасителя, когда тот подымет из Рима призыв к возрождению Италии, а за нею и мира.

Идеи Джоберти были мессионистской реакционной утопией, но автор затрогивал струны, остро звучащие в жаждавших новой Италии душах буржуазных интеллигентов; он вскрывал реальные бедствия, и его пламенные речи привлекали страстное внимание.

Рядом раздавались и более реалистические голоса. В своей книге «Надежды Италии» (1844) Чезаре Бальбо обращался к королю Пьемонта, вызывая его на борьбу с иноземным владычеством. Освободить Италию от австрийцев—это первый долг, без этого немислимы независимость и федерация Италии. Она должна перестать быть только «страною оливы», должна очнуться от апатии, воспрянуть духом.

По линии, намеченной его другом Бальбо, направился и д'Адзеллио, но он пошел дальше Бальбо. Он не мог разделять бессмысленных мечтаний Джоберти, потому что хорошо знал папские порядки. Он старался подвинуть Карла Альберта на борьбу за объединение Италии. Он работал для сближения либеральных элементов Пьемонта и Тосканы, а также на папской территории.

Он провел в Романье часть 1845 года, пропагандируя свой план реформ и полемизируя со сторонниками «Молодой Италии». После новой попытки волнения в Римини он выпустил свою брошюру «О последних событиях в Романье», противопоставляя «безнадежным» революционным усилиям свою излюбленную идею организации общественных сил для разрешения насущных политических задач: освобождения от Австрии, установления конституционного строя и федеративного объединения. Тут же он едко критикует политический режим папского государства и объявляет короля Пьемонта руководителем национального дела.

Но Карл Альберт отнюдь не был создан для такой роли. Он цеплялся за абсолютизм; характер его был нерешительный и неискренний; он жестоко боялся революций; честолюбец, высоко мнивший о своем достоинстве, он трусил перед великими державами. Перемены фронта в его политике раздражали оппозиционные элементы, и он заслужил презрительную кличку «короля-флюгера».

Однако давление оппозиции и угроза революции толкали его к уступкам, а унижительная зависимость от Австрии вызывала протест.

Событием, пробудившим воодушевление в широких кругах, было избрание на папский престол после смерти Григория XVI, бывшего столпом реакции, кардинала Джованни Мария Масаи Феррета, принявшего имя Пия IX (1846). Первые шаги его—распоряжение об амнистии, обещание общих реформ и смягчение полицейского режима—возбудили всеобщее сочувствие.

Это сочувствие разделял и д'Адзелио. Он не поверил, что сбывается мечта Джоберти, но считал, что такой человек на папском престоле—важное условие для успеха движения в мирных формах. Кружок римских

либералов пригласил д'Адзелио в Рим для поддержания их усилий укрепить Пия IX на принятом пути.

Д'Адзелио вступил в непосредственные сношения с папою и настойчиво работал для дела реформы. Он являлся посредником между папой и Карлом Альбертом, полным доверием которого пользовался. Но как и следовало ожидать, либерализм Пия в атмосфере Ватикана скоро выдохся: у папы не было ни способностей, ни воли, достаточной для того, чтобы противоставить застарелым традициям и махровому мракобесию кардинальской коллегии сколько-нибудь твердый курс. Противоречие между многовековым прошлым неограниченной духовной и светской власти и неотложными требованиями современности оказалось непреодолимым. И д'Адзелио пришлось окончательно убедиться в невозможности освобождения Италии при сохранении светской власти папы.

Он удвоил старания убедить Карла Альберта стать во главе разгоравшегося движения и направить это движение по тому руслу, которое, казалось ему, приведет к ближайшей цели. После одной из своих разведочных и агитационных поездок по Италии, он явился к королю, обрисовал ему критическое положение вещей и горячо призывал его к выполнению «долга чести». Пусть король даст свободу стране, и «благоразумные элементы» поддержат порядок. Иначе—революция.

Король будто бы ответил: «Скажите вашим друзьям, пусть будут покойны; моя жизнь, жизнь моих сыновей, моя казна, мое войско—все будет отдано на дело Италии»<sup>1</sup>. Д'Адзелио вышел из дворца, полный надежд. А затем одно за другим последовали события.

---

<sup>1</sup> Свою речь королю и его ответ д'Адзелио приводит в своих воспоминаниях, которые на этом обрываются.

Карл Альберт, долго живший «между кинжалом заговорщика и отравленным шоколадом иезуитов», был против воли вовлечен во внешнюю борьбу и принужден к внутренним уступкам. Он начал с учреждения гражданской гвардии, реформы суда, ослабления цензуры. Начался 1848 год. Народное восстание в Сицилии и Неаполе заставило короля согласиться на конституцию. Карл Альберт «октроировал» Пьемонту хартию по типу французской 1830 года в начале февраля. Его примеру последовал великий герцог тосканский, а после февральской революции во Франции на тот же шаг решился и Пий IX.

В Милане росло волнение. В январе оно приняло своеобразную форму «табачного бунта», т. е. обструкции против правительственной монополии на курительные изделия. А в марте там вспыхнула настоящая революция («пять дней»), настолько грозная, что начальник австрийских войск фельдмаршал Радецкий должен был очистить Милан и отступить к востоку, опасаясь быть отрезанным от Австрии, особенно после того, как революция произошла и в Венеции. Обе восставшие области—Ломбардия и Венеция—присоединились к Пьемонту. Жребий был брошен. Карл Альберт присвоил себе известный лозунг «Италия сама решит свою судьбу» (*Italia fara da se*).

События вызывали радость в д'Адзелио: его политические идеи слагались под влиянием школы Манцони; но он внес в беллетристику, а теперь и в публицистику ноту бодрой готовности к борьбе за освобождение. Своими писаниями, организационной и агитационной работой и широкими связями он приобрел в либеральных кругах значение одного из главных руководителей. Он укрепил Карла Альберта в решимости стать во главе борьбы, и его резкий памфлет

«О бедствиях Ломбардии» был последним толчком к разрыву Пьемонта с Австрией.

В войне приняли участие также папские и тосканские войска, ввиду того, что была нарушена неприкосновенность папской области и Тосканы. Д'Адзелио вступил в действующий состав папских военных сил в должности помощника командовавшего ими генерала Дурандо. Он выдержал всю осаду Виченцы, был тяжело ранен в ногу, но оставил войско только тогда, когда город был принужден капитулировать.

Пьемонт совершил решительный шаг. Война началась при благоприятных условиях. Австрийцы были поставлены в положение почти критическое. Но грубые стратегические ошибки бездарных генералов Карла Альберта и его собственные проволочки и сомнения помешали использовать успех; счастье перешло на сторону Австрии, и кампания окончилась для Пьемонта катастрофой при Наваре (23 марта 1849): Ломбардия была потеряна, Венеция предоставлена себе, неприятель готовился к походу на Турин.

Под ударом жестокого поражения Карл Альберт отрекся от престола в пользу сына; Виктор Эммануил II присягнул на верность конституции. Для дальнейшей борьбы с Австрией не было ни военных сил, ни финансовых средств. Внутри обострилась борьба между консерваторами, либералами и республиканцами мадзинистами. Глухое брожение начинало подниматься в крестьянстве, в Генуе разразились волнения рабочих. Правительство боялось проникновения из Франции пропаганды социализма. В остальной Италии революционное движение 1848 года было подавлено, и повсеместно торжествовала реакция. Республике, провозглашенной в Риме после бегства папы, был положен конец присланными французскими войсками. Мадзини и Гари-

бальди должны были спасаться. После возвращения Пия IX папский абсолютизм был восстановлен в полной силе. В Неаполе и Сицилии утвердились прежние порядки. Герцоги при помощи победившей Австрии возвратились в Парму, Модену и Флоренцию. Для Италии наступила полоса новых бедствий.

Что ждало Пьемонт? Прежде всего ему необходимо было заключить приемлемый мир. Это было нелегко: требования победителей были сначала суровы, и общественное мнение настойчиво требовало продолжения войны. Виктор Эммануил назначил д'Адзелио главой правительства (в мае 1849). Это была кульминация его политической карьеры. Надо было успокоить воинственное настроение парламентского большинства и добиться от Австрии уступок.

Там готовы были согласиться на мягкие условия, — лишь бы король отказался от конституции. Но д'Адзелио на это пойти не мог; он выбросил лозунг: «без войны и бесчестия». Австрия сама нуждалась в мире; ей еще не удалось одолеть восстание в Венгрии; Венеция еще сопротивлялась.

Пьемонт сохранил целостность своей территории и достиг значительного снижения контрибуции. Австрия дала амнистию ломбардцам, участвовавшим в восстании: на этом особенно настаивал д'Адзелио; венское правительство отказалось от конфискации имущества эмигрантов, и им дарованы были права пьемонтских граждан.

Надо было склонить парламент с его воинствующим левым большинством к утверждению мирного договора. Его пришлось два раза распустить, и только третий его состав под давлением правительства и всей политической обстановки принял смягченные условия. Несмотря на победу, Австрии не удалось раздавить

маленькое государство, решившееся на открытую борьбу. Все обращали взоры на Пьемонт, как на надежду будущей свободы и независимости страны. Д'Адзелио говорил: «Я стал первым министром, чтобы спасти целостность этой крепости Италии». Кавур в первой же своей большой парламентской речи провозгласил, что «Пьемонт должен собрать около себя все живые силы Италии и повести нацию к ее великому историческому будущему».

В состав населения Пьемонта влила свежие элементы эмиграция из Ломбардии. Турин, до тех пор тихий и вялый провинциальный город, стал видной столицей. Там собрались крупные вожди революции, которым пришлось спасаться от реакции. Пьемонтское офицерство пополнялось революционерами из разных областей Италии. В Пьемонтский парламент отовсюду стремились попасть передовые политики: пьемонтское гражданство становилось преддверием итальянского. Темп жизни поднялся. Оживились литература и искусство. Возникло стремление к развитию общеитальянского литературного языка: до того времени образованные классы говорили главным образом по-французски, а большинство населения—на местном савойском диалекте. Сильно выросла пресса, газеты приобрели влияние. По всей стране в сельском хозяйстве и промышленности место прежнего застоя заняла повышенная трудовая энергия. По всей Италии замечалась тяга к Пьемонту; вся буржуазная часть итальянского общества смотрела на Виктора Эммануила, как на вождя будущего полного освобождения; Пьемонт приобрел политическую гегемонию на полуострове.

Д'Адзелио оставался во главе правительства до 1852 года, но чем дальше, тем больше отставал от темпа разворачивавшихся событий. Напуганный рево-

люционными впечатлениями, он относился теперь резко отрицательно к мысли о дальнейших реформах, вел решительную борьбу с мадзинистами и желал только спокойствия и сохранения существующего порядка вещей. Он выражал настроения самой отсталой части пьемонтской буржуазии.

Внешняя политика его была пассивна: он старался не затрогивать Австрии<sup>1</sup> и заслужить расположение Франции. Что касается папы, то он попрежнему стоял на том, что его светской власти должен быть положен конец. Под конец он принял идею единства Италии вместо защищавшейся им раньше системы федерации ее государств: какая же могла быть федерация с Бурбонами в Неаполе и особенно с Австрией в Венеции и Милане! Но он ни за что не соглашался признать Рим желательной столицей Италии, оберегая папство от конфликта с ним светского государства.

В политике д'Адзелио ясно сквозила боязнь перед дальнейшим движением вперед: он оправдывал эту боязнь тем, что поспешность в проведении реформ скомпрометирует достигнутое. Но робость—плохое качество в руководителе властью. У д'Адзелио, мы видели, были две любимые идеи: освобождение Италии от Австрии и утверждение конституционного устройства. Но первое надо было отложить, может быть, надолго; второе, как он думал, подвергается опасности со стороны крайних левых; и вот он направил свои усилия к тому, чтобы стоять на месте. Этот «убежденный» либерал в парламенте опирался на консерваторов, не склоняясь левее правого центра.

Он поддерживал меры для развития промышлен-

---

<sup>1</sup> Так он не оказал поддержки Венеции при заключении мира. Оппозиция обвиняла его в рабости перед Австрией.



ности и торговли; но по конституции, которую он отстаивал, даже буржуазия пользовалась политическими правами далеко не вся. Социального же вопроса он не ставил вовсе, никогда не задумывался об интересах трудящихся масс, не вводил в свою программу никаких сколько-нибудь серьезных проектов в этой области и—в отличие от многих буржуазных деятелей эпохи подъема класса—трусливо закрывал глаза на будущее.

В 1852 году д'Адзелио вышел в отставку, повидимому даже охотно уступая место более сильному сопернику. Он был назначен сенатором, но ответственного участия в политике уже не принимал. Скоро он вполне присоединился к Кавуру, который воплощал ту же либеральную программу, только ярче выраженную и более последовательную.

В 1860 году, когда вспыхнуло восстание в папской Романье, Тоскане, Парме и Модене, д'Адзелио был назначен туда комиссаром пьемонтского правительства. Эти области были присоединены к Пьемонту, и в Турине собрался первый итальянский парламент. К пяти миллионам населения прибавилось еще столько же. Пьемонт превратился в королевство Италии. Д'Адзелио был назначен губернатором Милана, но это было последним актом его участия в правительственной деятельности. Дальнейшие события привели его к полному устранению от практической политики, которая пошла в разрез с тем, что он считал правильным.

Жизнь переросла доктрины д'Адзелио. Он искал мирных способов объединения Италии. Но изгнать Бурбонов из Неаполя и Сицилии могла только революция, и только насильственный образ действий мог вернуть Италии Рим. Д'Адзелио же решительно выступал против революционных методов Гарибальди и до конца протестовал против объявления столицы пап-

ства столицей Италии. Он стоял за то, чтобы столицей Италии была Флоренция. По его мнению в Риме должен был остаться один папа, но лишенный светской власти; самый же Рим должен быть устроен наподобие вольного города. Такую «архаической утопией» заканчивал свою публицистику писатель и политик, всю жизнь боровшийся против того, что считал «революционным утопизмом».

Д'Адзелио скончался 15 января 1866 года. Подводя итоги его деятельности, Кавур, заместивший его, как главу правительства объединявшейся Италии, называет его «отцом проблемы ее единства». Это, конечно, только либеральная ложь. Проблему единства Италии «поставили» люди гораздо более крупные, чем д'Адзелио, а осуществлено это единство было героическими усилиями как раз тех людей, которых д'Адзелио всегда считал «утопистами» и против которых неизменно боролся как против революционеров. Но в определенный момент, на заре освободительного движения, ему удалось создать книгу—лежащий перед читателем роман «Эторе Фьерамоско», который стимулировал энергию освободительного движения, взражал сердца молодежи жаждой борьбы против чужеземных насильников и вошел в итальянскую литературу, как одно из крупнейших произведений периода ее революционного движения. Это единственное, что предохранило имя его автора от исторического забвения.

*Ив. Гревс*



## *ИТАЛИЯ И ЕВРОПА В XV И XVI ВЕКАХ*

Чтобы понять события, изображенные в романе «Этторе Фьерамоска», нужно знать историю войн, раздиравших Италию в последнее десятилетие XV и первые десятилетия XVI века. Но так как корни этих войн уходят глубоко в прошлое, приходится начать изложение несколько издалека.

Уже в глубине средних веков в Италии, хотя и раздираемой внутренними противоречиями, накапливалась огромная культурная энергия. Носителями ее были итальянские города.

Городское общежитие было в античности самой крепкой ячейкой цивилизованного быта. В феодальном варварстве город поддерживал преемство высших форм культуры. Из Римской империи Италия вышла богатой городами. Влияние германцев не сломило их живучести. Сохранение в средневековых городах Италии социальной предприимчивости, местного самоуправления и известных традиций просвещения засвидетельствовано многими фактами истории VI—IX веков.

Одним из важных свойств итальянских городов явилось непрерывавшееся в них развитие ремесл, возможность сбыта их продукции при посредстве денежного обращения и приток других фабрикатов и сырья взамен. Тезис о полном упадке торговли и полном погружении всей экономической системой в сеньериальную замкнутость и натуральные отношения в варварскую и феодальную эпохи до сих пор сильно преувеличивался историками. И как раз в Италии «земледельческое» средневековье нашло наиболее слабое выражение. Торговый обмен внутри этой страны не нарушался в самые суровые времена разобщения.

Кроме того Италия находилась в живых коммерческих связях с Византией, мусульманским востоком и югом. Культура Европы оставалась преимущественно «средиземноморской»; тяга к востоку в ней не ослабевала, и Италия по своему географическому положению служила дорогой для людей и товаров. С XI века торговля с Левантом играла огромную роль в жизни Италии.

Еще в X веке не только такие города—старые и новые, как Венеция, Амальфи, Пиза, Генуя, но и Бари, Трани, Бриндизи, Тарент, Салерно, Неаполь и непортовые—Лукка, Сиена, а позже Флоренция, Милан и др., представляли собой видные хозяйственные организации. В них имело место значительное производство на вывоз и они обладали большими покупными средствами. В ту же эпоху устанавливаются деятельные отношения Италии с западом и севером Европы. Связи с более развитым востоком приносили ей, кроме богатства, благоустройство, знания и художественный вкус. Роль мануфактурного и торгового капитала в области культуры становилась все более значительной.

Стремление к первенству на рынках Востока явля-

лось для городов Италии самым острым побуждением к участию в крестовых походах. Итальянские города были органами снабжения оружием, продовольствием и транспортом для двигавшихся армий; они завладели торговлей, и это обусловило их быстрый экономический рост и перерождение хозяйства, которое из фазы господства ремесла и местного обмена поднялось к международной торговле, началам капиталистического производства и банкового дела, образованию больших компаний и громадных коллективных и частных богатств: Эти богатства образовывались путем накопления земельных рент в городах, расширения производства, повышения прибылей и широких денежных операций, особенно огромных ссуд церкви и государям.

Культура Венеции, которая стала уже в XII веке «царицей морей», а также блестяще расцветшей Флоренции служит лучшей иллюстрацией пышного развития итальянских городов. Флоты больших коммерческих республик бороздили Средиземное море. Торговцы их проникали в сердце Азии, отыскивая новые товары и открывая новые земли. Они были также связаны с Францией, Испанией, Англией, Фландрией и Германией. Всюду вращались их агенты, товары, деловые бумаги, кредитные письма.

Соответственно экономическому росту совершалось и политическое развитие городов. Они были заселены группами свободных ремесленников и торговцев, из состава которых выделилась состоятельная крупная буржуазия. На верхах, внутри городских стен, в укрепленных домах ютилось многочисленное рыцарство (*milites, nobili*) из окрестностей земельной знати. Трудовые слои группировались в ассоциации (*schollae, confrateritates*), а знатные семьи—в вооруженные союзы (*consortorie*). Управляли городами выборные коллегии (*com-*

mune colloquium). Но над ними была феодальная светская или епископская власть.

Мало-по-малу между рыцарским нобилитетом и городским патрициатом, т. е. крупным торгово-промышленным классом, сплотившимся в корпорации (*arti*, цехи), произошло сближение, и после упорной борьбы города Ломбардии, а потом Тосканы освободились от феодализма. Города стали республиками (*comuni*) с консулами, правительственными советами и собранием граждан (*parlamento*). Господство «коммунального строя» составило характерную черту Италии в XII, XIII и отчасти XIV веках.

Развитие городов совершилось в жаркой борьбе сначала горожан с феодалами, потом внутри самих городов—торгово-промышленного класса (*popolani*) с рыцарством (*magnati*), еще позже средних и низших ремесленных групп (*popolo minuto*) со старшими цехами, разбогатевшими и присвоившими власть (*popolo grasso*).

Борьба заливала улицы кровью, зажигала между классами, союзами, партиями, фамилиями, лицами пылкие ненависти. Она сопровождалась кризисами, переворотами, в результате которых знать оттеснялась от управления и права приобретали более широкие слои населения сравнительно с первоначальным тесным меньшинством.

В результате эмансипации городов и перерождения их хозяйства раскрепощались и сельские классы. Городские предприниматели, нуждаясь в рабочих руках, вытягивали крестьян в город, избавляя их от феодальной зависимости. К опасностям классовой борьбы присоединялись внешние раздоры между коммунами из-за экономических интересов и политического соперничества. Временные союзы городов рассыпались. Италия все еще не шла к единству.

Тем не менее в коммунах развивались могучие силы, творившие культуру. Вся эпоха XII—XVI веков была полна колоссальной духовной работой. Образ Данте на гранях XIII и XIV веков—величайшее ее воплощение. Гуманизм и возрождение систематизируют богатые ценности, созданные долгой работой средневековой мысли в Италии. Эти ценности включают в себе элементы, воспринятые из воскрешенной и обновленной античности, византийского просвещения, арабской науки, провансальской поэзии, французского и фламандского искусства. Они переработаны, объединены и движуты вперед новым материалом и идеями, созданными творческим трудом новых людей под влиянием нового опыта, новых форм хозяйственной и социальной жизни.

Перестройка мировоззрения охватывала все сферы познания и деятельности: науку, языки, литературу, искусство, технику, философию, религию, поэзию, теорию государства и практическую политику. Всеобъемлемость, универсализм—знак отличия культуры, созданной тогда в Италии. Но аристократический ее характер суживал сферу ее влияния, направляя ее на служение потребностям немногих. Ей угрожала замкнутость, и это толкало ее на путь вырождения.

Раздоры внутри городов Италии и между ними поддерживали вечную войну и раздробление. Борьба между правящими группами—знатью и буржуазией—сопровождалась волнениями в трудящихся классах.

В господствующих классах установился культ сильного человека, смелой индивидуальности, находящей в самой себе цель бытия и в собственной власти над окружающими обретающей свою полноту и совершенство (*virtu*). В резко эгоистической ориентировке жизненных стремлений своекорыстные, но мощно выкроен-



ные «герои» черпали вдохновение для своего честолюбия; при помощи демагогически-расчетливой поддержки интересов масс против эксплуатации тех, кто в данный момент был у власти, они находили необходимую опору для захвата ее в городах-государствах.

Сами господствующие классы, теряя уверенность в прочности своего положения, готовы были отказаться от коллективного суверенитета в пользу единоличного «государя» (*il principe*), рассчитывая на более спокойное существование. Все это благоприятствовало монархическому перерождению коммунального строя, превращению городов-республик в абсолютные княжества.

Это был переход к принципату. Возникла деспотическая власть. Сильная личность из знати или буржуазии, иногда даже из низов, с помощью переворота при содействии демократических групп и военной силы отнимала власть у правящей группы. Узурпатор действовал при этом с помощью наемных отрядов частных предпринимателей, кондотьеров, набравших добровольцев и за деньги проводивших переворот. Такие наемные дружины стали распространенным явлением, свидетельствуя о ненормальном положении в стране; они представляли подобие «подвижных воинских держав», и предводители их сами не раз делались «тиранами».

Принципат держался искусной политикой, но всего больше подкупом, фаворитизмом, террором; он стремился прикрыть все это иллюзией сочувствия со стороны народных масс и украсить покровительством просвещению (меценатством).

Раньше всего основы абсолютизма выросли в сицилийско-неаполитанском королевстве, благодаря систематическим мероприятиям Гогенштауфенов. После крушения этой династии в 1266 году престолом, при содей-

ствии папы, который считался высшим сеньером Неаполя, завладел французский княжеский род Анжу.

В XIV веке мы видим в Италии уже много «тираний» (принципатов) на месте коммун. В Милане сел дом Висконти, в Вероне—Ла Скала, в Падуе—Каррара, в Мантуе—Гонзага, в Ферраре—д'Эсте, в Парме—Росси, в Равене—Полента, в Римини—Малатеста, в Фаэнце—Манфреди. На северо-западе графы савойские и маркизы монферратские развили свою монархическую власть из феодальной. В Венеции и Генуе сохранились аристократические республики. В Тоскане продолжал держаться коммунальный строй.

Только папская область являла картину неисчезнувшего феодального раздробления и коммунальной свободы. Папы (после возвращения в Рим из Авиньона в конце XIV века) тоже стремятся к упрочению абсолютизма, но избирательный характер их сана мешает этому. В середине XIV века в Риме происходит даже республиканская революция, поднятая Колою ди Риненцо; но она кончается крушением.

Дворы новых деспотов, не исключая и папского, были одновременно и замечательными центрами умственной, литературной и художественной жизни, и очагами жестокой борьбы за власть, темных интриг, заговоров, переворотов и злодейств, и притонами безумной роскоши и разврата.

Разорванный на куски, итальянский народ обнаружил огромные силы производительного труда и культурного творчества; быстро развивались все виды промышленности, накоплялось гигантское богатство, пышно расцветали знание и творчество, — и плоды этой культуры излучались во все стороны за пределы страны. Но организовать в одно целое он не смог, и силы его растрачивались на междоусобия.

В середине XV века произошло некоторое сосредоточение сил, ввиду падения Константинополя (1453) и возникновения турецкой опасности. Наметилось пять главных государств: на севере Милан, где утвердилась фамилия Сфорца, и Венеция, где попрежнему властвовала суровая военно-торговая олигархия; на юге Неаполь и Сицилия, где стали править короли из испанского арагонского дома; в центре крупную роль играла папская духовно-светская держава и богатая, просвещенная Флоренция: последняя формально должна была быть республикой, но фактически там правили Медичи, главы могущественного банкирского дома. Это были искусные и наделенные чувством меры правители; вокруг них хлопотали классовая ненависть и партийные страсти.

Остальные многочисленные правители тяготели к какому-либо из названных центров. При этой системе во 2-ю половину XV века внутри страны сохранялось относительное равновесие. В это время культура Возрождения достигла в Италии высшего развития. Но указанные крупные политические единицы оказались неспособны составить прочный союз и дать дружный отпор внешним натискам.

В нациях и государствах, соседних с Италией, к концу XV века произошли существенные перемены. Франция из совокупности крупных феодальных княжеств и множества мелких сеньерий превратилась в объединенную монархию с усилившеюся королевской властью. В «столетнюю войну» она возвратила себе отнятые Англией обширные области на Западе и Юге и вела борьбу с Германией за продвижение к Рейну.

Испания, распадавшаяся на несколько королевств с сильным феодализмом; также спланивалась, чему содействовала долгая общая борьба этих королевств

с завоевавшими значительную часть полуострова маврами,—борьба, вызывавшаяся экономическими и политическими интересами, но ярко окрашенная в националистические тона.

В 1469 году два крупнейшие государства Пиренейского полуострова—Арагон и Кастилия—объединились посредством брачного союза короля Фердинанда Арагонского и королевы Изабеллы Кастильской. Оба эти выдающиеся правители, действуя в полной солидарности, подчинили себе малые государства и укрепили свою власть за счет вольностей сеньеров и коммун. Фанатики католицизма, они рьяно поддерживали церковь и преследовали иноверцев и еретиков при помощи инквизиции, заслужив этим прозвание «католических». Последний оплот мавров, Гренада была взята в 1492 году и к 1500 году Испания образовала крепкую национальную монархию.

Франция и Испания—обе склонны были к агрессивной внешней политике. Хотя открытия португальцев уже обращали интересы к океану, но историческая жизнь все еще сосредоточивалась около Средиземного моря. Восток попрежнему будил вождения правительств, знати и торгового капитала. На пути лежала Италия, славившаяся богатством и связями с Левантом. Благодаря своим внутренним раздорам, она рисовалась доступным лакомым куском для честолюбия государей, предприимчивости рыцарства и наживы приобретателей.

Раньше всех двинулась на Италию Франция. Ее враждебная встреча с Испанией была неизбежна. Король Карл VIII, человек малоспособный, но с притязаниями на величие, заявил права на неаполитанское королевство, как на наследие французского дома Анжу. К походу его подстрекал Лодовико Моро, правивший

Миланом. Он отгеснил юного племянника Джованни Галеаццо Сфорца и лелеял мысль стать гегемоном в Италии. Жадный и неразборчивый, он шел на все ради личных целей, не останавливаясь перед обманом, предательством и преступлением. Он наводнил двор Карла VIII своими агентами и опутывал его льстивыми обещаниями, чтобы добиться союза с ним. Он разжигал претензии Карла на Неаполь и манил разговорами об исполнимости его фантастических планов изгнать турок из Европы, взять Константинополь и освободить Иерусалим. При этом Моро был не единственным подстрекателем. Так сами правители Италии звали иностранных государей в их распри. Карл соблазнился; в 1494 году он перешел Альпы во главе для того времени сильного войска в 35 000 человек, с большим количеством пушек. Пьемонт и Генуя встретили его покорностью. Бездарный Пьеро Медичи, правитель Флоренции, почтительно просил его о союзе. Венеция держалась нейтрально. Милан был на его стороне. Дело Карла начиналось успешно.

На папском престоле с 1492 года сидел Александр VI, родом из испанской фамилии Борджа. Самая возможность увенчания тиарою такого человека показывает, до какого падения дошла церковь. Когда имя кардинала Борджа вышло из урны, кардинал Медичи прошептал соседу: «Мы попали в пасть волка: он пожрет нас, если мы не поспешим спастись». Александр купил сан за большие деньги. Равнодушный к религии, он, став главою мировой церкви, преследовал личные политические цели с безграничным цинизмом и беспощадною жестокостью. Вероломство и убийства были обычными его приемами. Колоссальные доходы папской казны тратились им на предприятия, не имевшие с религией ничего общего. При дворе его царили

безумная роскошь, беззащитное распутство и ожесточенная интрига.

Заботы Александра VI всецело направлялись на расширение власти папы и на создание княжеского положения для членов его семьи. От долгой связи с Ваночцою Каттанео у него было четыре сына; он стремился снабдить их надежными территориями и образовать из них коллективную династию Борджа. Дочерью, легкомысленной Лукрецией, он откровенно спекулировал, устраивая свои дела при помощи ее браков, разводов и новых более видных союзов с нужными ему владетельными особами.

Любимым сыном его был Цезарь, одаренный богатыми способностями и пламенным темпераментом, но абсолютно беспринципный, кровожадный искатель власти, славы и грубых наслаждений. Он кипел неистощимой энергией, которая была направлена исключительно на утоление ненасытного эгоизма, попиравшего всякую мораль. Отец предназначал его к духовной карьере, и Цезарь Борджа уже достиг высшего церковного звания; но кардинальская шапка не вязалась с его целями; он скоро снял с себя высокий сан и отдался замыслу стать первым владыкой Италии.

Ядром его территории были земли, пожалованные ему отцом из папских владений; к ним путем завоевания он присоединил Умбрию и Романью. При помощи набегов он отбирал прилегающие области у Флоренции, Милана, Венеции и покушался на пределы Неаполитанского королевства. В Риме он распоряжался как хозяин. Наряду с открытыми боями он прибегал к тайным отравлениям и убийствам. Александр VI вполне подчинился мрачному своеволию сына и под конец даже стал бояться его. Он был человеком необузданных страстей, но умел сдерживать себя холод-

ным расчетом. Он был наблюдателен, смел и хитер. Дела его можно было бы назвать героическими, если бы они имели какую-либо другую цель, помимо узколичной.

Какие противоречивые стремления имели тогда место в Италии и в какие конфликты они вступали между собой, показывают флорентийские события. Там с особой мощью и блеском развились и сочетались в единство основы замечательной культуры. Недаром пала Бонифаций VIII, политический враг Флоренции, называл великий город «пятым элементом мира».

Принципат, захваченный фамилией Медичи, благодаря ее финансовой силе и политическому искусству ее главы, Козимо Старого, в середине XV века сменил до тех пор победоносно развивавшуюся демократическую республику. Внук Козимо Лоренцо Великолепный привлек в город лучших деятелей в области наук и искусств; сама Флоренция рождала гуманистов и художников. Но внутри общества таилась оппозиция существующему строю. Трудящиеся массы глухо волновались. Составлялись заговоры, вспыхивали восстания. Республиканская партия изгнала бездарного и трусливого преемника Лоренцо—Пьеро Медичи, готового раболепствовать перед угрожавшим Флоренции французским королем. Восстановлены были коммунальные учреждения. Твердость вождя республиканцев Пьеро Капони спасла Флоренцию от разгрома; французы оставили город, направляясь дальше на юг.

В эти годы во Флоренции возвысился новый политический деятель. Это был доминиканский монах, мистик и вместе с тем народный трибун—Джироламо Савонарола, приор монастыря святого Марка. Восторженный проповедник громил с церковной кафедры порчу вселенской церкви, поносил папский Рим как

«вавилонскую блудницу», обличал пороки правительства и развращенной знати. Он взывал к всеобщему покаянию, грозя карой божией. Слышавший его проповеди философ-платоник Пико делла Мирандола говорит, что даже кости его содрогались под страшной анафемой монаха и волосы поднимались дыбом.

Савонарола приобрел в массах огромный авторитет: ему была вручена вся полнота власти; несколько лет он правил бесконтрольно, опираясь на увлеченные массы, терроризируя знать, издавая законы в интересах бедных и проповедуя теократическую демократию. Он утверждал, что через него Флоренцией правит Христос. Он требовал полного отказа от мирских благ, от всей порочной «языческой» цивилизации. На площади сеньории он устроил торжественное всеожжение «соблазнов мирской суеты». Огромный костер был завален пестрою кучей нарядов и драгоценностей, произведений искусства, книг поэтов... Савонарола верил, что обновит мир.

Но масса далеко еще не была подготовлена к тому, чтобы управляться самой. Мистически-евангельская форма этого плебейского движения достаточно говорила о его слабости. Когда над головой Савонаролы разразились церковные громы, народ покинул своего вождя. Савонарола был схвачен и сожжен на той же площади, на которой сам жег символы «испорченного мира» (1498).

Между тем Карл VIII приближался к Риму, вызывая ужас в папе, который дрожал за свой престол. Французское войско производило грабежи и насилия, не встречая сопротивления. 31 декабря 1494 года Карл вступил в Рим без боя. Папа скрылся в замке св. Ангела, но против него не было предпринято враждебных действий. Король хотел лишь добиться от него



инвеституры на Неаполь. В конце января он двинулся туда, захватив в качестве заложника Цезаря Борджа.

Города и замки открывали ворота перед Карлом. Король Фердинанд II выслал против неприятеля вооруженные силы, но они перешли на сторону французов. Фердинанд бежал, и Неаполь признал своим государем французского короля. Легкость завоевания усыпила бдительность Карла. Он проводил время в празднествах, только на словах готовясь к крестовому походу. Между тем за спиной у него создавалась коалиция.

Фердинанд испанский сам претендовал на юг Италии: Испания не могла потерпеть, чтобы Сицилия, ее житница, перешла во французские руки. Венеция опасалась утверждения французов на полуострове, потому что рассчитывала увеличить свои владения на итальянской «твердой земле» взамен захваченных турками ее колоний на востоке. К союзу против Франции была привлечена Флоренция, и Лодовико Моро изменил Карлу. Максимилиан германский обещал союзникам поддержку, встревоженный империалистическими планами Карла VIII.

Почувствовав опасность быть отрезанным, Карл решил отступить. Он быстро прошел через Рим; Александр VI и Цезарь Борджа удалились в Перуджу. Войска лиги попытались преградить ему путь через Апеннины. Но французам удалось пробиться. Карл вернулся во Францию разочарованный, но грозил вернуться со свежими силами. Италия торжествовала победу, но ей продолжали грозить нашествия иностранцев, ободряемых разрозненностью сил страны.

В 1498 году Карл VIII умер, не осуществив второго похода в Италию. Наследовавший ему Людовик XII предпринял возвращение утраченного. В ка-

честве родственника прежних миланских герцогов Висконти, он заявил права на Ломбардию, намереваясь в дальнейшем вернуть неаполитанское наследство. Заручившись поддержкою папы (того же Александра VI), он в 1499 году овладел Миланом, взял в плен Лодовико и отправил его во Францию.

Для разрешения второй задачи он заключил союз с Испанией; целью этого союза был раздел южной Италии. Соединенные войска Людовика и Фердинанда Кастильского захватили Неаполь. Но при дележе территории между союзниками возник спор, перешедший в вооруженное столкновение, причем итальянские силы стали на сторону испанцев. Борьба кончилась победой Испании, и Людовику пришлось отказаться от притязаний на Неаполь. Именно к этой войне относится эпизод, выбранный Массимо д'Адзелио для романа «Этторе Фьерамоска».

Принужденный уступить Испании юг, Людовик тем более стремился укрепиться на севере Италии. Ему были нужны союзники. В это время в стране появилась новая сила. Это был папа Юлий II, самый замечательный из всех пап той эпохи.

Рожденный в семье лигурийского рыбака, Джулиано делла Ровера вступил в духовное звание, быстро выдвинулся до кардинальства и в 1503 году был избран папою. Этим блестящим успехом он был более всего обязан собственным исключительным дарованиям. Они же обеспечили ему исключительную роль в итальянской, а отчасти и европейской политике. Он принял имя «Юлия», взяв за образец основателя Римской империи Юлия Цезаря. Он действительно был не духовный пастырь, а полководец. «Грозный папа» звали его современники. В борьбе за власть он не прибегал к подкупу, кинжалу и яду, а действовал открыто при

помощи военной силы, которую умел собрать и использовать с огромной энергией и искусством.

Первую свою задачу он видел в укреплении церковного государства. Он обрушился на еще сильного Цезаря Борджа, решительным ударом отобрал у него города, отданные ему отцом, и сокрушил его власть.

Вторым врагом рисовалась ему Венеция. Эта республика строила широкий план гегемонии над всем полуостровом, для чего старалась покрыть Италию сетью опорных пунктов своего могущества. Она грозила папским землям и Милану, стесняла неаполитанское мореходство на Адриатике, через альпийские проходы на северо-востоке угрожала империи Габсбургов. Ее наступательная политика затрогивала много жизненных интересов. Это хорошо понимал Юлий II. Он сплотил против Венеции Францию, Испанию, Флоренцию и другие итальянские города во внушительный союз (так называемую Камбрейскую лигу) и сам стал его душою.

Враждебные действия начались отлучением, наложенным папой на республику св. Марка (1509). Затем францужско-итальянские войска разбила венецианцев при Аньяделло. К победителям присоединились и немецкие солдаты. Сдавленная в своих лагунах Венеция смирилась. Дожд Лоредан в отчаянии молил Юлиа о пощаде. Юлий сначала оставил униженное послание без ответа. Однако он был слишком дальновиден, чтобы не понимать, что не в его интересах доводить Венецию до гибели: она была нужна Италии как оплот против турок, Германии и французского Милана. Юлий снял с нее интердикт, примирился с ней и порвал с Камбрейскою лигою.

Политика его вступила в новую фазу. Церковное государство было укреплено; теперь нужно было освободить Италию от французов и немцев, пробивавшихся

из-за Альп. Юлий создал «Священную лигу». В нее вошла Испания, права которой на Неаполь были признаны Юлием; на ее же стороне теперь оказалась и Венеция. Чтобы отвлечь силы Франции, Юлий настроил Англию угрожать ей с тыла. Главное острие «Священной лиги» было направлено против Франции.

Максимилиана I папа не боялся, считая его «младенчески беспомощным». Объединив силы Италии вокруг римского престола, Юлий II надеялся властвовать и над Европой.

Людовик XII, раздраженный переходом папы в лагерь своих врагов, собрал недовольное духовенство в Туре, потом в Пизе, подбивая его воспротивиться указам папы и пригрозив ему созывом вселенского собора для его низложения. Война началась в 1511 году действиями против союзной с Францией Феррары. Но дела пошли неудачно для папы. К его врагам примкнул Максимилиан, стремившийся не только свергнуть его, но даже сесть на его престол в качестве цезаря-папы. Этот план был фантастический и не представлял серьезной опасности для Юлия II. Но от французов «Священная лига» потерпела жестокое поражение под Равенною (1512).

За этой неудачей потянулся ряд других: в Риме подняла восстание знать, пытаясь утвердить аристократическое светское управление. На созванном Юлием II Латеранском соборе некоторые духовные сановники протестовали против его воинственной политики. Сам Юлий II, пораженный тяжелой болезнью, находился между жизнью и смертью. Но могучий организм 70-летнего старика справился с опасным недугом, а его непоколебимая воля поборола противников. Большинство собора осталось верным Юлию II. Волнения в Риме

улеглись. Вновь собранные войска Лиги выступили с таким успехом, что французы вынуждены были отдать Мидан, где были восстановлены герцоги Сфорца, и уйти из Италии. Во Флоренцию были возвращены Медичи. Папское государство еще более расширилось.

Юлий II уже строил новые планы, но смерть помешала их осуществлению. «Грозный папа» скончался 20 февраля 1513 года. Умирая, он боялся за прочность того, что им было сделано, но в правоте своего идеала воинствующей теократии нисколько не сомневался.

Юлий II действовал в то время, когда идея «града Божия», церкви-империи, уже отжила свой век. В жизни уже восторжествовало светское государство; папа защищал то, что он считал истиной, но что представляло собой уже вчерашний день, так что великим человеком его назвать нельзя. Его усилия привели к эфемерным результатам и стоили людям много бесплодных жертв. Но крупным человеком он был несомненно. Следует отметить, что среди тревог своего бурного понтификата он все же думал об исправлении нравов духовенства и упорядочении администрации.

Но особенно замечательна его инициатива в деле поощрения искусства, великие памятники которого должны были, по идее Юлия II, воплотить величие вселенской церкви. При этом он поддерживал традицию, которой было положено начало в XV веке папами-гуманистами Николаем V и Пием II. Покровительствуя искусству, Юлий II стремился воплотить грандиозность мировой идеи папства в первоклассных произведениях архитектуры, скульптуры и живописи, как и в крупных политических деяниях. Он хотел сделать Рим главным центром художественного творчества, руководимого высшим авторитетом папства. Его усилия в этом направ-

влении привели к тому, что вечный город превратился в центр пышно созревшего Ренессанса.

Этим была заложена основа для дальнейшего художественного расцвета Рима. Юлий II призывал к себе таких гениальных художников, как Микельанджело и Рафаэль, многие лучшие произведения которых связаны с его именем. Он задумал еще при своей жизни воздвигнуть себе мавзолей и поручил составление проекта Микельанджело. Тот задумал создать целый храм с роскошным саркофагом и скульптурными группами, которые должны были символизировать основные моменты деятельности Юлия II. Однако Юлий скоро охладел к этому предприятию и вдохновился задачей заново перестроить в громадный храм древнюю базилику св. Петра и тем самым воздвигнуть великолепный памятник уже не себе, а римской церкви.

Браманте гениально выполнил этот план и таким образом вырос знаменитый собор св. Петра в Ватикане. Рядом с этим «собором для всего христианства» по планам того же Браманте был расширен Ватиканский дворец, где была резиденция папы. Изящный «бельведерский» двор и примыкающие к нему залы предназначались для размещения античных статуй (в том числе группы Лаокоона), найденных при раскопках в насыщенной древними памятниками римской почве.

По приказу Юлия Микельанджело принялся за монументальный труд, который оказался лучшим плодом его гения: роспись потолка папской Сикстинской капеллы фресками, изображающими историю мироздания. В Ватикане же, по инициативе папы Юлия II, Рафаэль осуществил цикл лучших своих произведений — знаменитые «Станцы». Желая видеть весь Рим перерожденным, Юлий II приказывал прорезывать вели-

чественные улицы, украшать церкви, строить мосты, проводить акведуки, укреплять стены. В римской знати он вызывал соревнование в деле возведения монументальных произведений искусства.

По свидетельству современников, быть может, несколько преувеличенному, Рим из грязноватого, средневекового города преобразился в великолепную мировую столицу. Ученый каноник Франческо Альбертини еще при жизни Юлия II составил описание «Чудес древнего и нового Рима» (*De mirabilibus novae et veteris urbis Romae*, 1509). На триумфальной арке, устроенной в Риме для торжественного въезда новоизбранного преемника Юлия II, папы Льва X, была любопытная надпись: «При Александре царствовала Венера (любовь), при Юлии—Марс (война), теперь наступает владычество Паллады (просвещения)». Нужно признать, что культурные начинания Юлия II оказались прочнее и принесли гораздо больше пользы, чем его политическая деятельность.

Упорная борьба Юлия II против иноземцев, вызывавшая чрезмерное напряжение сил всей страны, избавила Италию от вторжений не вполне и не надолго. Неаполь продолжал оставаться в руках Испании. На северную Италию вскоре стала наступать Франция с преемником Людовика XII Франциском I (1515—1547) во главе. Италии было суждено снова стать полем опустошительных битв.

Французы овладели Миланом. Средства для отпора внешнему врагу в стране иссякли, истощенные долгими войнами. Но французский король встретил в Италии опасного соперника в лице знаменитого преемника Максимилиана I Карла.

Максимилиан I воевал и правил неудачно. Тем не менее ввук его Карл получил богатое наследство.

Сам Максимилиан I управлял Германией в качестве избранного императора и, как князь Германской империи, владел в качестве фамильного достояния обширными землями Габсбургского дома (в будущем—австрийскими областями). Женившись на дочери последнего Бургундского герцога Карла Смелого, Марии, он взял за ней в виде приданого многочисленные территории по среднему и нижнему течению Рейна,—так называемые Нидерланды. Все это вместе взятое перешло к его сыну Филиппу. Последний, женившись на Хуанне, дочери Фердинанда и Изабеллы, получил права на Испанию. Таким образом его сын, внук Максимилиана, Карл, явился обладателем всех габсбургских, австрийских и нидерландских земель, а также испанской короны вместе с огромными колониями в Новом Свете. А после смерти деда он был в 1520 году избран в Германии императором под именем Карла V.

Таким образом его могущество было огромно. Говорили, что в пределах его державы «никогда не заходило солнце». В его сознании утвердилась идея мирового светского господства, аналогичная вселенским планам папы Юлия II, но казавшаяся ему более осуществимой. Таким образом Карл V явился соперником Франциска I в борьбе за Италию, высшая власть над которой входила в его замыслы.

Эта борьба была завершением тяжелой полосы в истории Италии и в свою очередь оставила на ней глубокий след. Она была полна кровавых битв, драматических эпизодов и бурных перипетий. Начавшись успехами Франциска I, она завершилась крушением попыток Франции утвердиться в Италии. Но это не привело к освобождению Италии от ига чужеземцев.

Италия оказалась наводненной буйными имперскими (немецкими) и испанскими войсками Карла V, которые



разорили и истерзали страну. В 1527 году имперские полчища под предводительством французского коннетабля Бурбона, изменившего Франции и перешедшего на службу к Карлу V, вторглись в Рим и произвели в городе жестокий погром (il sacco di Roma).

Это событие произошло в первых числах мая. Папою в то время был Климент VII из дома Медичи. Он заперся в крепости св. Ангела. Бурбон погиб во время штурма, но ворвавшиеся войска не пощадили ни людей, ни богатств, ни памятников. Церкви, дворцы кардиналов и дома частных лиц подверглись разгрому. Мужчины, женщины и дети избивались или подвергались насилиям и в большом числе были истреблены. Свидетели рассказывают, что матери умерщвляли дочерей, чтобы избавить их от позора. Разыскивая деньги и драгоценности, солдаты пытали жителей, не останавливаясь перед невероятными зверствами. За грабежом и убийствами последовали голод и чума. Современники рисуют потрясающую картину неслыханного бедствия, пережитого Римом. Это было второе нашествие варваров...

Разбитый и униженный, папа покорно короновал Карла V в Болонье императором священной римской империи. В награду за это Карл V отдал во власть фамилии Медичи Флоренцию, взятую в 1530 году после одиннадцатимесячной осады<sup>1</sup>. Республиканские учреждения Флоренции были при этом уничтожены. Тоскана была превращена в наследственное герцогство, и Медичи положили начало суровой реакции в городе, где коммунальная свобода держалась дольше всего.

---

<sup>1</sup> Современник д'Адзелио, талантливый Франческо Гверрацци, сделал это событие сюжетом своего известного романа — «Осада Флоренции», а сам д'Адзелио коснулся его во втором своем романе «Никколо да Лаппи».

Франция отступилась от Италии; но в Неаполе и Милане надолго упрочилось испанское владычество. Во Флоренции установился деспотический режим. Венеция ослабела. Папство было подорвано. Мелкие властители смирились перед чужестранным завоеванием. Италия потеряла самостоятельность; главную роль в стране стала играть Испания. С половины XVI века Италия становится ареной общеевропейских великих войн и орудием борьбы за преобладание в Европе между Габсбургами и Бурбонами.

В XVI и XVII вв. Италия переживает сильный экономический упадок. Великие географические открытия переместили центры и пути мирового обмена, и сношения с Левантом, оплодотворявшие хозяйственную жизнь Италии, стали терять прежнее значение. Первенство перешло к государствам, расположенным вдоль берегов Атлантического океана и подчинившим себе богатые колонии в Старом и Новом Свете. Их торговая политика вызвала быстрый рост их собственной индустрии, и итальянская промышленность, лишившись рынков сбыта, начала хиреть. К тому же постоянные войны и чужеземная эксплуатация продолжали разорять страну.

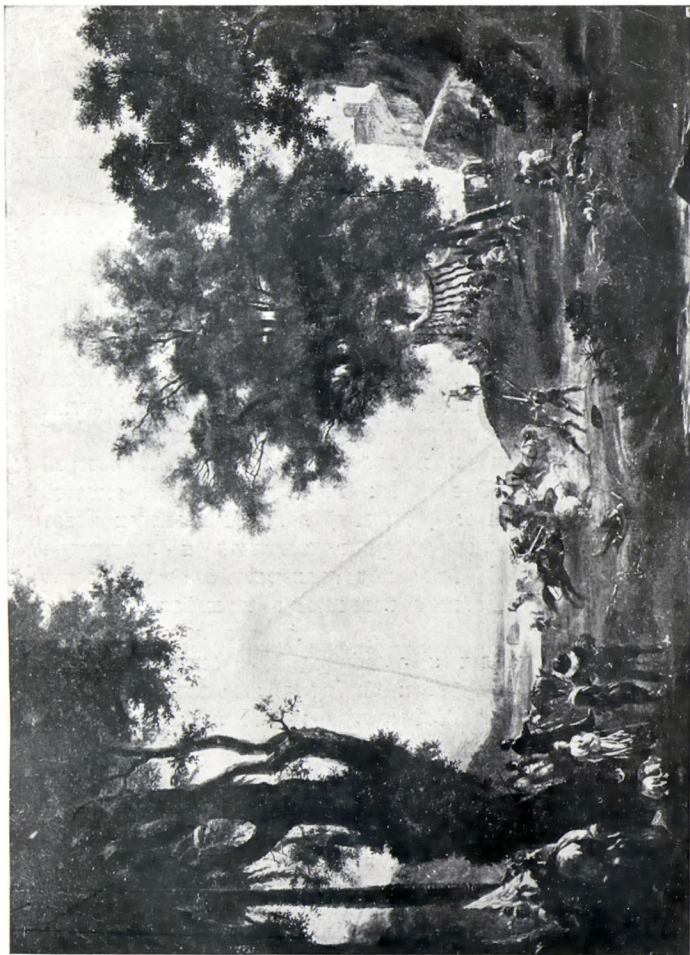
Просвещение еще держалось в главных центрах, но гуманистическое движение побледнело и замерло. Рим, бывший в XV и начале XVI века, наряду с Флоренцией, главным очагом Ренессанса, теперь стал средоточием воинствующей католической реакции. Инквизиция вела непримиримую войну против свободной мысли. Эпигоны гуманизма—Джордано Бруно, Кампанелла, Галилей—подвергались суровым преследованиям. В итальянских государствах укрепился абсолютизм, задушивший последние следы общественных вольностей. Городская буржуазия беднела от указанного поворота

в развитии мировых экономических отношений и от разоряющей ее финансовой политики властей. Земельная собственность сконцентрировалась опять в руках духовенства и светской знати, восстановившей многие феодалные права над сельским населением.

Наиболее сильную и мрачную картину упадка и запустения представляли обширные области, захваченные Испанией. Беспощадная религиозная нетерпимость, деспотизм и административный произвол, гнет непомерных налогов и хищнические приемы хозяйства, роскошь двора и полное равнодушие к интересам народа были характерными чертами испанского режима в Италии. Результатом его было чудовищное развитие нищеты, постоянные голодовки и утвердившееся, как хроническое явление, разбойничество, а также стихийно вспыхивавшие бурные народные восстания, подавляемые с усиленной жестокостью. В средних классах воцарилась апатия, а в высших,—раболепство.

Творческая энергия затаилась и вела подземную работу, собираясь с силами, которые должны были воспрянуть не скоро и дать расцвет лишь в «рисорджименто» XIX века.

*Ив. Гревс*



Поездик

*С картины работы д'Адземо*



**ЭТТОРЕ ФЬЕРАМОСКА**  
**или**  
**БАРЛЕТТСКИЙ ТУРНИР**





## ГЛАВА I

На склоне прекрасного апрельского дня 1503 года колокол церкви Сан-Доменико в Барлетте пробил последние удары.

На соседней площади, расположенной на побережье моря, месте, где по вечерам, особенно в южных городах, обычно сходятся мирные обитатели поболтать под открытым небом и отдохнуть от забот дня, в этот день собралось с той же целью, образуя разнообразные группы, много испанских и итальянских солдат. Одни прогуливались, другие сидели или стояли, при-



слонившись к выгальщенным на берег лодкам, которыми было загромождено все побережье. Их осанка, как у солдат всех времен и народов, словно говорила: «Весь мир принадлежит нам». Мирные жители городка, уступив им лучшие места на площади, сами держались в стороне, как бы молчаливо одобряя их заносчивость. В них не было ничего, что хотя бы отдаленно напоминало наших современных солдат в их жалких мундирах. Войско Гонсало, особенно его пешие части, хотя и было одето в наилучшие доспехи и было лучшим из всего христианского воинства того времени, однако совершенно не знало, как и вообще всякая другая армия XVI века, нашей современной строгой дисциплины, умудрившейся сделать одного солдата похожим на другого с головы до пят. Здесь всякий воин, исполнявший свою службу, пешим или на коне, мог одеваться, вооружаться и украшаться как ему было угодно; вот почему эта толпа представляла собой удивительное разнообразие и пестроту в одежде, красках и движениях, и с первого взгляда легко было узнать, к какой нации принадлежит каждый солдат. Испанцы большей частью были серьезны и степенны, имели бравый вид и были одеты в свои национальные плащи, из-под которых выглядывал длинный и тонкий толедский клинок; итальянцы отличались разговорчивостью, энергично жестикулировали и носили кафтан или куртку с пистолетским кортиком, висящим на поясе за спиной.

Когда раздались удары колокола, шум разговоров прекратился, и большая часть солдат, сняв шляпы, обнажила головы, так как в те

времена и солдаты верили в бога, а иногда даже молились ему. После небольшой паузы шляпы снова возвратились на свои места, и снова поднялся гул от разговоров; и хотя вся толпа целиком на первый взгляд казалась исполненной веселья и жизни, однако стоило присмотреться к отдельным группам, чтобы убедиться в том, что все они озабочены и опечалены чем-то, что всецело владеет их умами и разговорами. Причина такого их настроения была очень основательная и серьезная. Голод стал ощущаться среди солдат и даже жителей Барлетты, в которой Великий Капитан в ожидании запоздавшей помощи от Испании заперся с армией значительно меньшей, чем французская, не решаясь доверить исход своего дела счастью одного сражения.

Вокруг площади расположились с трех сторон бедные рыбацкие и матросские хижины, а также церковь и харчевня. Четвертая сторона площади была открыта. Она выходила на море и была заставлена, как обычно бывает в таких городках, лодками, сетями и рыболовными принадлежностями. Вдали, на краю горизонта, вырисовывался, как бы вырастая из глубины вод, коричневый силуэт горы Гаргано, на хребте которой угасал последний луч заходящего солнца.

На водном пространстве, отделявшем горизонт от берега, тихо плыло небольшое парусное судно, поворачиваясь со стороны в сторону в поисках ветра, который дул в этом заливе то-и-дело меняя направление, и оставляя за собой длинные полосы ряби на поверхности воды. Дальность расстояния и неясное освещение сумерок не позволяли различить, какой был на корабле флаг.

Один из испанцев, находившийся у берега еще с несколькими солдатами, прищурившись, пристально рассматривал корабль, теребя свои огромные усы, скорее серые, чем черные.

— На что это ты уставился, как статуя, и не слушаешь, когда тебе говорят?

Это замечание неаполитанского солдата, который обиделся, не получив ответа на свой первый вопрос, не произвело никакого впечатления на невозмутимого испанца. Все же он ответил в конце концов, издав вздох, который, казалось, скорее исходил из раздувальных мехов, чем из человеческой груди.

— Клянусь богом, было бы недурно, если бы наша Гаэтская богоматерь, дающая попутный ветер и доброе плавание всем, кто ей молится на море, послала нам эту посудину. Ведь и мы тоже молимся ей на суше, а жевать нам нечего, кроме ружейного приклада! Как знать, не везет ли она хлеба и припасов проклятым французам, зажавшим нас в этой клетке, чтобы уморить голодом... Пусть меня накажет бог, но его милость сеньор Гонсало Эрнандес, после того как хорошо пообедает да еще лучше поужинает, думает о нас не больше, чем о своих старых подметках.

— А что может сделать Консальво?—ответил раздраженно неаполитанец, довольный тем, что имеет случай поспорить. Самому ему, что ли, превратиться в хлеб, чтобы наполнить чрево такого животного, как ты? Когда будет у него хлеб, тогда он и даст его; а куда девались корабли, которые нелегкая загнала на манфредонские мели? Кто их съел: Гонсало или вы?

Испанец, несколько переменившись в лице, собрался было ответить, но его прервал другой солдат из той же группы; похлопав его по плечу и покачав головой, он обратился к нему, понижая голос, как бы желая этим придать больше веса своим словам:

— А вспомни, Нуньо, что острие твоего копья было уже в трех пальцах от груди Гонсало в тот день, когда, чтобы добиться уплаты жалованья, вышла та скверная шутка в Таренте... До этого случая мне и в голову не приходило, что твоя черная шея может подружиться с веревкой... Помнишь, какой поднялся шум? Льва можно было вспугнуть. А посмотри-ка сюда: движется ли эта башня?—и он указал на самую большую башню крепости, возвышавшуюся над уровнем остальных зданий. Так же не пошевелился и Гонсало и преспокойнейшим образом... я как сейчас вижу его пред собой... схватив своей волосатой рукой острие копья, отвел его и сказал тебе: «Смотри, не порань меня нечаянно»...

При этих словах смуглое лицо старого солдата сделалось еще смуглее, и, желая прекратить мало ему приятный разговор, он оборвал своего собеседника на полуслове, сказав:

— Что мне за дело до Тарента, до копья и до Гонсало!

— Что тебе за дело?—снова начал тот, усмехаясь.—Если хочешь послушать совета Руй Переса и дожидаться хлеба, когда богу будет угодно послать нам его, то лучше не говори так громко, а то как бы Гонсало не услышал и не вспомнил о Таренте... Знаешь пословицу: держи язык за зубами; а также: береженого бог бережет?

Нуньо что-то пробормотал в ответ, но мысли его уже были заняты другим: полученное им предупреждение поневоле заставило его задуматься. Он подозрительно оглянулся, чтобы убедиться, не придет ли кому в голову донести о том, что он только что сболтнул сгоряча, но ничего тревожного он не обнаружил.

Тем временем площадь почти опустела. В замке часы пробили шесть. Следуя примеру других групп, которые понемногу разбрелись по домам, и наши солдаты стали расходиться по узким и темным улицам города.

— Диего Гарсиа вернется сегодня вечером, — говорил дорогой Руй Перес. — Добрые копыя его отряда раздобыли, небось, чего-нибудь в деревнях, и, быть может, завтра мы пообедаем лучше, чем поужинали сегодня.

Эти слова и возбужденная ими надежда завладели мыслями разговаривавших, которые, прекратив беседу, молча разошлись по своим домам.

В то время как происходили эти разговоры, судно, которое, казалось, собиралось пройти мимо, незаметно приблизилось к берегу. Оно спустило шлюпку, в которую сошли два человека и быстро стали грести к берегу; не успели они высадиться, как судно, распустив все паруса, удалилось и исчезло из виду. Лодка пристала к самой темной части площади, и двое гребцов вскочили на берег. Один из прибывших, убедившись, что кругом никого нет, остановился и стал поджидать своего товарища, который задержался, чтобы захватить с собой сундучок и другие мелочи. После этого он оттащил лодку к концу

небольшого мола, служившего для причала более крупных судов, и вернулся к своему спутнику, который по своей осанке и выражению надменного превосходства на лице, казался его господином.

— Микеле,—сказал тот, продолжая начатый разговор,—теперь нужно быть на-чеку. Ты меня знаешь. Больше я тебе ничего не скажу.

Микеле хорошо понял значение этих немногих слов; он кивнул головой, и оба повернули к харчевне.

Перед главным входом в харчевню находилась крытая галлерейя, образуемая шестью тонкими четырехугольными колоннами из простого кирпича; в ней было расставлено для посетителей несколько столов. Хозяин харчевни, по имени Баччо да Риэтти, в силу некоторых подозрений получивший в народе кличку Велено («яд») и называемый так всеми, поместил между двумя окнами фасада изображение большого красного солнца, причем художник, следуя астрономической мудрости, еще не исчезнувшей и до наших дней, снабдил его глазами, носом и ртом и окружил золотыми лучами, сделанными наподобие ласточкиного хвоста: днем их можно было видеть от самого мола. Здание было разделено на два этажа; большая комната, занимавшая нижний этаж, служила кухней и столовой; оттуда деревянная лестница вела на второй этаж, где жил сам хозяин со своей семьей и где нередко проводил злополучную ночь какой-нибудь несчастливец, забредший туда. В те дни в Италии повсюду было принято ужинать в пять часов; однако в это время там находилось лишь несколько солдат

или командиров, сидевших перед дверью, на вольном воздухе; они принадлежали к отряду синьора Просперо Колонна, который тогда служил Испании: все бойкие ребята, обычно проводившие здесь время вместе с другими забияками. Хозяин харчевни, знавший хорошо свое дело, не заставлял их дожидаться ни карт, ни вина; большой весельчак и балагур, он находил для каждого подходящее слово и, развлекал своих посетителей, вытягивал из них деньги.

В этот момент Велено стоял как раз на пороге двери, подоткнув передник и обмахиваясь шалкой, а из харчевни вырывались отдельные слова, смех и общий гул голосов. Двое приезжих приблизились к харчевне, и, чтобы скрыть, что они чужие, шли медленным шагом и часто останавливались и начинали разговаривать; когда они поровнялись с дверью и лица их озарились отблеском пламени пылавшего внутри очага, можно было заметить, что они одеты совершенно так же, как и всякий другой из находившихся в трактире гостей. Они вошли, не обратив на себя большого внимания присутствовавших; но один из посетителей, который сидел подальше и, сам будучи в тени, лучше разглядел их, невольно воскликнул «ах», с выражением величайшего изумления и, поднявшись со своего места, произнес: «Герцог...» Звук голоса, которым было произнесено это слово, указывал на то, что за ним должно было последовать и имя; но незаметного движения бровей вошедшего было достаточно, чтобы имя застряло в гортани солдата. На его замешательство никто не обратил внимания, лишь сидевший около него товарищ сказал:

— Боскерино, какой это тебе мерещится герцог? А ведь ты сегодня как будто не пьян. Разве в такое место заглянет герцог?

Боскерино очень обрадовался, что ему не поверили и сочли его за сумасшедшего или пьяного; и, ничего не отвечая, он перевел разговор на другое.

Позади двух пришельцев сейчас же появилась круглая и жирная фигура Велено. У него было оливковое волосатое хитрое лицо, лицо нахала или убийцы. Он развязно махнул рукой, словно хотел приподнять шляпу, и сказал:

— Извольте приказывать, синьоры.

Тот, которого, как мы уже знаем, звали Микеле, вышел вперед и сказал:

— Хорошо бы поужинать.

Хозяин поморщился и отвечал огорченным тоном, которому он старался придать характер искренности:

— Поужинать? Вы хотите сказать, в лучшем случае проглотить кусочек, если удастся что-нибудь состряпать... Бог знает, осталось ли еще что в доме при этой ужасной осаде. Вот хлеб, который прежде стоил один кортон, теперь дошел до полфлорина; я сам плачу столько пекарю. Во всяком случае для таких синьоров, как вы, я уж постараюсь... что-нибудь придумаю...

После этого предисловия, целью которого, как у всех трактирщиков, было содрать с гостей впятеро, он открыл шкаф и, вытащив оттуда горшок, поставил на печку; потом, раздув передником огонь, отчего пепел поднялся до самого потолка, он проворно разогрел жаркое из козленка—единственную живность, какую еще можно было, по



его словам, найти в Барлетте, предназначавшуюся для одного кашрала, который вот-вот должен притти ужинать; но таких гостей, как они, нельзя отправить спать натошак.

Как бы то ни было, блюдо это оказалось очень кстати; оно было подано на глиняных тарелках, разрисованных цветочками, вместе с пузатой кружкой из того же материала и половиной овечьего сыру, твердого, как камень, и носящего на себе следы ударов ножей прежних посетителей, уже пробовавших на нем свои силы. Стол, за которым они сидели, находился в глубине залы, если так можно назвать этот закоптелый притон. С противоположной стороны находился большой камин с навесом, под которым могло поместиться двенадцать человек, а около него с обеих сторон было три или четыре печки. Перед ним стоял стол для повара, и от середины его в виде буквы Т тянулся узенький столик через все помещение, почти до противоположной стены, где ужинали два гостя. Посередине главной потолочной балки висел медный светильник с четырьмя фитильками; он почти потух и давал свету лишь настолько, чтобы посетители не переломили себе ног, натыкаясь на скамьи и табуреты, окружавшие стол.

Хозяин, приготовив все нужное, чтобы накормить своих гостей, посвистывая, по своему обычаю, вернулся опять к двери, как раз в тот момент, когда к харчевне рысью подъезжал на муле какой-то человек, который, не тронув стремян, соскочил на землю и закричал:

— Ну, ребята, веселее! Хорошие вести!.. А ты, Велено, разорвись хоть на двадцать кусков,

для каждого теперь найдется работа. Вернулся Диего Гарсиа. Он сейчас дома, но с минуты на минуту придет сюда ужинать. С ним вместе двадцать или двадцать пять добрых шпаг, да юн сам один четырех стоит. Итак, смотри, чтобы все было готово,—да попроворней!.. Но что с тобой, ты умер, что ли?.. Да шевелись же!..

Хозяин стоял, раскрыв рот. Ребята, бывшие в зале, повскакали со своих мест и окружили гонца, приставая к нему с расспросами, чтобы поскорее узнать, какова была поездка.

— Вы меня задушите,—и все же ничего не узнаете!—закричал он, вырываясь и расталкивая их.—Либо вам говорить, либо мне...

— Говори, говори!—закричали все вместе.—Какие новости?

— А те новости, что мы до смерти устали: четырнадцать часов верхом и без глоточка воды... Эй, Велено, кружку вина, да поживее... у меня горло пересохло, как трут... Зато сорок голов крупной скотины, да шесть сотен мелкой уже стоят здесь, в Барлетте. Да прибавьте еще трех пленных, которые нам высыпят с божьей помощью столько золотых червонцев, сколько нас есть крещеных христиан; иначе они не увидят никогда своих домов. Однако же, скажу я вам, нелегкое было дело сбить их с коней и отнять у них мечи... Да принесешь ли ты, наконец, вина, пока еще не умер?.. Они размахивали обеими руками с быстротой молнии, особенно один... Он был уже на земле, раненый конь подмял его под себя, все ему кричат: «сдавайся, или умрешь!» а он все размахивает мечом, и если бы он не сломал его, когда хотел ударить лошадь Иниго и вместо нее

попал в окованное железом седло, то либо пришлось бы прикончить его копьём, либо он улизнул бы от нас. Ну, в конце концов он отдал Диего Гарсиа остаток меча.

В этот момент явился Веленю с вином и подал его рассказчику, который встретил его радостным:

— Ну, слава богу, наконец!

— А как этого дьявола звать?—спросил Боскерино.

— Точно не знаю... Говорили, что он знатный французский барон: что-то вроде ла Крот... ла... Ламот... Да, теперь припоминаю: Ламот. Животина, скажу тебе, такая, такая, что земля под ним дрожит. Словом, дело кончилось хорошо, и если богу будет угодно, мы теперь попируем.

Потом, заглянув внутрь харчевни, он закричал:

— Что же ты, подлый предатель, делаешь? Ты еще не разжег огня? Или ты хочешь, чтобы я прошелся по твоей спине этой пикой?

И он собрался уже привести в исполнение свою угрозу, но остановился, увидев, что большая решетка уже поставлена над охалкой дубового хвороста, который начал разгораться; пламя выбивалось из него, поднимаясь все выше, а хозяин, весь красный и обливаясь потом, забыв уже и про голод, и про осаду, и хорошо зная, что с Паредесом и его компанией шутки плохи, суетился и бегал по дому, стараясь все привести в порядок. В одно мгновение он нашел все, что было нужно; содрал кожу с ягненка, он часть его положил вариться, а остальное насадил на два длинных вертела и стал вертеть их, вставив

в развилки очага. Дело принимало хороший оборот.

— Ну вот, хорошо,—сказал заказавший ужин,—хорошо для тебя, Велено. А то, если бы они пришли и у тебя ничего не было бы готово, ты узнал бы, сколько фунтов весят пять пальцев Диего Гарсиа. Я иду и сейчас же приплю их к тебе сюда.

— А ты что же, Рамацотто, не вернешься с ними?—спросил один из капралов.

— Как же мне притти? Ведь отряд еще даже не спешился. Мне нужно разместить их и присмотреть за добычей; она на площади у замка. А ты знаешь, ночью руки ловко работают, да и в нашем отряде немало таких, которые сумеют найти рукам дело. Фьерамоска, Мигале Бранкалеоне и все наши настороже, и нам приказано следить, чтобы не было беспорядков. Каждому свой черед; испанцы в другой раз.

— Если это так, как ты говоришь,—отвечал Боскерино,—то мы пойдем с тобой и поможем тебе. Сюда, товарищи! Этот добрый человек сделал больше миль, чем мы все, и мы должны помочь ему.

Они вышли из харчевни и, разговаривая о происшествиях дня, подошли к тому месту, где отряд Рамацотто ожидал его. Рамацотто вел за узду своего коня; его люди постепенно окружили его; он рассказывал и отвечал на задаваемые ему вопросы, а Боскерино внимательно прислушивался к его словам. Но вдруг он почувствовал, что кто-то его дернул за плащ и, обернувшись, увидел в тени человека, в котором узнал

одного из тех двух, которых оставил за ужином в харчевне.

— Боскерино,—сказал ему тот полушопотом, останавливая его, в то время как другие продолжали свой путь,—герцог хочет говорить с тобою; ты не пугайся, он не сделает тебе ничего худого. Только, смотри, будь внимателен и осторожен. Пойдем.

У Боскерино мороз пробежал по коже, когда он услышал эти слова, и он спросил чуть слышным голосом:

— Это вы, дон Микеле?

— Да, я! Молчи и веди себя, как подобает умному человеку.

Боскерино служил начальником отряда у синьора Джованни Паголо Бальони и у других итальянских синьоров и в войнах того времени всегда отличался храбростью; не было человека, который бы так беспечно, как он, бросался в любое опасное дело; поэтому, когда стал формироваться под начальством синьора Просперо для оказания помощи Гонсало отряд в пятьсот пехотинцев и тысячу стрелков, он вступил в него с приличным жалованием, и его очень высоко ценили.

Но как ни тверд был он духом, а услышав слова Дона Микеле и узнав, перед кем ему с минуты на минуту придется предстать, он почувствовал дрожь в коленях. Если бы ему предоставлен был выбор, он скорее предпочел бы сразиться с десятью противниками, чем идти, куда он шел. Передумав обо всем, что случилось до этого, он ясно представил себе положение дела и сказал самому себе:

«Я не сомневаюсь в том, что он слышал,

когда я произнес слово «герцог»... Чорт меня дернул тогда за язык!.. А ведь он был далеко от меня, и я, кажется, не очень громко сказал. И куда только его, проклятого, не заносит?.. Что, например, сейчас ему понадобилось здесь?»

Пока он так размышлял, они подошли к харчевне. На кухне находились одни домашние. Герцог отправился уже в комнату, отведенную ему и находившуюся над залой, в которой ужинали. Так как доски потолка были плохо пригнаны, между ними оставались достаточно широкие щели, чтобы можно было видеть и слышать все, что происходило внизу.

У хозяина мелькнуло было в голове подозрение, что его пость не тот, кем он хочет казаться. Но так как они были осажены неприятелем только с суши, то сюда приезжали с моря всякого рода люди, и поэтому если и появлялось какое-нибудь лицо, не совсем обыкновенное, то этому не придавали большого значения.

Дон Микеле и Боскерино поднялись по лестнице и вошли в комнату, в которой находился герцог. Кровать, накрытая серым покрывалом, небольшой столик и несколько скамеек составляли все убранство комнаты. Угасавшая свечка, когда они отворили дверь, от толчка воздуха совсем погасла, и пока дон Микеле сходил за другой, Боскерино оставался в темноте наедине с герцогом. Он неподвижно оставался на своем месте, прислонясь к стене, не только не решаясь говорить, а почти не смея даже дышать, и сам удивлялся, что он, которому сам чорт был не брат, сделался таким смиренным. Но сознание,

что он находится в присутствии этого непостижимо и страшного человека, в такой от него близости, что в окружавшей их тишине может слышать его частое дыхание, все это помимо его воли повергало его в такой страх, что он предпочел бы скорее умереть. Дон Микеле вернулся с югнем, и тогда можно было увидеть, что герцог сидит на краю кровати. Вид его показывал, что этот человек никогда не знал, что такое душевный и телесный покой.

Он был хорошо сложен, сухощав, роста несколько выше среднего; в каждом движении его чувствовалась какая-то дрожь, описать которую невозможно. На нем был темный плащ с рукавами, широко отороченными и с отворотом. Пояс с тонким кинжалом и шпага лежали на столе вместе со шляпою, украшенной одним лишь черным пером. На руках у него были перчатки, на ногах большие походные сапоги. Он взглянул на входящих. Лицо его было бледно, впалые щеки покрыты синеватыми пятнами; он носил усы и рыжеватую, довольно длинную бороду, раздваивавшуюся на груди. А взгляд? Невозможно было найти на свете ничего похожего. Он мог быть пронзительнее взгляда змеи, нежным, как взор ребенка, и страшным, как кровавый зрачок гиены.

Герцог взглянул на Боскерино, который, кажется, уменьшился наполовину и стоял все на том же месте, словно в ожидании смертного приговора. На этот раз взгляд герцога был таков, что должен был отнять у него всякий страх. Но Боскерино знал, с кем имеет дело, и несколько не успокоился.

— Ты узнал меня, Боскерино,—сказал гер-

цог,—и я этому рад. Я всегда считал тебя человеком надежным и порядочным, и если бы ты не попался мне на глаза, я сам бы стал разыскивать тебя. Я знал очень хорошо, что ты здесь. Ни слова никому, что ты меня видел. Ты знаешь, что я могу вознаградить тебя за твои услуги; а сделать мне неприятность тебе нет никакой пользы.

Боскерино знал очень хорошо, что герцог говорит правду, и потому отвечал ему:

— Валпа светлость может вполне располагать мною,—я всегда, как был, так и буду вашим верным слугою. И моя прошедшая жизнь, я полагаю, не может дать повода к иному обо мне мнению. Я лишь прошу валпу светлость дать мне возможность свободно сказать вам два слова.

Герцог кивнул головой, и он продолжал.

— Вы располагаете моей верностью, достославный синьор, и я не изменю вам никогда, во веки веков. Но кто-нибудь мог вас видеть здесь. Если это разнесется, когда я выйду отсюда, то подозрение может упасть на меня, хотя я несколько не буду виноват. И я не знаю, как мне выйти с честью из этого положения.

— Ступай,—отвечал герцог,—и будь спокоен. Старайся только честно исполнять свой долг, и я не стану приписывать тебе то, чего ты не заслужил. Мне нужно скрываться не больше, как несколько часов; потом пускай хоть все узнают и говорят, что хотят. Но сам ты будь нем, если тебе дорого мое расположение.

Боскерино не отвечал на эти слова, только почтительно склонил голову. Лицо его выражало, что у него одно лишь желание—повиноваться и



одно опасение—как бы ни подумали, что он проявляет недостаточную склонность к повиновению. Он откланялся и, отступая задом, со множеством поклонов вышел из комнаты. Ему казалось, что он не дожидается времени, когда будет на улице. Спустя несколько минут вышел и дон Микеле. Он отыскал свою комнату, заперся там, и весь этот вечер верхний этаж харчевни был так покоен, как будто так не было никого.



## ГЛАВА II

Компания, для которой приготовлялся ужин, собралась в доме Велено около семи часов вечера и в одно мгновение наполнила комнату нижнего этажа, в которой был уже накрыт стол. Чтобы не ударить лицом в грязь, хозяин накрыл стол чистыми скатертями и разместил на нем, кроме тарелок и блюд из юлова и меди, старательно вычищенных и блестящих больше обычного, виноградные листья, чтобы ставить на них стаканы и бокалы. На последних при ярком блеске многих светильен сверкали бесчисленные водяные

капли, свидетельствуя о том, что они только что были выполосканы.

Диего Гарсиа де Паредес вошел первым, а за ним взятые в плен французские бароны: Жак де Гинь, Жиро де Форс и Ламот. Испанец, самый смелый и сильный человек во всей армии, а может быть, и во всей Европе, казалось, самой природой был создан для ремесла воина, в котором тем легче было преуспеть, чем крепче был человек сложением и мускулами. Ростом он был значительно выше своих товарищей, постоянные же физические упражнения, при его сложении, лишая члены его излишней полноты, сообщили такое развитие каждому его мускулу, что грудь, плечи и прочие части его тела напоминали колоссальные изваяния античной скульптуры, с их атлетическими и в то же время прекрасными формами. Толстая, как у быка, шея поддерживала маленькую головку с редкими волосами на затылке; вид его был мужественный и уверенный, но без тени надменности. Общий облик доня Гарсиа не лишен был некоторого изящества, а выражение лица его свидетельствовало о том, что он был человеком простым, честным и полным благородства. Он успел уже снять вооружение и остался в одном нагруднике и красных штанах, туго обтягивавших ноги, так что при каждом движении его можно было видеть, как играют мускулы, словно юни были совсем обнажены; коротенький плащ, брошенный по испанскому обычаю на одно плечо, дополнял простое одеяние.

— Синьоры бароны,—сказал он, с рыцарской вежливостью вводя пленных в комнаты,—мы, испанцы, говорим: еда заставляет забыть о печа-

лях. Судьба с вами сегодня обошлась круто; завтра, быть может, очередь будет за нами. А пока мы здесь, будем друзьями. Поужинаем сейчас; в этом, я думаю, мы все сойдемся. Не одно копые сегодня разлеталось в куски, и на этот раз достаточно: уж верно нас не упрекнут в том, что наши доспехи ржавеют. Будьте веселы, а завтра потолкуем о выкупе, и вы увидите, что дон Гарсиа знает, как обходиться с рыцарями, такими, как вы.

Ламот держал себя при этих словах, как человек, который испытывает гнев, но не хочет показать его. Храбрый воин, человек непреклонного мужества, когда оружие было у него в руках, он и вид имел соответствующий: чрезвычайно надменный, как человек светский, он не мог спокойно мириться с тем, чтобы ему оказывал внимание воин, захвативший его в плен. Однако, понимая, как было бы непристойно показывать свое недовольство, он ответил весело, как только мог:

— Если вы так же быстры в назначении выкупа, как и в нанесении ударов, то христианнейший король уплатит вам из своей казны, если захочет получить нас обратно; в противном случае я буду вашим товарищем до конца моих дней.

— Иниго, — сказал Паредес, обращаясь к красивому юноше двадцати пяти лет, который в ожидании ужина уже принялся за хлеб, — если говорить об ударах меча, то надо спросить у твоего коня, чем пахнут удары этого барона.

Потом, снова обращаясь к Ламоту, он сказал:

— Я немного поздно заметил, что вы безоружны. Вот мой меч, — и, сняв свой меч, он поясал

им своего пленника.—Было бы очень несправедливо, если бы такая рука, как ваша, не нашла рукоятки, чтобы опереться. Барлетта будет вашей темницей до обмена или выкупа. Ваше слово, рыцарь?

Ламот протянул Паредесу руку, тот взял ее и прибавил:

— Те же условия будут и для ваших товарищей. Не правда ли?—снова сказал он, обратившись к Корреа и Асеведо, двум воинам, которые взяли в плен товарищей Ламота. Они отвечали, что согласны, и оба с такой же учтивостью, сняв с себя мечи, опоясали ими французских баронов.

— За стол, синьоры!—закричал в эту минуту Велено, поставив посреди стола тяжелое блюдо, на котором лежала половина ягненка, обложенная луком и овощами, а по концам стола—две большие тарелки с салатом. Но не столько мощный голос хозяина, сколько вид поданного блюда привлек к себе внимание изголодавшейся компании. Все поспешили к столу, отодвигая и снова ставя на место скамейки, уселись в одно мгновение и принялись за работу. Несколько минут не слышно было ни слова; раздавался только звон тарелок, стаканов и приборов.

В переднем конце стола сидел юдин Диего Гарсиа, посадив по бокам от себя Ламота и де Гиня. Прихватив мясо большим кортиком, он в одну минуту, разделил на куски поданное на стол жаркое и роздал его присутствующим. Его железный желудок, которому усердно служили два ряда белейших и крепких, как сталь, зубов, через несколько минут уже успокоился, а быть

может и совсем насытился. Он не оставил на тарелке ни единой косточки, так как ни одна овчарка не могла бы поспорить с ним в умении разгрызать их и превращать в порошок. Покончив с этим блюдом, он наполнил стаканы своим соседям и себе. Когда выпили, и первый приступ голода уже несколько улегся, завязались мало-по-малу разговоры, в которых чередовались вопросы, ответы и остроты, вращавшиеся преимущественно около военных событий, лошадей, нанесенных и полученных ударов и различных приключений дня. На заднем конце стола сидел человек двадцать испанцев, представив из вежливости своему начальнику и французским пленникам почетное место; в их жестах и словах сквозило любовное братское единение, которое устанавливается между людьми, ежедневно подвергающимися величайшим опасностям и знающими, какое значение имеет при этом готовность каждого в случае надобности прийти другому на помощь.

Грубые и сожженные солнцем лица этих воинов, покрасневшие и разгоревшиеся под влиянием движения, недавних трудов и горячей пищи, отражали на себе при падающем на них блеске светильен игру светотени, достойную кисти Герардо Ночного.

Когда ужин стал приближаться к концу, разговор, как обычно случается, сделался более общим и взрывы смеха и шум стали все сильнее раздаваться среди тех, кому перенесенные за день испытания принесли честь и добычу. Только лицо Иниго дольше всех не просветлялось. Он сидел, опершись локтем о стол, и смотрел во-

круг себя, редко или вовсе не отвечая на болтовню своих товарищей.

— Иниго, — сказал, протягивая к нему руку, Асеведо, который, может быть, осушил бокалов больше обыкновенного и, будучи сам веселым малым, не мог видеть, чтобы кто-нибудь из компании сидел, погруженный в меланхолию. — Иниго, можно было бы подумать, что ты влюблен, если бы барлетские женщины заслуживали взглядов такого красивого молодца, как ты. Эдесь, хвала богу, мы в безопасности. Но будет жаль, если ты оставил сердце в Испании или в Неаполе.

— Я не думаю о женщинах, Асеведо, — ответил юноша. — Я думаю о своем добром коне, которого тот барон чуть совсем не зарубил, продолжая размахивать руками, как сумасшедший, когда уже было ясно, что ему не убежать. Бедный Кастаньо! Он уже не поправится, и я очень боюсь, что у меня никогда не будет такого коня. Помнишь, в Таренте, чего не выдвигал этот демон? А когда переходили в брод эту реку... забыл ее название... там тогда был убит Киньонес... вода в ней оказалась выше, чем предполагали, — кто первый доплыл до берега? И после стольких испытаний и опасностей надо же было ему окончить свои дни от руки этого врага божия!

— Не говори так громко, — сказал Корреа. — Что было, произошло в честном бою, и нечего обвинять пленных, — будет нехорошо, если они услышат этот разговор.

— И я клянусь тебе, — отвечал Иниго, — что предпочел бы сам лежать на земле с хорошей раной, но чтобы был цел мой бедный Кастаньо;

я скорее простил бы французу, если бы он изломал свой меч о мою голову и не убивал моей лошади. Бить надо человека: по крайней мере если кто умеет держать в руке меч. А не размахивать им, по-сумасшедшему, туда-сюда. Проклятый, можно было подумать, что он отгоняет от себя мух.

— Ты прав, чорт возьми,—воскликнул Сегредо, старый воин с седыми усами и бородой; видно было, что он побывал не в одной схватке.— Когда я был молод, я рассуждал, как ты. Посмотри на мой лоб,—и, ударяя по нему слегка рукою, огрубевшей от железной перчатки, он показал на рубец, рассекавший ему бровь,—вот что мне сделал el Rey Chico из-за того, что я любил своего коня, самого красивого гнедого, который когда-либо был в бою. Вот это уж был конь так конь! Когда дело доходило до мечей, стояло только вот так чуть прикоснуться к уздечке и слегка нажать шпорами—посмотрели бы вы тогда. Вскочит на дыбы и начнет кидаться и метаться так, что, бывало, чтобы не слететь, приходилось крепко сжимать ногами его бока, а когда он опускался опять на передние ноги, я летел вниз, и меч в моей руке был как стрела, так что не один мавр при этом отправлялся ужинать с чортом. Днем во время отдыха я спал в тени под ним—бедняжка мой, дорогой мой Саморено—и он тогда не смел отгонять от себя мух, чтобы не разбудить меня. А при осаде Картахены, где были вероятно немногие из вас и где впервые стали говорить о нашем Великом Капитане... и поверьте Сегредо, война в те времена была выгодным делом, получше теперешнего:



бились на глазах у короля дона Фернандо и королевы Изабеллы... то-то была красавица!.. и всего двора; и хорошо платили нам, и содержали хорошо и нас самих и наших коней, словно в доме какого-нибудь князя... Да, так вот я говорю о своем коне: во время одной вылазки, в которой Rey Chico впереди всех сражался как лев (ростом он приходился мне до середины груди, но рука у него была такова, что, где прикоснется, оставляла знак)—этому бедному животному пронзила шею мавританская пика—и оно первый раз в жизни упало на колени. Я ускоцил на землю и увидел, что помочь нельзя. Однако я надеялся отвести его в поле на поводу, так как ни за что на свете не хотел оставлять его. Он следовал за мной, хотя едва мог тащиться, и—мне не стыдно сознаться—самые горячие слезы текли у меня из-под наличника шлема и орошали мне шею—а я ведь не знал никогда в жизни, что значит плакать! В это время повернула обратно огромная толпа мавров, теснимая множеством конных, и король должен был бежать и бежал, мыча как бык. Я попал в середину их, один, пеший, и видел, что смерть моя неминуема. Отбиваясь мечом, я удержал не одного из них, но меня поразил по голове меч короля и рассек шлем, лишив меня на время сознания. Когда я пришел в себя и смог приподняться с земли, я увидел, что мой бедный Саморено лежит мертвый подле меня.

Приключения коня Сегредо выслушаны были всеми сидящими за столом с большим участием, и на лице старого солдата, изборожденном прожитыми годами и трудами, можно было под ко-

нец рассказа прочесть, что память о старом товарище была еще очень жива в его сердце. Ему вдруг стыдно стало, что он слишком показал это, и он налил себе вина, чтобы отвлечь уставленные на него взоры.

Жан де Гинь, который, как и прочие пленные, постепенно ободрялся духом по мере того, как у него наполнялся желудок, услышав историю Саморено, сказал:

— Chez nous<sup>1</sup>, господин рыцарь, это не произошло бы так легко, хотя, к сожалению, нельзя отрицать того, что les bonnes coutumes de chevalerie<sup>2</sup> с каждым днем становятся все реже. Все же воин считал бы себя обеспеченным, если бы при равном числе сражающихся и равном вооружении его меч упал на коня неприятеля. Но от мавров, это все знают, нельзя ожидать такой учтивости.

— Однако,—сказал Иниго, отвечая на слова, которые были обращены не к нему,—можно было бы доказать, что не у юдных мавров обычай убивать коней. Об этом знает равнина под Беневентом, и это изведал бедный Манфред! И Карл Анжуйский, который отдал такой приказ, был таким же мавром, как вы и я.

Удар попал в цель, и француз съезжился на своем кресле.

— Да, так говорят,—отвечал он,—может быть, это и правда. Но Карл Анжуйский сражался за королевство и притом имел дело с отлученным врагом церкви.

---

<sup>1</sup> У нас.

<sup>2</sup> Добрые рыцарские обычаи.

— И он не был врагом чужого добра?—спросил Иниго с язвительной усмешкой.

— Я думаю, вам известно,—подхватил Ламот,—что неаполитанское королевство является леном папского престола и что Карл получил от папы инвеституру на него. А затем добрый меч имеет также свои права.

— А затем, а затем... Нет, лучше расскажем о деле так, как оно было,—отвечал Иниго.—Немецкие латники Манфреда и тысячи конных итальянцев, которые под предводительством графа Джордано сражались против французов, с самого начала сражения показали себя так, что Карл Анжуйский, желая быть королем неаполитанским, счел небесполезным прибегнуть к этому средству, поскольку не считаясь с *les bonnes coutumes de chevalerie*, бывшими во всей силе в то время.

— Я готов согласиться с вами,—отвечал Ламот,—что немцы под латами чего-нибудь стоят, и, может быть, могли бы в беневентском бою несколько минут противостоять французской коннице; но что касается вашей тысячи итальянцев, то, уж извините, если они за двести лет тому назад были такие же, каковы теперь, то, право, французам не было нужды, чтобы разбить их, терять время и калечить их бедных коней. Вот уже пять лет, как я рассказываю по Италии, и я успел хорошо узнать их. Я сопровождал короля Карла в отряде храброго Louis d'Ars, и я могу вас уверить, что плутни итальянцев причинили нам больше хлопот, чем их мечи. Единственный способ войны, который им известен, это тот, которого именно не может признать французская порядочность.

Эти заносчивые слова не могли понравиться никому, особенно же Иниго, который имел и ум и образование более чем посредственные. Он был в дружбе со многими итальянцами, сражавшимися под испанскими знаменами, и ему было известно, как происходило дело во время вторжения Карла в Италию. Он знал, например, что несмотря на французскую порядочность, они нарушили договор с флорентийцами и подняли против них Пизу, и что укрепления, отданные в их руки по неблагоприятию Пьеро де Медичи, не были, вопреки данному слову, возвращены им в назначенное время. Все это промелькнуло в сознании Иниго, и слова Ламота взволновали его. Он не мог спокойно относиться к тому, что французы, не удовлетворяясь тем, что сами продавали и мучили бедных итальянцев, их же называли предателями и порочили их. И он собирался уже дать Ламоту достойный ответ, но тот, заметив, что его слова произвели неблагоприятное впечатление, прибавил:

— Вы, синьоры, только недавно прибыли сюда из Испании, и еще не знаете, что это за подлое племя—итальянцы; вам не приходилось иметь дело ни с герцогом Лодовико, ни с папой, ни с Валентино, которые сначала принимали нас с раскрытыми объятиями, а потом только и глядели, чтобы всадить нам кинжал в бок. Однако при Форново им пришлось узнать, что может сделать горсть доблестных людей с целой тучей предателей. Моро первый попался в свои собственные сети. Разбойник! Если бы за ним не числилось других преступлений, кроме того, что он уморил своего племянника, то разве не

достаточно было бы уже одного этого, чтобы считать его самым гнусным из убийц?

— Но,—сказал Корреа,—племянник его был слабосилен и недалек и, говорят, умер естественной смертью.

— Да, конечно, естественной, как и все, которые случаются от яда. Де Форс и де Гинь знают это; они тогда вместе со мной квартировали в павийском замке. Король пошел навестить бедное семейство Галеаццо (все это я слышал из уст Филиппа де Комина, которому это рассказывал сам король). Моро провел его какими-то темными переходами в две низкие и сырые комнаты, выходящие в ров замка. Там он нашел герцога миланского с его женой Изабеллой и детьми. Она бросилась к ногам короля, прося его за своего отца; она хотела бы просить и за себя и за мужа, но этот предатель Моро был тут. Бедный Галеаццо, бледный и истощенный, говорил мало и, казалось, был совершенно подавлен безмерностью своего несчастья: в его жилах уже был яд, который его убил... А другой пример—Цезарь Борджа. Где вы сыщете подобную пару? Мы видели такие его дела, что если рассказать о них, никто не поверит. Но многие его подвиги уже хорошо известны. Весь свет знает, что он убил своего брата, чтобы получить его должности и имущество. Весь свет знает, что он делал, чтобы стать господином Романьи. Весь свет знает, что он убил своего шурина, что он отравлял кардиналов, епископов и многих других, которые заслоняли ему дорогу.

Потом, обращаясь к своим товарищам французам с видом человека, который напоминает о

всем известном и приискорбном факте, он продолжал:

— А бедная Джиневра ди Монреале? Самая красивая, самая добродетельная, самая милая женщина, какую я когда-либо знал. Вот эти мои друзья помнят ее: мы видели ее, когда проходили через Рим в 1492 году. Злой судьбе ее было угодно, чтобы про нее узнал герцог Валентино, бывший тогда кардиналом. Она перед тем вышла замуж за одного из наших воинов, больше из повиновения отцу, чем по чему-либо другому. Вскоре она заболела, и никто не мог определить ее болезнь. Испробованы были все средства, однако ничто не помогало, она должна была умереть. Но один особенный случай открыл мне адскую тайну, которая немногим была известна. Болезнь ее была не чем иным, как ядом, данным ей Валентино, чтобы наказать ее за ее честность. Несчастливая женщина! Ну, скажите, разве такие вещи не способны призвать перуны с неба?

Здесь француз остановился и задумался, словно стараясь припомнить какие-то обстоятельства, которые время затемнило в его памяти.

— Да, да, я не ошибаюсь, сегодня при въезде в Барлетту я видел между вашими воинами одного... имя его я, по правде сказать, забыл... Но я хорошо помню, я не раз встречал его в то время в Риме. Его вид и лицо из тех, что не легко забываются. Все говорили, что он был тайным любовником Джиневры. После ее смерти он исчез, и с тех пор о нем не было ничего слышно. *Mais oui, je suis sûr, que c'est le même*<sup>1</sup>,—

---

<sup>1</sup> Ну да, я уверен, что это именно он.

сказал он, обращаясь к товарищам.—Сегодня за милю от города, когда мы остановились у источника подождать пеших, этот бледный юноша с каштановыми волосами... Мне кажется, я никогда не видел мужчины более красивого и более грустного, чем он... Да, да, это решительно он; но имени его не спрашивайте у меня.

Испанцы смотрели друг на друга, стараясь узнать, о ком бы это он мог говорить.

— Он итальянец?—спросил один из них.

— Да, итальянец. Правда, он не раскрыл и рта, но его товарищ, что сошел с лошади и подал ему напиток, говорил с ним по-итальянски.

— А как он был вооружён?

— Помнится, гладкие латы и кольчуга, если не ошибаюсь, перо и голубой шарф.

Иниго первый вскрикнул:

— Этторе Фьерамоска!

— Да, да! Фьерамоска,—отвечал Ламот.—Теперь я вспомнил, Фьерамоска. Вот этот-то Фьерамоска и был влюблен в Джиневру (так по крайней мере говорили), и многие, не видя его больше нигде после ее смерти, думали, что он убит.

При этих словах испанцы, смеясь, с улыбкой начали говорить между собой, что теперь не приходится удивляться тому, что он всегда задумчив и ведет жизнь самую уединенную и совершенно не похожую на жизнь его молодых товарищей. Все, однако, единодушно хвалили его прекрасные качества, его доблесть и учтивость; из чего можно было видеть, как он был любим и ценен всем войском. Но особенно ценил его Иниго. Он был его другом и, будучи недюжинной натурой, восхищался без зависти прекрасными достоин-

ствами итальянского воина, и чем более убеждался в его превосходстве над собою, тем более любил его. Он стал теперь говорить в его похвалу со всем жаром, на который способно исполненное дружбой сердце испанца.

— Вам нравится его лицо? Да и кому бы оно могло не нравиться? Но какое значение имеет для мужчины красота? Если бы вы знали душу этого юноши! Благородство и великодушие его сердца! На что он только не отважился с оружием в руках, проявляя самую отчаянную храбрость! У большинства людей она бывает связана с каким-то опьянением, а у него, напротив, даже при самых больших опасностях она всегда соединялась с холодным благоразумием... В жизни моей я много знал храбрецов и при испанском дворе, и во Франции, но я говорю вам, как честный человек, такого человека, как этот итальянец, который соединяет в себе, чорт возьми, все добродетели, я не видел и не рассчитываю когда-либо еще увидеть.

Любовь, какую Фьерамоска пользовался в войске, сделала то, что всякий захотел теперь высказаться, проявляя живой интерес к его судьбе, и старый Сегредо не оказался холоднее других и сказал:

— Хотя я никогда не терял времени с женщинами и никогда не мог понять, как грудь, покрытая кольчугой, может мучиться из-за них, однако, видя, как этот доблестный юноша всегда печален и имеет такой убитый вид, я начинаю испытывать какое-то чувство, которого и сам хорошо не могу понять, и, клянусь святым богом, я дал бы лучшую из моих лошадей (только не



«Леопарда», чтобы хоть раз увидеть его смеющимся от души.

— Ведь говорил же я, что он болен любовью,—сказал Асеведо.—Если встретишь бледного юношу, который больше молчит и ищет уединения, можно безошибочно сказать, что тут замешана юбка. И то правда,—прибавил он, улыбаясь,—что иной раз две-три проигранные партии в карты оставляют у тебя горечь во рту и делаю тебя более бледным и грустным, чем иные десять юбок; но это все же другое дело и длится не так долго. Что же касается Фьерамоски, то подобной опасности он не подвержен; я его еще не видел с картами в руках. Теперь я понимаю причину его ночных путешествий. Вы знаете, что мои окна выходят на набережную, и я не раз видел, как он под вечер один садится в лодку и, отплыв, катается себе за замком. «Добрый путь!—говаривал я, ложась спать,—у каждого свой вкус,—и я думал, что он ищет любовных приключений. Но мне никогда бы и не приснилось, что он пускается в море оплакивать кого-то, кто находится уже на том свете. Можно ли подумать, чтобы воин, как он, поддался такому безумию!

— Это доказывает,—с жаром подхватил Иннго,—что доброе и любящее сердце может быть и в груди человека, смелого перед лицом неприятеля, и, слава богу! в этом можно отдать справедливость Фьерамоске так же, как и всем итальянцам, которые служат под знаменем братьев Колонна. Никто, у кого при поясе меч и копьё в руке, не может похвастаться, чтобы носил их с большим правом, чем они, и был бы достойнее их.

Эта похвала, с жаром высказанная человеком простым и любящим правду, вызвала со стороны испанцев одобрительные жесты и замечания, так как они не могли отрицать доблести итальянских воинов, свидетелями которой они являлись ежедневно. Но иначе к этому отнеслись трое пленных, разгоряченные речами и вином, в особенности же Ламот, который, злясь на Иниго, все время за ужином задевавшим его, не мог при своей надменной натуре не считать всех нулями по сравнению с собою и своими товарищами. Поэтому на слова испанца он отвечал неестественным смехом и таким презрительным взглядом, что юноша весь вспыхнул от гнева и совсем вышел из себя, когда Ламот сказал:

— Что касается этого, господин рыцарь, то ни я, ни мои товарищи не разделяем вашего взгляда. Мы много лет уже воюем в Италии, и, как я уже вам сказал, нам больше приходилось видеть, как работают кинжалы и яд, чем копья и мечи; прошу вас верить этому. Французский воин, — продолжал он, чванно надувшись, — постыдился бы взять к себе в конюшенные мальчишки людей вроде этих плутов-итальянцев. Посудите же сами, придет ли кому в голову сравнивать их с нами?

— Послушайте, рыцарь, и хорошенько раскройте свои уши — отвечал Иниго, который больше не в состоянии был сдерживать себя, слыша, как Ламот унижает его друзей; к тому же он рад был возможности излить свою злобу на того, кто так изуродовал его любимую лошадь. — Если бы кто-нибудь из наших итальянцев присутствовал здесь, особенно Фьерамоска, а вы были бы

на свободе, а не пленниками Диего Гарсиа, то прежде чем вы пошли бы спать, вы успели бы удостовериться, что французскому воину может понадобиться пустить в ход обе руки, чтобы защитить свою шкуру против итальянца; но так как вы пленник, а здесь присутствуют одни испанцы, то я, будучи другом Фьерамоски и итальянцев, говорю вам от их имени вот что: вы и всякий другой, кто станет утверждать, что они с оружием в руках побоятся кого-нибудь, что они, как вы говорите, трусы и предатели,—тот нагло лжет, и они готовы доказать это всему свету, пешие или конные, в полном вооружении или с юдним мечом, где вы хотите, когда хотите и во всякое время, как только вам будет угодно.

Ламот и товарищи, которые с надменным видом начали слушать слова испанца, постепенно стали менять выражение лица: от гневного к удивленному и ждали конца его речи. И как случается иногда на военной сходке, когда посреди шума и смеха вдруг раздастся голос, произносящий слова из железа и крови, и все умолкает и, обратившись к говорящему, с напряжением ожидают развязки, так и теперь шум разговоров вдруг утих, и каждый испанец сидел, напряженно прислушиваясь, в ожидании, к чему приведет эта первая схватка.

— Да, мы пленники,—отвечал Ламот с гордым смирением,—и мы не можем принимать вызовов; но, с позволения воинов, которым мы отдали свои мечи и которые, само собой разумеется, получают от нас должный выкуп, я отвечаю от своего собственного имени и от имени моих товарищей и всего французского войска и повторяю то, что

уже один раз сказал и что буду говорить всегда, что итальянцы годны только на то, чтобы устранивать предательства, но не для войны, и что они самые жалкие воины из всех, кто когда-либо держался в стремених или надевал латы. И кто утверждает, что я лгу, тот лжет сам, и я это ему докажу с оружием в руках.

Потом, пошарив на груди, он снял с нее золотой крест и, поцеловав его, положил на стол.

— Пусть у меня не будет надежды на этот знак нашего спасения в последний час мой, и пусть меня назовут бесчестным рыцарем, недостойным носить золотые шпоры, если я и мои товарищи не ответим на вызов, сделанный мне вами от имени итальянцев. И с помощью бога, пресвятой владычицы богородицы и святого Дионисия, которые да помогут нам в нашем правом деле, мы покажем всему свету, какова разница между французскими воинами и этими проходимцами-итальянцами, которых вы защищаете.

— Да будет во имя божие, — отвечал Иниго.

Тут он тоже, расстегнув нагрудник, снял с шеи образ Монсерратской богородицы и, сделав им крестное знамение, положил его рядом с золотым крестом Ламота. И хотя он почувствовал себя словно униженным тем, что не мог по своей бедности представить залог битвы, равный по ценности залогу Ламота, все же, отбросив от себя этот стыд, он сказал открыто:

— Вот мой залог. Пусть Диего Гарсиа примет их оба во имя Гонсало, который не откажет в нейтральном поле ни нашим благородным друзьям, ни французским рыцарям, когда они придут сразиться с ними.

— Конечно, нет,—отвечал Гарсиа, принимая залогов вызова.—Гонсало никогда не откажет этим храбрым молодцам померяться мечами и исполнить долг настоящих рыцарей. Но вам, господин барон,—сказал он, обращаясь к Ламоту,—придется погрызть кость тверже, чем вы думаете.

— *C'est notre affaire*<sup>1</sup>,—отвечал француз, мотнув головой и улыбувшись.—Ни я, ни мои товарищи не сочтем ни за самый опасный, ни за самый блестящий подвиг в нашей жизни тот, которым мы сможем доказать этому храброму испанцу его заблуждение, сбросив с седла четырех итальянцев.

Диего Гарсиа, который только тогда чувствовал себя человеком, когда или находился в пылу битвы или говорил о бое, был вне себя от радости, узнав, что завязывается поединок, который, без сомнения, будет вестись с обеих сторон со всем ожесточением, какое только способна внушить национальная гордость. Подняв голову и возвышая голос, он, похлопывая руками, которые могли бы прийтись к плечам Самсона, воскликнул:

— Ваши слова, рыцари, достойны людей с честью и воинов таких, как вы, и я уверен, что дела ваши им не уступают. Да здравствуют храбрецы всех наций!—и, говоря это, он поднял бокал; его примеру последовали остальные, и все с большой радостью осушили по нескольку раз бокалы в честь будущих победителей. Когда шум немного утих, Инниго прибавил:

— Оскорбление, которое вы наносите итальянской храбрости, господин рыцарь, не таково,

---

<sup>1</sup> Это наше дело,

чтобы мои друзья итальянцы так легко отнеслись к нему и удовольствовались лишь тем, чтобы сломить свои копья, как будто бы дело шло о призе на турнире. Я сейчас не стану говорить о числе тех, кто примет участие в поединке: об этом условятся обе стороны; но кто бы ни участвовал в нем, я предлагаю вам и всем вашим битву в полном вооружении и до последней капли крови, пока или все будут убиты, или взяты в плен, или выбиты из строя. Принимаете вы эти условия?

— Принимаю.

Когда таким образом условия были выработаны и не оставалось больше ничего прибавить, то ввиду позднего часа и испытанных за день трудов всем захотелось отдохнуть. Вся компания с общего согласия поднялась из-за стола и, выйдя из трактира, начала понемногу расходиться. Французские бароны были приняты с почетом, получив комнаты у тех воинов, которые их захватили в плен. Мы считаем себя в праве утверждать, что, несмотря на все похвалы французам, имевшие целью показать, что они не ставят итальянцев ни во что, внутреннее чувство, а многим и опыт подсказывали, что для того, чтобы выйти с честью из этой истории, нужны прежде всего дела, а не слова. И даже Инниго, хотя и был более чем уверен в доблести своих друзей, которые во славу итальянского оружия готовы будут поспорить со всем светом, все же при мысли о том, что и противники были тоже на самом лучшем счету и слыли за выдающихся бойцов во всем французском войске, не мог не прийти в раздумье относительно конца, который ждет эту важную

затею. И надо сказать правду, Ламот и его товарищи были таковы, что могли постоять за себя против кого угодно. Их военные подвиги были известны всем воякам того времени, а во французских отрядах было множество и других не ниже их ни мужеством, ни искусством, и одного уже знаменитого Баяра, не говоря об остальных, было достаточно, чтобы прибавить на весы крупную тяжесть.

Несмотря на такие размышления, гордый испанец несколько не пожалел, что заступился за итальянцев, и считал, что он сделал бы большой промах, если бы допустил, чтобы дерзкий пленник позволил себе говорить такие оскорбительные вещи по поводу людей, которые этого не заслуживали и были его друзьями и к тому же сами не присутствовали при разговоре.

«Можно ли допустить,—говорил он сам себе,—чтобы был побежден тот, кто сражается за честь своего отечества?»

Одобрив себя такими рассуждениями, он решился на следующее утро поговорить обо всем этом с Фьерамоской и приложить все старание к тому, чтобы дело окончилось к чести тех, на сторону которых он встал. Полный таких благородных мыслей, он, почти не спав, стал ожидать часа, когда можно будет приняться за исполнение задуманного дела.



### ГЛАВА III

Барлеттский замок, занимаемый Гойсалто и несколькими начальниками его войска, находился между большой площадью и морем. В соседних домах расквартировались все испанские и итальянские начальники с их прислугою; в одном из лучших помещений поселились Простеро и Фабрицио Колонна с пышной свитой оруженосцев, прислужников и лошадей, как подобало людям, принадлежащим к столь знатному дому. Этторе Фьерамоска был любим ими больше всех других за множество достоинств, и они относились к



нему, как к сыну, устроив его в небольшом домике на набережной, прилегавшей к их жилищу. В этом доме было достаточно места, чтобы вместить и его самого и его слуг вместе с лошадьми и багажом. Самая верхняя комната, в которой он спал, была обращена окнами на восток.

Это было на другой день после описанного нами ужина. Едва стал вырисовываться на востоке при первом проблеске зари, отделяясь от неба, темный контур моря, как молодой Фьерамоска, оставив постель, где он всегда находил спокойный сон, вышел на террасу, в подножие которой ударялись волны, всколыхнутые свежим утренним ветерком.

Бедные обитатели севера! Вы не знаете, как прекрасна эта ранняя пора под роскошным полуденным небом на морском берегу, когда природа еще вся погружена в сон и когда безмолвие утра едва нарушается глухим говором волны, которая, как и мысль, никогда не знала отдыха со дня своего сотворения и не будет знать его до своего конца! Кто не бывал один в этот час, кто не ощущал на своем лице ветерка от последнего взмаха крыльев летучей мыши, когда уже начинает пригревать солнце на прекрасных берегах Неаполитанского королевства, тот не знает, каких пределов может достичь божественная красота природы!

У стены террасы возвышалась пальма. Усевшись на балюстраду и опершись плечами о ствол дерева, руками обхватив колено, наш юный воин наслаждался минутами тишины и чистым воздухом предутренней поры.

Природа наградила его драгоценным даром—

врожденным стремлением ко всему прекрасному, доброму и высокому. Его можно было упрекнуть лишь в единственном недостатке, — если только это можно назвать недостатком, — в избытке доброты. Но воспитанный с самых ранних лет среди оружия, он скоро узнал людей и свет. Его здравый рассудок подсказал ему, какие границы должно полагать и самой доброте, чтобы она не превращалась в слабость, и та суровость, которую часто приобретают люди, находящиеся среди постоянных опасностей, в таком сердце, как его, превратилась в подлинную твердость, в благородное и ценное достояние истинного мужа.

Отец Фьерамоски, калуанский дворянин из школы Браччо да Монтоне, состарившийся в войнах, раздиравших Италию в продолжение пятнадцатого столетия, не мог дать Этторе ничего, кроме меча, и три с ютроческих лет привык считать военное ремесло единственным достойным себя занятием; долгое время не мог он возвыситься мыслями над понятиями времени, в котором он жил и в котором сила оружия употреблялась только на то, чтобы увеличить свою известность и свои владения.

Но ум его зрел с годами, и в те короткие минуты, которые у него оставались от войны, вместо того чтобы тратить свободное время на охоту, ристалища и другие юношеские развлечения, он с любовью отдавался наукам и чтению книг. Так, ознакомившись с древними писателями и со славными подвигами людей, проливавших кровь за отечество, а не в пользу того, кто им лучше заплатит, он понял, каким злодейским делом была война, когда, по обычаю грабителей, она

велаась с единственной целью обогатиться отнятым у слабых добром, а не с благородным намерением защитить себя и своих соотечественников от нападений чужеземцев.

Еще в годы раннего отрочества он вынужден был последовать за своим отцом, которого важные дела призывали в Неаполь. Там при дворе Альфонсо он познакомился со знаменитым Понтано, который, пораженный умом ребенка и его прекрасным сложением, очень полюбил его и, приняв его в Академию, хотя и основанную Панормитой, но носящую название Понтанианской, с величайшим старанием занимался его обучением, в награду за что встретил со стороны юноши ту преданную любовь, которая проистекает из благодарности, соединенной с уважением.

Любовь ко всему, что касалось его отечества, и к славе Италии, пробужденная красноречивыми словами его наставника, не могла только теплиться в таком сердце, как его, и разгорелась в почти неистовую страсть. Так, однажды он дрался на мечах с одним французским дворянином, юношей, превосходившим его и летами и силой, за то, что тот дурно отозвался об итальянцах, ранил его и заставил признаться в своей ошибке в присутствии короля и придворных. Оставив Неаполь, Фьерамоска после разных приключений запутался в любовную интригу, намек на которую мы слышали уже из уст пленного француза.

Но когда Карл VIII разорил Италию и французское оружие держало ее то в цепях, то в страхе, любовь к родине еще более разгорелась в нем при виде того, как эти захватчики хотят быть полными хозяевами Италии. Он сгорал от

гнева, слышя о тех бесстыдных насилиях, которые они совершали при переходе через Ломбардию, Тоскану и другие итальянские земли. Когда распространилась молва о гордом ответе Пьеро Калпони королю и о том, что последнему пришлось уступить, Фьерамоска весь сиял от радости и превозносил до небес доблестного флорентийца.

Когда пала королевская династия в Неаполе, Фьерамоска решил стать на сторону Испании, чтобы как-нибудь противостать другой чрезмерно усиливавшейся власти, и потому еще, что ему казалось менее нестерпимым переносить гордость испанцев, чем пустое бахвальство французов. Кроме того неприятель, не имевший возможности притти иначе как морем, казался ему менее опасным, и он надеялся, что когда с помощью испанцев будут изгнаны французы, то установить в Италии порядок будет уже не так трудно.

Разливавшийся с востока свет утренней зари мало-по-малу гасил и гнал с неба последние звезды. Уже солнце осветило самые высокие выступы Гарганского хребта, окрасив их в розовый цвет, который в тенистых долинах горы переходил в фиолетовый; между тем берег, внизу, у основания горы, обгибавший залив в виде лунного серпа и соединявшийся с побережьем, на котором расположена была Барлетта, открывал взору, по мере того как распространялся день, живописную и пеструю картину, переплетававшихся между собою долин и холмов, спускавшихся вниз, чтобы окунуться в море. Густые каштановые рощи, которые на вершинах горы краснели, зажженные лучами солнца, постепенно редели на нижних отрогах ее, прерываемые то яркозелеными лугами, то

куском возделанного поля. Там в обвале горы белел обнажившийся известняк, тут крутой скат холма загорался то желтым, то красноватым цветом, смотря по природе почвы. Голубое море, казалось, было неподвижно и лишь всплескивалось у скал, охватывая их подножье полосой белоснежной пены.

В той части залива, которая наиболее глубоко вдается в землю, на островке, соединенном с материком длинным и узким мостом, возвышался среди пальм и кипарисов монастырь с небольшой церковкой и колокольной, огражденный балочками и зубчатыми стенами, которые служили первой защитой от нападений морских разбойников и сарацин.

На этот монастырь был устремлен пристальный взгляд Этторе, которому приходилось щуриться, так как туман, покрывающий в эту пору низменные места, едва позволял ему различать очертания здания. Напряженным ухом прислушивался он к слабому звуку колокола, возвещавшего утреннюю «Ave Maria», и был так поглощен этим, что не слышал голоса Иниго, который звал его со двора. Тот, не получив ответа, поднялся к нему наверх.

— После такого дня, как вчерашний,—сказал он, всходя на террасу,—я не рассчитывал, что ты подынешься раньше солнца.

Тот, у кого сердце когда-либо было полно одной мыслью, сильной и кипучей, легко поймет, как было досадно Фьерамоске, что его размышления были так некстати прерваны. Он повернулся к Иниго с выражением лица, которое не могло вполне скрыть его настроения, так что тот едва

ли не заметил, что пришел не во-время. Но Этторе был слишком полон справедливости и любви, чтобы упрекать своего друга за невольное нарушение его покоя. Избегая определенного ответа на заданный вопрос, он пошел к нему навстречу, пожал его руку и, наконец, совершенно овладевая собой, сказал ему приветливо:

— Какой добрый ветер принес тебя ко мне в эту пору?

— Превосходный ветер, и я тебе расскажу такую новость, что тебе придется угостить меня. Я с трудом мог дожидаться утра, чтобы сообщить тебе ее. Я всегда завидовал твоей доблести; сегодня мне приходится завидовать твоему счастью. Счастлив ты, мой Этторе! Небо готовит тебе такой славный подвиг, что, я уверен, ты заплатил бы за него самую высокую цену. И однако он достается тебе без издержек и без труда. Правду говорят, что ты родился в сорочке!

Фьерамоска повел своего друга в дом и, посадив его против себя, стал ждать, чтобы тот рассказал ему, что это за великое счастье. Тот коротко изложил ему все происшедшее накануне вечером, рассказал о том, как он вступился за итальянцев, и о предложенном поединке. Когда он дошел до передачи наглых слов Ламота, а он превосходно пересказал их, пылкий итальянец вскочил со своего места и ударил кулаком по столу, причем глаза его заблестали самой необузданной радостью.

— Нет,—закричал он,—наше падение еще не так велико, чтобы у нас нехватило рук и мечей, которые загнали бы обратно в глотку этого про-

ходимца-француза то, что в недобрый его час сорвалось с его уст! Бог да благословит твой язык, мой брат Иниго!!—И юн крепко обнял его.—Я век тебе буду обязан за защиту нашей чести, и пока жив и даже на смертном ложе буду считать себя твоим должником.

Ласкам с юдной стороны и обетам с другой не было конца. Когда первый пламень утих, Фьерамоска сказал:

— Сейчас нужно не говорить, а действовать.

Он позвал слугу, и пока тот помогал ему одеваться, стал перебирать товарищей, которых можно было бы выбрать для этого дела, составив дружину как можно многочисленнее.

— Много,—говорил он,—добрых ребят между нами. Но дело очень серьезное, надо выбрать наилучших. Бранкалеоне пусть будет первым. Нет такого французского воина, который мог бы сдвинуть его хоть на палец: пара могучих плеч—надежная его защита. Прибавь к нему Калоччо и Джовенале. Все трое—римляне, и я скажу тебе, что сами Горации владели мечами не лучше, чем юни. Итак, трое. Теперь дальше. Фанфулла из Лоди, этот сумасшедший сорванец, ты его знаешь?

Иниго приподнял голову, слегка насупив брови и сжав губы, как бывает, когда хотят что-нибудь припомнить.

— Ну, конечно, ты его знаешь. Тот ломбардец, телохранитель синьора Фабрицио... Тот, что на-днях галопировал на коне на стене бастиона у ворот Сан-Бакколо...

— Да, да!—отвечал Иниго.—Теперь я припоминаю.

— Прекрасно. Это четвертый. Этот-то, пока

У него будут руки, сумеет поработать ими. Пятым считай меня; с помощью божией я исполню свой долг. Мазуччо!!—закричал он, зовя своего слугу,—вчера у меня сломалась ручка щита; смотри, позаботься, чтобы ее исправили, да поскорее; затем, слушай: у большого меча и у пистолезского кинжала нужно выправить лезвия; затем... что-то я хотел тебе еще сказать?.. Ах, да! моя испанская сбруя в порядке?

Слуга утвердительно кивнул головой.

Суетливость Фьерамоски вызвала улыбку у Иниго:

— Ты еще успеешь привести себя в порядок,—сказал он,—битва не состоится еще ни сегодня, ни завтра.

Фьерамоска об этом и не думал; он горел уже лихорадочным нетерпением и не хотел бы опоздать на поединок. Поэтому, мало обращая внимания на слова испанца, он продолжал подыскивать других товарищей, так как пятерых ему казалось недостаточно. Он громко сказал:

— А как же мы забыли Романелло из Форли? Вот уже шесть. А Лодовико Бенаволи? Семь. Этих ты знаешь, Иниго; ты видел их в работе.

— Мазуччо, Мазуччо!

Слуга, который только что вышел, вмиг очутился перед ним опять.

— Моему боевому коню Айроне, которого мне подарил синьор Просперо, дай соломы и овса, сколько понадобится, и прежде чем наступит пора, проезди его рысцой с часок и посмотри, хорошо ли сидят у него подковы!

Отдавая эти распоряжения, он продолжал одеваться. Слуга подал ему плащ. Он надел оружие,



на голову шляпу с голубым пером и сказал Инниго:

— Я к твоим услугам. Прежде всего надобно поговорить с синьором Просперо, а потом обратиться к Консальво по поводу пропуска.

Они отправились в путь. Дорогой Фьерамоска продолжал называть имена то одного, то другого воина, которые могли бы пригодиться для их дела. Никого он не принимал сразу; он разбирал в подробности положения каждого, его силы, доблесть, его прошлую жизнь, для того чтобы в это важное дело допустить лишь людей вполне испытанных. Римлянина Бранкалеоне он ценил больше всех других, так как знал его за человека очень честного, с добрым сердцем и удивительной храбростью. Ему нравился его серьезный вид, чуждый безумной веселости других товарищей, и он испытывал к нему такое чувство дружбы, что не раз готов был открыть ему свою тайну с Джиневрой; но что-то его удерживало, может быть, отсутствие подходящего случая. Семья и предки Бранкалеоне были гибеллинами и всегда поддерживали в Риме партию Колонна. И теперь в отряде синьора Фабрицио он был начальником телохранителей и очень хорошо исполнял свои обязанности, а также и всякие другие военные повинности. Он был среднего роста, широкоплеч и широк в груди, несловохотлив и предан лишь своему делу. С настойчивостью и упорством исполнял он все, за что ни брался, имея в мыслях только одно—помогать партии Колонна и способствовать ее успехам. Все остальное по сравнению с этим казалось ему не имеющим никакого значения, и чтобы исполнить эту, а также

всякую другую обязанность, которая могла бы быть возложена на него, он позволил бы себя тысячу раз изрубить в куски.

Этторе и Иниго, идя к Колонна, должны были пройти мимо дома Бранкалеоне. Они застали его как раз у ворот, когда он отдавал распоряжения некоторым из своих всадников и, держа в руке меч с перевязью, обернутой вокруг рукоятки, делал указания слугам и конюшенным мальчишкам, стараясь расходовать при этом как можно меньше слов. Фьерамоска подозвал его к себе и рассказал ему о своем деле, и хотя он вложил очень много жара в свои слова, Бранкалеоне выслушал его совершенно спокойно и не меняя выражения лица. Он только коротко заметил, отправляясь вслед за ними в путь:

— Дело ясно и для слепого. Только четыре удара, как я умею, и тогда будет видно.

И в этой его самоуверенности не было бахвальства: ему не раз приходилось участвовать в поединках, и он всегда выходил из них с честью.



#### ГЛАВА IV

Оскорбительные слова Ламота и последовавший за ним вызов на поединок, свидетелем которого было более чем двадцать человек, не могли оставаться тайной, и теперь молва об этом распространилась по всему войску и по всему городу. Когда Инниго с двумя итальянцами пришли в дом Просперо Колонна, они убедились, что там не было других разговоров, как только об этом, и уже стал стекаться туда цвет итальянской молодежи; они приходили к нему, как к своему вождю, чтобы узнать, как им себя вести. Пришли

один за другим все те, которых назвал Фьерамоска, а также и многие другие; таким образом за короткое время собралось около пятидесяти человек. Сказано было много значительных слов, и в движениях и в выражении лица каждого можно было прочесть, как глубоко волнует его полученное оскорбление. Некоторые из испанцев, присутствовавших накануне вечером за ужином и замолвивших слово за своих друзей итальянцев, пришли сюда и, смешавшись с итальянцами, вставляли иногда свои замечания, вспоминая, что было сказано Иниго и пленниками, высказывая свое мнение, внося предложения, приводя примеры. Все это еще больше раздувало и без того уже ярко пылавшее пламя.

Собравшееся там общество находилось частью у ворот дома или было рассеяно по двору, частью расположилось в одном из зал нижнего этажа, где обыкновенно братья Колонна разбирали, когда случалась нужда, дела своих подчиненных или отдавали распоряжения, касавшиеся отряда. Там на стенах сверкали их богато украшенные золотом доспехи тончайшей резной работы, хорошо вычищенные и блестящие, как зеркало. Там же было знамя отряда, на котором была изображена шпилью колонна на красном фоне с девизом: «*Columna flesti nescio*<sup>1</sup>; то же изображение было и на щитах, которые вместе с другим оружием заполняли собой почти все стены. В глубине зала, на двух толстых деревянных лошадях находилось полное конское вооружение—седла, чепраки из отличного красного бархата, украшенные

---

<sup>1</sup> Я, колонна не умею гнүгся.

фамильным гербом, и богатые уздечки, сплошь расшитые золотом, достойные лошадей таких почтенных синьоров.

Шесть соколов в шапочках, привязанные к серебряной цепочке, сидели на жерди, укрепленной поперек окна и увешенной также грудой принадлежностей для охоты. Знать предавалась ей с увлечением, и она считалась любимой забавой синьоров и дворян.

Через несколько минут в дверях показался синьор Просперо Колонна, перед которым все с почтением расступились. Пройдя вперед и раскланиваясь с благородной важностью, он опустился в кресло с ручками, обтянутое красной кожей и стоявшее в переднем конце стола, находившегося посредине зала, где был его кабинет, и вежливо предложил всем сесть.

На нем был черный бархатный плащ, расшитый арабесками; на шее толстая золотая цепь, с которой свешивался на грудь золотой медальон тонкой резной работы. На поясе висел небольшой кинжал из черной кованой стали. В этой простой одежде его прекрасная внешность, бледноватое, немного смуглое лицо, высокий лоб, в котором отражались мужество и ум—все вместе внушало уважение, которое приобретает больше душевными качествами, чем случайными дарами судьбы и рождения. У него были густые брови, испанская бородка, взгляд тяжеловатый и испытующий. Все говорило, что это—синьор влиятельный и могущественный.

Настоящий случай казался ему и действительно был для него чрезвычайно важным, не только потому, что дело шло о чести итальянского

оружия, но и потому, что исход столкновения при существующих обстоятельствах, когда два сильных короля вели борьбу с переменным успехом, мог иметь серьезные последствия и для него самого, и для его дома, и для всей его партии. Победа на поединке, которая несомненно должна была наделать много шума, принесла бы большую славу и его людям и его знамени, так как и французские и испанские военачальники, кто бы из них ни остался победителем, стали бы тогда более осторожны, чтобы оскорбить его и больше стремиться сохранить с ним дружбу.

Всем известно также, какая ожесточенная шла борьба на римской земле между партиями Колонна и Орсини. Обе они были ослаблены насилиями и предательствами Александра VI и Цезаря Борджа и теперь могли надеяться вновь собраться с силами, полагаясь на свою доблесть или на счастливый случай; поэтому настоящий момент казался именно тем, когда нужно было схватить судьбу за волосы.

Проницательному полководцу был известен пылкий дух Фьерамоски, а также то, как сильны в нем были жажда славы и любовь к отечеству. Он видел, как часто его речи воспламеняли мужество его товарищей и стремление выказать себя итальянцами, и понимал, насколько он мог быть в настоящий момент полезен своим примером, разжигая в то же время еще сильнее своими речами тот благородный жар, который толкает человека на великие подвиги.

И Просперо начал свою речь с обращения к Этторе. Он сказал, что ему отчасти уже известно то, что случилось, но что ему теперь хочется

услышать об этом подробнее, чтобы немедленно принять какое-нибудь решение. Этторе изложил ему обстоятельства дела, восхваляя слова Инниго, сказанные им в защиту итальянского народа. Когда он окончил, синьор Просперо встал со своего места и обратился ко всем со следующими словами:

— Славные синьоры! Если бы вы были не вы, и если бы я, участвуя с вами в стольких сражениях, не узнал высокую доблесть вашу, я, может быть, счел бы нужным напомнить вам о том, как наши предки своими доблестными подвигами столь высоко вознесли славу своего отечества, что весь мир был ослеплен ею. Мрак и несчастья следующих десяти веков не могли загасить последних лучей ее могучего сияния. Я напомнил бы вам также, как те самые люди, которые пришли к нам из-за гор, чтобы ушить итальянской кровью и, не довольствуясь этим, сопровождают свои оскорбления еще насмешками, в те времена трепетали при одном имени римского народа. Я сказал бы вам, что их бесстыдная наглость дошла теперь до того, что, сорвав с главы Италии средствами, о которых ведает лишь господь бог, ее славную корону, делавшую ее царицей народов, купленную обильным потом и кровью, они не довольствуются этим, считая, что ими еще ничего не сделано, пока они видят в наших руках меч и на нашей груди латы. Они хотели бы еще отнять у нас всякую возможность сражаться и умирать за спасение нашей чести. И я указал бы вам: «Восстаньте! Пойдем, устремимся все вместе! бросимся на этих ненасытных разбойников, пренебрегающих всеми

правами!» И я вижу по вашим взорам, что слова мои давно были бы предупреждены мечами итальянскими... Однако... долг воначальника, — увь! тяжелый долг в таких серьезных обстоятельствах, — повелевает мне наложить узду на вашу доблесть; и я вынужден сказать вам, что не все вы сможете принять участие в битве, и придется уступить немногим мечам славу нашего опмщения. Великолепный Консальво, вынужденный с меньшими, чем у противников, силами отстаивать права католического короля, не согласится на то, чтобы кровь его воинов проливалась за какое-нибудь другое дело. Но для десяти бойцов, я надеюсь, мне удастся получить пропуск и разрешение на поединок. Поэтому, не теряя времени, я иду к нему и, как только получу что нужно, возвращусь сюда. А пока пусть каждый из вас напишет на листке бумаги свое имя; выбор же предоставим Консальво. Но прежде вы должны поклясться, что свято исполните его волю.

Речь Колонна сопровождалась одобрительным перешептыванием. Когда он окончил, все произнесли клятву. Имена были написаны и отданы синьору Просперо, который, встав, направился к двери, где двое его слуг уже держали приготовленного мула; он сел и в сопровождении только лишь этих слуг поехал в крепость.

Спустя полчаса, которые показались целым веком нетерпеливо поджидавшим его молодым воинам, Просперо возвратился и, сойдя с мула, вошел в зал. Все снова заняли свои места. Наступившее молчание и выражение глаз, которые все устремились на римского барона, показывали,



как велико было у всех нетерпение узнать результат выбора и как сильна была надежда каждого, что выбор окажется благоприятным для него.

— Великолепный Консальво, — сказал наконец синьор Просперо, вынимая из-за пазухи бумаги и кладя их на стол, — говорит, что он восхищен вашим благородным решением; он уверен, что для вашей доблести этот подвиг будет нетруден; он дает свободный пропуск и разрешение на поединок десяти воинам. Немалого труда мне стоило уговорить его принять это число: только серьезность нашего дела заставила его уступить. — Тут, развернув лист, заключающий имена избранных, он прочел следующее:

— Этторе Фьерамоска.

Услышав, что он назван первым, Фьерамоска радостно сжал руку сидевшего с ним рядом Бранкалеоне, между тем как глаза всех обратились к нему с выражением, в котором можно было прочесть, что никто не считал себя в праве оспаривать у него первое место.

— Романелло из Форли; Этторе Джовенале, римлянин; Марко Карелларио, неаполитанец; Гульельмо Альбамонте, сицилиец; Мигале из Тройи; Риччо из Пармы; Франческо Саламоне, сицилиец; Бранкалеоне, римлянин; Фанфулла из Лоди.

Если бы здесь присутствовал кто-нибудь посторонний, то, не зная никого в лицо, он легко мог бы определить по довольному виду каждого, кого судьба назначала на этот благородный подвиг. Лицо Фьерамоски, всегда бледное, окрасилось ярким румянцем, и когда он начал говорить со своими товарищами, его темные усы дрожали,



PROSPERO COLONNA

Просперо Колонна

*С гравюры неизвестного мастера XVI века*



показывая сильное внутреннее волнение. Самые дорогие его мечты нашли наконец случай осуществиться в достойных их делах. «Наконец-то, — говорил он сам себе, — итальянская кровь сможет пролиться в деле лучшем, чем постоянная защита интересов чужеземных насильников». Если бы кто-нибудь сказал ему теперь: «Твои победят, но ты сам погибнешь», — он счел бы себя тысячу раз счастливым. Но у него была надежда, почти уверенность, что он победит и воспользуется победой. Он думал уже о том, каково будет после этого его возвращение, полное славы, ликования, веселья (как редко оправдывается то, что человек предвидит!). Он мечтал о похвалах, о вечной славе, которые достанутся Италии и его имени, о том, как самые дорогие ему люди будут гордиться им. Тут одна мысль, вышедшая из глубины сердца, как облако, пронеслась в его мозгу, на мгновение омрачив ту радость, которая сызла на его лице. Может быть, испытанные им раньше несчастья уязвили его сердце острым жалом горестных воспоминаний. Но это продолжалось лишь одно мгновение. И мог ли он тогда иметь другие заботы, большие, чем забота о предстоящем сражении?

Просперо Колонна был избран Гонсало распорядителем битвы, что возлагало на него обязанность послать противникам вызов, снарядить своих воинов, позаботиться о том, чтобы у них не было ни в чем недостатка, так как от этого могла зависеть победа, наконец, строго наблюдать за тем, чтобы с обеих сторон бой был веден согласно чести и добрым правилам.

Прежде всего стоит говорить о дне и месте

поединка. Были первые дни месяца; решено было драться во второй половине его, чтобы было достаточно времени для подготовки. Что касается места, то решили послать опытных людей, чтобы подобрать самое подходящее.

После этого был составлен вызов, который был написан по-французски и вручен Фьерамоске и Бранкалеоне с тем, чтобы они в тот же день отвезли его в неприятельский лагерь. Устроив таким образом все дела, синьор Просперо обратился к десяти избранным со следующей речью:

— Наша честь, рыцари, находится на лезвие ваших мечей, и она не могла выбрать себе более достойного и надежного места. Но потому-то именно вы должны поклясться, что с нынешнего дня и до дня битвы вы не будете связывать себя никаким другим делом, чтобы не получить случайной раны или создать себе препятствие, которое помешало бы вам в этот день сесть на коня. Вы хорошо понимаете, каким бы это было позором для нашей стороны.

Всем показалась очень разумной такая предусмотрительность, никто не отказался дать требуемую клятву.

Между тем большая часть тех, которые к своему огорчению видели, что им больше нечего тут делать, стали расходиться один за другим. Остались лишь десять избранных. Но и они, после того как был вручен Фьерамоске вызов, удалились из зала. Он и Бранкалеоне отправились домой, чтобы поскорее сесть на коней и отправиться во французский лагерь.

Оба наскоро надели кольчуги и железные шлемы и, взяв трубача, выехали через ворота

Сан-Баколо, ближайших к неприятельскому лагерю. Поднялась решетка, мост опустили, и они очутились в пригороде, оставленном обитателями в тревожные дни, наполовину разрушенном и сожженном разнузданными солдатскими бандами той и другой стороны. Отсюда дорога шла через сады, затем выходила в открытое поле, и до лагеря приходилось ехать несколько часов. Проезжая пригород, Этторе встретил несколько бедных женщин, едва прикрытых лохмотьями; они вели за руки или несли детей, изнемогавших от голода, и юбходили опустелые дома, ища, не уцелело ли чего-нибудь от ненасытной жадности разграбивших их солдат. Сердце молодого человека обливалось кровью при этом зрелище. Не будучи в состоянии ни помочь им, ни выносить их взгляды, он, прищипорив коня, пустился рысью, пока не выехал на открытое место.

Необычная радость, оживившая его при мысли о предстоящей битве, от этого как будто незначительного случая превратилась в столь же сильную печаль. В нем снова проснулись с еще большей силой мысли о бедствиях Италии и возмущение против французов, виновников их. Он не мог скрыть от ехавшего рядом Браггалоне печаль, которую вызвали в нем бедствия этих несчастных женщин, и этот человек, в глубине души добрый и сострадательный, хотя и казавшийся грубым оттого, что всегда находился среди опасностей и кровопролития, сочувствовал ему и болел душой вместе с ним об их бедствиях.

Прочитав в его лице его чувства, Фьерамоска сказал ему, покачивая головой:

— Вот какие прекрасные подарки получаем мы

от французов! Вот то благосостояние, которое они нам приносят!.. О, если бы когда-нибудь мне удалось увидеть это племя по ту сторону Альп!..

Он хотел сказать: «Мы должны постараться избавиться также и от испанцев», но вспомнил, что находится у них на службе, и, оборвав фразу, заключил ее вздохом.

Бранкалеоне больше думал о партии Колонна, чем о благе своего отечества, и потому не мог полностью разделять чувства своего друга. Все же, участвуя, хотя и по-своему, в его настроении, он отвечал:

— Если бы нам удалось разбить их армию, то, может быть, не прошло бы много времени, и мы отвели бы вина синьора Вирджинио Орсини. Да и погреба замка Браччано увидели бы хоть один раз в жизни, как выглядят христианские лица. И Палестрина, Мариньо и Вальмонтонна не видели бы более на своих полях этих бездельников, и их не испугивал бы каждый раз этот проклятый возглас: «Орсо! Орсо!» Однако... не каждую субботу платят.

Из этого ответа Этторе понял, что если Бранкалеоне и разделял с ним его желания, то, с другой стороны, был очень далек от того, чтобы полностью сходить с ним и в побуждениях, и потому он замолчал. Долго ехали они молча, и никто из них не прерывал молчания.

Трубач был впереди на расстоянии почти стрелы.

Читатель, вероятно, не забыл намеков французского пленника по поводу любви Фьерамоски. Товарищи его, слышавшие об этом в первый раз, огорчены были его горестями, как из дружбы

к нему, так и потому, что в компании молодых людей не терпят таких, которые портят общее настроение. И когда утром этого дня в доме синьора Просперо толковали о поединке, то и история Фьерамоски передавалась потихоньку из уст в уста. Об этом услышал и Бранкалеоне. И хотя он очень мало интересовался всем, что не касалось его самого, однако, проехав некоторое время в молчании и видя, как его товарищ удручен горем, он почувствовал к нему жалость и решил, поборов свою природу, попытаться вырвать у него его тайну. Стараясь в своих словах показать дружеское участие, он стал просить Фьерамоску рассказать ему о причинах его великой грусти и так умело повел разговор, что добился своего. Фьерамоска, с своей стороны, знал, что может довериться ему, да и обстоятельства, в которых он находился, развязывали ему язык, так как сердце, волнуемое сильной страстью, легко отдает свою тайну. Взглянув в лицо товарища, он сказал:

— Бранкалеоне, ты спрашиваешь меня о том, чего я не открывал еще ни одной живой душе; я не стал бы рассказывать этого и тебе (не сердись на меня за это), если бы не думал, что могу пасть в битве... и тогда... что станется тогда с... Да, да, ты мой верный друг, ты благородный человек, ты должен все знать. Не сердись, если мой рассказ будет продолжителен, так как я не смогу в кратких словах рассказать тебе о столь странных происшествиях.

Бранкалеоне взглядом показал ему, как ему будет приятно слушать, и Фьерамоска, вздохнув, решился и начал:



— Когда появились первые слухи о том, что христианнейший король готовится к войне и грозит притти и завоевать Неаполь, я в это время, как тебе известно, был на службе у Моро. Я был тогда еще мальчиком шестнадцати лет. Я взял отставку, считая своим долгом пожертвовать жизнью для защиты Аррагонской династии, столько лет правившей нами. Я приехал в Калюю. Там шел набор, и я поступил под начальство Бозио ди Монреале, который командовал гарнизоном, и получил назначение в крепость. Укрепления были в полной готовности, дела было немного, и мы весело проводили время. По вечерам собирались в доме графа, который, будучи давним другом моего отца, относился ко мне, как к сыну. Еще прежде чем поступить к герцогу Миланскому, я часто посещал его дом. Там я познакомился с одной из его дочерей, и мы, будучи еще детьми и не задаваясь мыслью о будущем, полюбили друг друга чудной любовью. В тот день, когда я собрался ехать в Ломбардию, слезам и проводам не было конца. Помню, я ехал в этот день на испанском коне, лучшем коне на свете, и в последний раз проезжая мимо ее окон,—ее звали Джиневрою,—я красиво сдержал коня и послал ей прощальный привет рукою. Она тайком от отца и от всех, так как уже брезжило утро, бросила мне голубой шарф, с которым с тех пор я никогда не расставался.

Но все это было ребячеством. За год моего отсутствия эта первая любовь во мне понемногу остыла. Вернувшись, я снова увидел Джиневру; она выросла и сделалась первой красавицей во

всем королевстве; она была прекрасно воспитана и пела под лютню так, что лучшего пения я никогда и не желал бы слушать. Когда я увидел, чем она стала, мной снова овладела любовь, но в сто раз более сильная; такой сумасшедшей любви еще не видано было на свете. Она тоже вспомнила о прежних временах, видела, что я пользуюсь всеобщим уважением и уже приобрел имя в войске, и хотя из скромности не хотела показать этого, но я хорошо приметил, что ей прятно было слушать, когда я рассказывал о городах Ломбардии, о войнах, какие я видел, о тамошних дворах и обычаях. Если ей нравилось меня слушать, то мне еще больше доставляло удовольствия занимать ее. Так постепенно дело дошло до того, что мы не могли больше жить друг без друга.

Я, отчасти замечая, к чему идет дело, часто думал о том, сколько бедствий нас ждет еще впереди. Война вот-вот должна была начаться; поре тому, кто в такое время оказывается связанным цепями любви! И если я вначале всячески старался быть вместе с нею, то теперь, думая о том, что было бы для нас лучше, и поняв, что наша любовь далеко уж не шутка, я нашел в себе достаточно силы, чтобы не показывать ее и вырвать ее из своего сердца. Так продолжалось некоторое время. Но внутренняя борьба не только не уменьшила моей любви, а придала ей еще больше силы. И в то время как я хотел внешними средствами укротить ее, она изнутри подтачивала меня и чуть не привела к печальному концу. Я сделался мрачным, по ночам не мог спать от переносимых страданий и, все время

поглощенный одной мыслью о ней, чувствовал, как горячие слезы текут у меня по щекам, скапываясь на подушку, и сам себя не понимал.

Так прошло несколько недель, и я дошел до такого состояния, что необходимо было на что-нибудь решиться. Ты верно догадываешься, что я предпринял. Однажды, около пяти часов вечера я застал Джиневру одну в саду и—так угодно было судьбе—сказал ей, как я горячо люблю ее; она покраснела, не сказала мне ни слова и ушла, оставив меня удрученным и более подавленным, чем когда-либо. С этого времени она, казалось, избегала меня и почти никогда при других не говорила со мною; поэтому я, отчаявшийся и не в состоянии выносить этой безграничной любви, решил совершенно удалиться и искать смерти там, где тогда уже шла война. В это время как раз проходил отряд герцога Сан-Никандро, шедшего в Рим на соединение с герцогом Калабрийским. Я решил отправиться вместе с ними. Не сказав Джиневре ничего о своих намерениях, я однажды решил снова повторить свою попытку, но девушка осталась такой же непреклонной, как была. Это показало мне, что ее любовь была лишь мечтой моего воображения. Решившись окончательно (это было вечером, и отряд герцога ночевал в этот день в Калуге, собираясь на утро выступить в поход), я привел в порядок все мои дела, с тем чтобы к утру быть на коне. По обыкновению, я вечером пошел к ютцу Джиневры; нас было только трое, мы сидели за игральным столиком и играли в триктрак. Воспользовавшись удобным случаем, я сказал графу, что решил выехать на следующее

утро, что мне наскучила праздность, и я хочу итти сражаться, поэтому прошу дать мне отпуск. Граф похвалил мое намерение, а я, еще не совсем потеряв надежды, искоса поглядывал на Джиневру, стараясь увидеть выражение ее лица. Подумай, что со мной сделалось, когда я заметил, что она переменялась в лице и у нее покраснели веки. Она украдкой бросила на меня взгляд, который мне многое сказал. Я уже думал, не переменить ли мне свое решение, но, обсудив все, сообразил, что мне нельзя уже выбраться из этого дела с честью. И вот, в то время как я мог быть самым довольным и счастливым человеком в мире, мне приходилось отправляться в этот проклятый поход. Отсюда и начались все мои несчастия. О, если бы в тот момент, когда я вкладывал ногу в стремя, богу угодно было поразить меня смертью! Это было бы всего лучше и для нее и для меня.

Я отправился в Рим, не переставая проклинать свою судьбу, и прибыл туда в ту минуту, когда с одной стороны туда вступал король Карл, а с другой—поспешно отступали наши. При этом произошла небольшая стычка; я, слишком далеко заскакав вперед, наткнулся на каких-то швейцарцев и, получив две раны в голову, остался на поле битвы, сочтенный за мертвого. Я долго не мог поправиться после этого.

Я был ранен близ Веллетри. Меня принесли в город. Пока меня лечили,—а это продолжалось два месяца,—я ничего не слыхал ни о Джиневре, ни об ее отце, и только изредка доходили до меня печальные вести о Неаполе, всегда сильно преувеличенные в пересказе дворовых людей, и

с такой примесью всяких небылиц, что мне невозможно было добраться до истины.

Однако в конце концов ко мне вернулись прежние силы, и, желая выйти из этого тяжелого положения, я однажды утром сел на коня и отправился в Рим. Там в то время была ужасная смута. Папа Александр, который при переходе корбля Карла не проявил к нему слишком большой дружбы, видя теперь, что дела Неаполитанского королевства совсем плохи и уже поговаривают о союзе Муро с венецианцами, понял, что необходимо соглашение с французами и, полный величайшего смирения, вооружался и укреплял Рим и крепость. Тотчас по приезде я отправился засвидетельствовать свое почтение монсеньору Капече; он очень обласкал меня и настоял, чтобы я из гостиницы переехал к нему.

Между тем смута в Риме усиливалась. Ожидая со дня на день французский авангард, составленный из швейцарцев, все очень боялись, и каждый думал лишь о своих делах.

Наконец армия появилась. Папа с Валентино бежали в Орвието. Французские солдаты частью расположились в городе, частью вне его на Лугах; они так хорошо обращались с горожанами, что мало-по-малу все успокоились. Через несколько дней король двинулся в Тоскану; однако через Рим все еще проходили его отряды, которые нарочно шли порознь, чтобы меньше испытывать затруднений в съестных припасах. Страх теперь уже прошел совершенно, и каждый возвратился к своим обычным занятиям. Беспреданно мучимый мыслью о Джиневре, я, как только мог это сделать без ущерба для своей чести, про-

стился с монсеньором Калече и поспешил домой, чтобы узнать о ней всю правду, так как за это время мне не случалось говорить ни с кем, кто бы имел о ней какие-либо сведения.

Однажды рано утром я пустился в путь, предполагая в этот день доехать до Читерны. От Юлиевой улицы, где жил монсеньор, я повернул на площадь Фарнезе, направляя путь к Воротам святого Иоанна. Возле Колизея мне повстречалось несколько французов с багажом, и когда я приблизился к ним, я увидел, что они несут носилки, на которых лежит в тяжелом состоянии какой-то из их военачальников; повязка, которой был обернут его лоб, заставляла предполагать, что он был ранен в голову. Поворотив коня, я приостановился немного, чтобы посмотреть на раненого, но в этот момент раздался пронзительный крик, заставивший меня вздрогнуть. Обернувшись на этот крик, я увидел Джиневру верхом; она ехала с другой стороны в той же процессии. Боже мой, как она переменилась! Было чудом, что я не свалился на землю. Сердце мое готово было разорваться под латами. Однако, раздумывая о том, что бы это могло быть, я сделал вид, что продолжаю свой путь; на самом же деле, поворотив коня и не теряя из виду процессии, я с самыми мрачными чувствами следовал за этими людьми до самого их жилища.

Ты, конечно, понимаешь, что я не посмел явиться к монсеньору, который должен был думать, что я нахожусь уже далеко, за много миль. Еще меньше я мог решиться явиться к Джиневре, боясь, что если я буду говорить с ней, то услышу от нее вещи, которых я ни за что

не пере́несу. Однако, как ни хотелось мне узнать, что произошло, я никак не мог решиться на что-нибудь. А лошадь, которая стремилась вернуться в конюшню монсеньора, принесла меня к лавке некоего Франчотто, прозванного Барочником, так как он брал товар в Остии и перевозил его на Большой берег. Он был моим большим приятелем; поэтому, почувтившись по соседству от него, я слез с коня и, отведя в сторону Франчотто, сказал ему, что по некоторым обстоятельствам я уехал от монсеньора и мне нужно скрываться от него. Он предложил мне один из своих домиков в природе и тотчас проводил меня туда. Я решился рассказать ему, что только что увидел одну девушку, семья которой мне знакома, в компании каких-то французов и я очень хотел бы узнать, как она туда попала, чтобы в случае нужды помочь ей. Показав ему место, где она должна была сойти с коня, я просил его, чтобы он постарался завязать разговор с кем-нибудь из слуг и устроить так, чтобы я мог принять в нем участие, и таким образом, не открывая себя, осуществить свое желание. Он был человек оченьмышленный и прекрасно исполнил мое поручение. Около полуночи он пришел за мной и повел меня в одну харчевню, где мы нашли его парня, который успел уже подцепить одного из оруженосцев того французского барона и, напоив его, заставил его пуститься в рассказы; мы пришли туда как раз во-время.

Франчотто заставил его в нескольких словах рассказать то, чего я никогда не хотел бы знать. Он рассказал нам относительно нашей дамы, что, когда они подошли к Капуе, крепость оказала

им очень сильное сопротивление; но они взяли ее приступом и разгромили чуть не весь город; его хозяин, Клавдио Грайано д'Асти (так, по его словам, его звали) ворвался с солдатами в дом графа Монреале, который был ранен во время штурма и отнесен туда, не в состоянии более защищаться. Грайано вошел в комнату, где тот лежал, и дочь его, бросившись перед ним на колени, просила его пощадить отца и ее. Грайано отнесся к ее просьбе очень сурово, и можно было ждать худшего. Тогда граф, приподнявшись на ложе, насколько позволяли ему силы, сказал: «Возьмите себе все, что у меня есть, возьмите себе в жены и мою дочь, но только защитите от солдат ее честь». Джиневра, трепеща за жизнь своего отца и за свою собственную, не могла противиться. Через два дня после этого граф умер.

Я кусал себе руки, думая о том, что если бы я был там, то, может быть, она не попала бы в руки этого негодяя; но помочь было невозможно. Я ушел и всю ночь бродил по улицам, как безумный; несколько раз я готов был убить себя. Если я все же удержался от этого, то это было поистине чудом. Сердце мое так болело, страдания мои были так велики, что словами невозможно передать и тысячной части того, что я испытывал; грудь у меня стеснялась до того, что дыхание останавливалось, и всякую минуту мне казалось, что я задыхаюсь. Не в состоянии более переносить такой жизни, полной мучений и страданий, я придумывал самые дикие планы и принимал самые безумные решения. То я задумывал убить мужа, то найти смерть каким-нибудь необыкновенным образом, чтобы показать Джиневре, что



был доведен до этого шага любовью к ней. И утешал себя мыслью о том, как она огорчится этим. Переходя от юдного плана к другому, я чуть с ума не сошел. Так продолжалось несколько дней. Однажды вечером я решился испытать счастье. Завернувшись в плащ, прикрыв лицо и надвинув на лоб до самых глаз капюшон, я пришел к ее двери и постучался. У окна появилась служанка и спросила меня, кого мне нужно.

«Скажите госпоже, — отвечал я, — что с ней хочет говорить один приезжий из Неаполя, который привез ей весть от родных». Меня впустили и оставили в небольшой комнате внизу, тускло освещаемой одной светильней. То мне казалось, что я нахожусь у врат рая, то, что я низвержен куда-то ниже преисподней; контраст между этими двумя ощущениями был так велик, что я почувствовал, как у меня подгибаются колени, и мне пришлось опуститься на стул. Я ждал несколько минут, но они мне показались тысячей лет. Когда я услышал на лестнице шум шагов и шелест платья Джиневры, то силы на самом деле чуть не покинули меня. Она вошла и остановилась в некотором отдалении, рассматривая меня; а я — поверишь ли мне? — не мог ни говорить, ни двигаться, ни произнести даже звука. Узнав меня, она вскрикнула и упала, лишившись чувств; но я подхватил ее на руки и, расшнуровав ей платье, старался оказать ей помощь. Очень встревоженный ее положением и боясь, что меня могут здесь застать, я брызгал ей в лицо водою из находившегося недалеко фонтана. Но горячие слезы, лившиеся у меня из глаз и орошавшие ее лицо, оказались более действительными и вернули

ее к жизни. Я не мог удержаться и, схватив ее руку, прижал ее к губам с такой страстью, что мне показалось, что душа моя сейчас вылетит из тела. Так пробыли мы несколько минут; наконец, трепеща всем телом, она оторвалась от меня и голосом, который я с трудом мог слышать, сказала: «Этторе, если бы ты знал мои несчастья!..»

«Знаю,—отвечал я,—слишком хорошо их знаю, и не требую, не желаю ничего, как только умереть подле тебя, а пока жив, иногда встречаться с тобою».

В этот момент послышался в верхнем этаже шум; мороз пробежал у меня по коже при мысли о том, что меня могут застать здесь и страдания ее тогда еще больше увеличатся. Я простился с ней больше знаками, чем словами, и поспешил поскорее уйти, несколько утешенный и успокоенный.

Между тем рана ее мужа не излечивалась, и его ежедневно навещало много французов из дворян и высшего духовенства. Хотя на прекрасном лице Джиневры отражались мучившие ее душевные страдания, однако красота ее и какая-то ее особенная томная бледность были одушевлены такой страстью, что невозможно было, увидев, не влюбиться в нее. Ее молодость, манеры и ангельские черты ее лица с каждым днем все более увеличивали восхищение этих синьоров, и они не переставали повсюду превозносить и расхваливать ее, пока, наконец, слава о ней не дошла до слуха Валентино. Тогда в Риме много было о нем толков. Еще не прошло месяца с тех пор, как герцог Гандиа, его брат, был убит ночью на улице,

и в этой смерти обвиняли и его. После этого происшествия он, сложив с себя пурпур, всецело отдался военному делу, и о нем рассказывали такие вещи, что трудно было поверить. Я уже в то время сильно подозревал, не ухаживает ли он за Джиневрой; мне, к несчастью, приходилось слышать об этом много двусмысленных слов в народе, но я ничего не мог предпринять из уважения к ней и сдерживал в себе свое бешенство, чтобы не сделать чего-нибудь, что могло бы открыть положение, в котором я находился.

Между тем мне удавалось под тем или иным предлогом бывать у нее в доме и я сблизился с тем человеком, который был ее мужем. И хотя встречи с ним невыразимо волновали меня, но я охотно переносил это и готов был бы вытерпеть все, лишь бы только иметь возможность иногда видеть ту, с которой, с тех пор как ее оставил, я ни разу не говорил о любви, будучи уверен, что это была бы напрасная трата слов, так как я слишком хорошо знал ее.

Этот Грайано д'Асти был одним из тех людей, которые встречаются десятками: ни хорош собой, ни дурен, ни добр, ни зол; очень хороший солдат, надо правду сказать, но готовый служить и турку, если бы тот ему больше заплатил. Имущество Джиневры делало его очень богатым, и он расценивал свою жену так, как ценят имение, по его доходу, а не по чему-либо иному.

Прошло несколько недель. Каждый вечер я мог видеть Джиневру, так как муж не имел ко мне никакого подозрения; мучимый своею раной, которая очень медленно заживала, и мало смысла

в вопросах любви, он был занят совершенно другими мыслями. Таким образом я встречался с нею чаще прежнего.

Между тем Валентино, желая собрать дружину, чтобы идти на Романью, подумал о Грайано д'Асти, который уже скоро снова был в состоянии сесть на коня. Я знал о предпринятых Валентино шагах и о том, что они сразу поладили. Было решено, что Грайано поведет двадцать пять копьеносцев, и мужу Джиневры казалось, что он заключил очень выгодные условия.

Однажды вечером герцог явился в дом Грайано, чтобы написать соглашение. Приготовлен был небольшой ужин, на котором присутствовали кое-кто из французских прелатов и несколько копьеносцев, бывших тогда без службы и рассчитывавших пристать к нему, так как он тогда принимал всякого.

Я было тоже подумал о том, чтобы предложить свои услуги, желая разделить судьбу Джиневры, которая была связана с судьбой Грайано. Но я не сумею объяснить тебе, почему я ничего не предпринял, и даже не был у них в этот вечер. Я пошел бродить—а уже наступила ночь—по самым пустынным местам Рима, терзаясь все время тысячами подозрений и не будучи в состоянии избавиться от некоторых мыслей, самых диких, какие мне когда-либо приходили в голову. Уже несколько дней я замечал, что Джиневра особенно расстроена, и мне казалось, что на лице ее вспыхивает иногда какая-то тайна, которую она старается скрыть в глубине своего сердца. Прошла, однако, и эта ночь, один бог знает, в каком безумном мучении. Слушай же дальше и скажи,

не должны ли мы иногда прислушиваться к голосу сердца.

На следующий день я пошел к ней около одиннадцати часов ночи. Приблизившись к двери, я услышал в доме странный шопот. Из дома вышел монах монастыря Арачели с образом младенца Иисуса; впереди монаха несли факел. Я вбежал в дом... холодный пот катился с меня!.. Вдруг слышу от служанки: мадонна умирает.

Накануне вечером после ужина ей сделалось дурно, но никто не подумал, что у нее что-нибудь серьезное. Ее положили в постель, покрыли теплыми одеялами, и она успокоилась. Так ее оставили до утра. Солнце было уже высоко, но у нее в комнате ничего не было слышно. Приходил некий Якопо ди Монтебуоно, который занимался врачеванием, и нашел ее почти остывшей. Этот негодяй, вместо того чтобы испытывать все средства, ограничился лишь несколькими замечаниями и сказал, чтобы ее не беспокоили. Когда он затем вечером вернулся, он сильно перепугался и, крича, что она умирает, велел послать за священником. Не находя средства ни помочь ей, ни справиться с ее необъяснимой болезнью, несчастное семейство вскоре после «Ave Maria» должно было услышать из уст самого врача, что Джиневра скончалась.

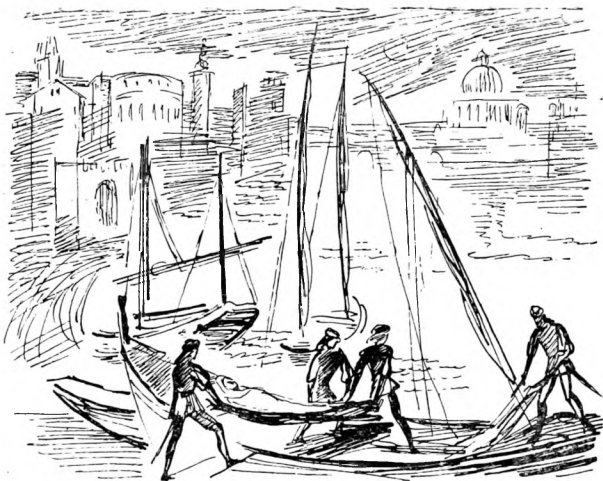
В этот момент показался уже французский лагерь, и Этторе пришлось прервать свой рассказ. Трубач вышел вперед и затрубил. Навстречу ему выехал солдат на коне и спросил его, что ему нужно.

Узнав о причине их приезда, он сообщил об этом начальнику охраны. Тот, увидев письмо Гон-

сало к герцогу Немурскому, начальнику французской армии, предложил Бранкалеоне и Фьерамоске подождать, пока он пошлет письмо герцогу и получит для них разрешение на свободный въезд в лагерь.

Тем временем он предложил им войти в барак, где помещалась стража ворот; но двое друзей, узнав, что комната начальника находилась далеко, решили подождать тут, пока посланный вернется с ответом.

Недалеко от этого места росла группа дубов. Густая свежая трава, защищенная от солнца их тенью, представляла в знойные полуденные часы прекрасное место для отдыха. Туда и направили свои шаги наши два воина и, привязав к деревьям коней, сняли шлемы и уселись рядом, прислонившись спиной к стволам деревьев. Легкий ветерок с моря обвевал свежим дуновением их лица, и когда один из них с новым одушевлением начал свой рассказ, другой с еще большей охотой стал слушать его.



## ГЛАВА V

И Фьерамоска продолжал рассказ:

— Лишившись Джиневры, я потерял все на свете. Когда я вышел из ее дома, глаза мои блуждали, и в них не было слез; куда я шел и что было со мною в эти первые минуты, я едва ли мог бы рассказать, если бы это не обнаружилось потом из того, что впоследствии произошло. Я шел, как оглушенный, или, как случается иногда, ты это хорошо знаешь, когда тебе вдруг сразмаху обеими руками дадут по шлему окованной железом палицей и у тебя сперва зашумит

в ушах, а потом все завертится в глазах. Так, почти не понимая, что со мной случилось, перешел я мост (дом Джиневры находился близ Торре ди Нона) и через пригород пришел на Площадь святого Петра.

Мой заботливый Франчотто, зная отчасти о моем несчастье, пошел разыскивать меня и нашел меня у одной колонны, лежащим на земле. Как я попал туда, я сам не знаю. Я почувствовал, как две руки взяли меня сзади под плечи, приподняли и посадили. Тогда я опомнился и увидел Франчотто подле себя. Он начал ласковыми словами утешать меня, и я мало-по-малу пришел в себя. Он помог мне встать, с большим трудом отвел меня домой и, раздев и уложив в постель, сел у моего изголовья, оставаясь там и не надоедая мне ни разговорами, ни утешениями, которые в тот момент были бы очень некстати.

Так мы провели эту ночь, не раскрывая рта. У меня началась сильная лихорадка, от которой по временам я приходил в беспамятство. От больного воображения чудилось мне иногда, будто какое-то огромное существо, все покрытое оружием, сидит у меня на груди, и я чувствовал тогда, что у меня захватывает дыхание.

Наконец давившее мне грудь горе нашло облегчение в слезах. В крепости пробило уже десять часов, и через щель ставни стал проникать первый луч света утренней зари. В головах у меня висели на стене меч и другое оружие. Я поднял глаза и увидел голубую перевязь, которую несколько лет тому назад мне подарила Джиневра. Это зрелище сразу, словно спуском курка, открыло путь слезам, которые полились ручьями и,



облегчив мне грудь, спасли мою жизнь. Проплакав безостановочно не менее часа, я почувствовал себя возродившимся и мог теперь и слушать и говорить. С помощью доброго Франчотто я провел так весь день и к вечеру уже хотел подняться с постели.

По мере того как я приходил в себя, я стал обдумывать, что мне предпринять в этом несчастье. Переходя от одной мысли к другой, совершенно уже не надеясь, что я смогу продолжать жить, и раздумывая, какой невыносимой будет для меня смерть, если я допущу, чтобы тоска постепенно подтачивала меня, я решил лучше умереть сейчас же, чтобы душа моя улетела вслед за ее святой душой. Придя к такому решению, я почувствовал себя наполовину успокоенным, словно сделал только что какое-то большое приобретение.

Франчотто, который не отходил от меня с самого вечера, вышел на минутку посмотреть, что делается в лавке, и обещал мне скоро вернуться. Я, схватившись за кижал (тот самый, который и сейчас у меня), тут же хотел все кончить. Но потом, подумав хорошенько и вспомнив, что в этот вечер должны хоронить Джиневру, захотел еще раз увидеть ее и умереть рядом с нею. Одевшись наспех, я подвязал меч и, взяв мое последнее сокровище, голубую перевязь, вышел.

Перейдя мост, я наткнулся на погребальное шествие. Шли с пением «Miserere», по двое в ряд. Это были монахи из Реголы и другие общества монахов; они направляли свой путь по Юлиевой улице, затем через Сикстинский мост, неся гроб, покрытый большим покровом из черного бархата.

Должен тебе сказать, что эта встреча несколько не смутила меня. Напротив, думая о том, что мы будем, если не в жизни, то по крайней мере после смерти соединены, так как нам предстоял один и тот же путь и юдо<sup>1</sup> и то же обиталище должно было принять нас обоих, я следовал за гробом, исполненный мрачной радости, весь уже погруженный в тот другой мир и несколько не заботясь о том, куда я приду. Перейдя через Сикстинский мост в Трастевере, мы вошли в церковь святой Цецилии.

Когда опустили гроб в ризничной, где покоится сын святой Франциски Римской, я отошел в сторону, и, прислонившись к стене, слушал, как монахи пели надгробную молитву. Наконец под сводами церкви прозвучало «Requiescat in pace»<sup>1</sup>

Все молча удалились из церкви, и я остался один почти в полной темноте; другого освещения не было, кроме лампы, горевшей перед образом мадонны. Издали слышен был шум разговоров и шаги выходящих людей. В этот момент пробил час ночи, и сторож, побрякивая связкой ключей, прошел по церкви, готовясь запереть ее.

Проходя мимо меня, он меня заметил и сказал: «Я запираю». Я отвечал ему: «Я здесь останусь».

Он, внимательно посмотрев на меня и сделав вид, будто узнает меня, сказал:—«Ты не из людей ли герцога? Ты уж слишком поспешил... Дверь останется притворенною, и так как ты остаешься здесь, я схожу по своим делам».—И, не дожидаясь ответа, он вышел.

Я мало обратил на него внимания. Однако ска-

---

<sup>1</sup> Да почиет в мире.

занные им слова заставили меня как бы очнуться, и я не мог решить, кто из нас бредит, он или я. Какой герцог? и что за притворенная дверь? что хотел сказать этот несчастный? Так думал я про себя.

Однако, далеко не догадываясь о настоящем значении услышанных слов и не будучи в состоянии в эти минуты много думать, я тотчас же снова вернулся к своему первоначальному решению, и через короткое время (кругом все было совершенно спокойно) подошел к гробу, полный предсмертного трепета.

Сняв с гроба покров и извлеки кинжал, который был крепок и остро отточен, я начал расколачивать гроб; мне не легко было, не имея другого орудия, вытаскать гвозди; однако в конце концов мне удалось поднять крышку.

Прекрасное тело было завернуто в покрывало, а поверх него еще обернуто кусками полотна сверкающей белизны. Прежде чем умереть, я хотел еще раз посмотреть на лицо моего ангела. Я стал на колени и начал разворачивать полотно, скрывавшее от меня это последнее утешение. Я поднял последний кусок и увидал лицо Джиневры, оно казалось восковым изваянием. Полный трепета, я приложил свое лицо к ее лицу, и украдкой,—это мне показалось преступлением,—не удержался и поцеловал ее в губы. Губы ее слегка дрогнули. Я чуть не упал замертво... «Боже всемогущий!—воскликнул я,—для твоего милосердия все возможно!» Я, схватив ее руку, нащупал пульс... Сердце мое билось так сильно, что я задышался. Я явственно ощутил пульс. Джиневра была жива!

Можешь себе представить, как я растерялся, находясь один в таком положении. Если она придет в себя,—говорил я себе,—и увидит, где она находится, то от одного страха она может умереть. Я не знал, что делать, и метался, как безумный. С простертыми руками обратился я к мадонне и стал молиться ей: «О, мать божия, дай мне спасти ее! Клянусь тебе твоим божественным сыном, что мои помышления обращены только к добру!» Тут в глубине своего сердца я дал себе торжественный обет—никогда не искать от Джиневры ничего, что было бы противно ее чести, если только мне удастся вернуть ее к жизни, а также окончательно и навсегда отказаться от всякой мысли убить ее мужа,—эту мысль я уже давно затаил у себя в душе и собирался рано или поздно привести ее в исполнение.

Моя столь искренняя мольба была услышана, и божеское милосердие послало мне помощь.

Мой Франчотто, который, как я тебе рассказывал, уходил из дому, на обратном пути увидел, что я иду к мосту; и, отчасти догадываясь о том, что со мной происходит, и опасаясь, как он мне потом говорил, как бы я не придумал какого-нибудь отчаянного шага, пошел вслед за мною. Как человек чуткий, он старался по возможности не говорить со мной и вообще не беспокоить меня в такие минуты, хорошо понимая, что в моем положении нужны не советы, а только помощь, как только в ней представится нужда. Он вошел вместе с другими в церковь и оставался там, спрятавшись в одном из темных углов. Впоследствии он мне не раз говаривал, что, увидев,

как я взялся за оружие, он хотел броситься, схватить меня за руки, и все время стоял наготове, чтобы поспеть во-время. Но потом, увидев, что я старался только открыть гроб, он успокоился, и только тогда, когда увидел, что мне нужна его помощь, он решил больше не скрываться ют меня. Я не успел окончить молитвы, как услышал его шаги. Обернувшись, я увидел его подле себя. Тут, не вставая, я обнял его колени, словно он был ангелом, посланным мне с неба, подарившим мне сразу две жизни. Встав, я начал обдумывать, каким образом поспокойнее и без шума унести оттуда Джиневру. Приняв наконец решение, мы взяли бархатный покров, которым был покрыт гроб, и, вывернув его на изнанку, для того чтобы она, очнувшись, не могла заметить, что она лежит на погребальном покрове, положив на него простыни, которыми она была перед тем покрыта, и устроив таким образом для нее самую лучшую постель, мы с большой осторожностью подняли ее из гроба и потихоньку положили на эти покрывала.

Бедная Джиневра не открывала глаз, но из груди ее вырвался отрывистый вздох. Франчотто, обшарив шкафы, к счастью, нашел там склянки с вином, которые употребляются при богослужении, и нам удалось, просунув ей между губ тоненькое горлышко склянки, влить в рот несколько капель укрепляющей жидкости, очень мало, однако, лишь бы только поддержать ее жизненные силы, так как мы не хотели, чтобы она пришла в себя в таком месте. Затем, взяв в руки концы покрова, я у изголовья, а Франчотто у ног, мы с большой осторожностью под-

няли ее и без всяких происшествий с помощью пресвятой девы вынесли ее из церкви и через Сан-Микеле прибыли с ней к берегу, к тому месту, где стоят барки. Среди них была одна, принадлежавшая Франчотто. Впопыхах мы не могли найти места лучшего и более безопасного, чем это. В эту барку мы внесли Джиневру и с помощью двух или трех человек, охранявших барку, приготовили ей постель во внутреннем ее помещении. Я остался около нее, а Франчотто побегал за цирюльником, своим приятелем, человеком надежным и честным, чтобы тот пришел помочь нам и, если понадобится, пустить ей кровь.

Франчотто должен был снова пройти мимо церкви святой Цецилии. Поровнявшись с ней, он заметил отряд вооруженных людей, которые стояли перед входом в церковь. Он сначала подумал, что это городская стража. Тихонько пробираясь вдоль стены, он подошел к ним совсем близко и тогда убедился, что это не стража. Их было до тридцати человек, вооруженных копьями и большими мечами. В стороне стояли порожние носилки, которые держали два человека. Один из вооруженных, который, повидимому, был их предводителем, стоял, обратив взор на церковь, плотно завернувшись в плащ, и переступал с ноги на ногу, обнаруживая большое нетерпение. Спустя немного времени из церкви вышли двое, по виду слуг, и, подойдя к нему, сказали: «Ваше сиятельство, гроб взломан и пуст!» Слова эти так сильно подействовали на того человека, что он, высвободив из-под плаща руку, в которой держал фонарь, нанес им слуге по голове удар, от которого тот повалился к его ногам; другому

слуге досталось бы еще хуже, если бы он не пустился бежать, так как его господин теперь ухватился за меч. Однако, как он ни был взбешен, ему пришлось в конце концов уйти ни с чем.

Между вооруженными Франчотто заметил человека в плаще и мантии, как ходят судьи, и при свете факелов, которые они держали в руках, узнал в нем того бездельника, маэстро Якопо да Монтебуоно. Присутствие последнего в таком месте и в таком сообществе навело его на странные подозрения.

Когда они двинулись в обратный путь, он издали последовал за ними и, отказавшись от мысли идти за цирюльником, решил попытать счастья с указанным маэстро Якопо. Он опасался только, как бы тот не заставил провожать себя до самого дома некоторых из этих воинов. Но богу было угодно, чтобы Якопо, подойдя к Сикстинскому мосту, от которого до дома было уже недалеко,—он жил в начале улицы Лунгара,—простился со своими спутниками; они пошли через мост, а он свернул в направлении к своему дому. Франчотто догнал его под аркой и, сказав ему, чтобы он ничего не боялся, просил его идти с ним до Большого берега, навестить одну молодую женщину, которая была при смерти; он сумел уговорить Якопо и привел его к нам.

Спустившись в баржу, он сейчас же узнал меня и Джиневру и понял, что попал в ловушку. Франчотто, отозвав меня в сторону, рассказал мне все, что перед этим видел у входа в церковь святой Цецилии, и передал мне слышанные им слова. Я стал размышлять о сказанном, и тут вдруг

рассеялся туман, окутывавший до этих пор мои глаза, и мне стало ясно, как все произошло. Прижав маэстро Якопо к стенке и грозя ему,— а он был величайшим в мире трусом,—я добился того, что у него развязался язык. Он рассказал мне, что, по приказу Валентино, он дал Джиневре в тот вечер, когда был устроен ужин, отравленного вина, от которого она заснула, и, чтобы подкрепить обман, объявил ее мертвой; в церковь, куда ее должны были отнести, герцог решил прийти ночью и похитить ее.

Было поистине чудом, что так прекрасно задуманный план разлетелся вдребезги, а ты можешь себе представить, как я благодарил за это бога. Обратясь к маэстро Якопо, я сказал ему: «Вот что, маэстро! Я мог бы сейчас прикончить тебя вот этим кинжалом; но я готов сохранить тебе жизнь при условии, что ты спасешь ее жизнь. Смотри же, употреби все твое искусство, если хочешь вернуться целым и невредимым к своим товарищам. И если ты хоть одной живой душой расскажешь про то, как окончилась эта история, я убью тебя, как собаку».

Испуганный маэстро обещал мне все, что я от него потребовал и с величайшим усердием стал ухаживать за Джиневрой; я же, посоветовавшись с Франчетто, велел отвязать барку, и мы все вместе прибыли по реке в Мальяну вскоре после того, как пробило одиннадцать.

Добрый маэстро никогда об этом случае не заикался ни словом.

Мы поместили Джиневру в небольшой комнате одного винодела. Там она вскоре очнулась и, раскрыв глаза, с удивлением стала озираться во-



круг. Я стоял около нее и, держа в своей руке ее руку, прикладывал ее то к своему лицу, то к губам. Спустя некоторое время она отняла руку и, поправляя волосы, которые падали мне на глаза, пристально посмотрела на меня. Наконец сказала:

— Неужели это ты, мой Этторе?.. Но каким образом мы здесь?.. И где мы?.. Мне кажется, что это не моя комната... Я в другой постели... О, что такое случилось?

В это время Франчетто, который то-и-дело заглядывал в дверь, желая узнать, в каком состоянии Джиневра, опять появился у двери. Джиневра вскрикнула и, бросившись мне на шею, дрожа всем телом, проговорила: «Спаси меня, Этторе! Это он, это он! Пресвятая дева, помоги мне!» Я старался успокоить ее, как только умел, но ничто не помогало. Она смотрела на Франчетто широко раскрытыми глазами, полными ужаса. Я догадался, за кого она принимает Франчетто, и сказал ей: «Не бойся, Джиневра, это не герцог, это мой лучший друг, и он желает тебе добра от всей души». После этих слов она совершенно успокоилась и приветливо посмотрела на Франчетто, словно прося у него прощения. Можешь себе представить, как я проклинал в своей душе этого злодея!

Тут Джиневра начала просить меня объяснить ей, как она очутилась здесь; я же упрасивал ее, чтобы она пока доверилась мне и думала только о своем здоровье, которое требовало покоя. Наконец мне удалось успокоить ее, и после того как я ей дал укрепляющее лекарство, она уснула.

Но я не спал. Я сознавал, что было бы безумием надеяться на то, что мне удастся уговорить ее остаться со мною; я знал также, что она, вопреки моему, а может быть, и собственному желанию, все же захочет вернуться к мужу, как только силы позволят ей это. Поэтому я как можно скорее отправил в Рим Франчетто узнать, как обстоят дела и как там относятся к тому, что здесь произошло.

Он вернулся к вечеру и сообщил, что Валентино со своими людьми отправился в поход, держа путь в Рюманью, и что он взял с собой Грайано с его дружиною. Никто не знал, каковы его первоначальные планы.

Я передал все это Джиневре, которая, узнав теперь, наконец, что с ней произошло, колебалась в нерешительности, не зная, что ей делать. Мне долго пришлось уговаривать ее, чтобы доказать, что ей ни в каком случае не следует возвращаться в Рим, где Валентино легко мог бы найти ее и поправить свою первую неудачу; что ее муж, занятый военными делами и совершенно предавшись герцогу, даже при желании с трудом мог бы быть ее защитником; а потом, где и как его найти? Я упрашивал ее с большим жаром не идти против, можно сказать, божественного предопределения, которое столь необычными путями соединило нас с нею, извлекая ее из опасного положения, она должна подумать о том, что, уйдя из этого места, мы вследствие всеобщего убеждения в ее смерти можем отправиться куда-нибудь, где, свободная и спокойная, она сможет по крайней мере переждать и обдумать, какая судьба ожидает ее и ее мужа, и что-

бы укрепить ее доверие, я сказал ей следующие, давно придуманные слова: «Джиневра! клянусь пресвятой девой, что тебе будет со мной так, как если бы ты находилась у своей родной матери».

Францотто также помогал мне убеждать ее, так что наконец добрая Джиневра со многими вздохами, не в состоянии победить тревоживших ее угрызений, сказала мне: «Этторе, ты будешь моим руководителем; ты должен доказать, что ты послан ко мне небом и никем иным».

Когда мы с нею договорились, я с кинжалом в руке, прочитал нашему маэстро еще одно наставление; потом отправил его в Рим в сопровождении Францотто, с которым мне очень жалко было расставаться. Сев на барку с нашим небольшим багажом, мы оставили это место и, спустившись по реке вниз до Остии, оттуда сухим путем отправились к Гаэте. Неаполитанское королевство было в то время в руках французов, и так как Валентино был с ними в дружбе, то я не мог чувствовать себя в безопасности, пока не буду от них за тысячу миль. Поэтому, насколько это было возможно сделать, не слишком утомляя Джиневру, я старался, не прерывая путешествия, поскорее удалиться от этих берегов, и наконец с божьей помощью мы в один прекрасный вечер очутились вне опасности, в Мессине.

Когда Фьерамоска дошел до этого места своего рассказа, он увидел, что из лагеря выехала к ним навстречу группа всадников, и прибавил:

— Мне еще много остается рассказать тебе, но они сейчас будут здесь; и я не успею кончить. Скажу тебе только в заключение, что мы около двух лет провели в том городе. Джиневра удали-

лась в монастырь, а я, выдавая себя за ее брата, как только мог часто навещал ее.

В это время завязалась война между испанцами и французами. Жизнь, какую я вел, показалась мне наконец слишком недостойною ни солдата, ни итальянца.

Связанный обетом, данным в церкви святой Цецилии, я не мог ждать счастливого конца нашей любви.

Вся Италия подняла оружие; французы, казалось, были сильнее, и, кроме любви к отечеству, которая побуждала меня драться с неприятелем наиболее опасным, у меня была еще застарелая вражда к французской наглости. Кроме того, скажу тебе правду, я считал, что Джиневра будет находиться в большей безопасности под сенью испанских знамен, где Валентино не сможет добраться до нее.

Эти соображения, с которыми благородная Джиневра согласилась, так как, несмотря на свою любовь ко мне, она не могла допустить, чтобы я оставался праздным, в то время как все сражались за Италию, решили наше положение. Я написал письмо синьору Просперо, который набирал людей для Консальво, и вступил под его знамя.

В то время он находился со своим отрядом в Манфредонии; поэтому мы из Мессины морем отправились туда. Во время этого путешествия с нами произошел страшный случай.

Мы высадились в Таренте. Отдохнув там, мы однажды утром вышли из гавани и направились к Манфредонии. Был густой майский туман, и наша барка с двумя косыми парусами и на две-

надцати веслах летела по морю, гладкому как стекло. В полдень появилось за нами четыре корабля, не далее от нас, как на выстрел пищали, и требовали, чтобы мы сдались. Я хотел убежать от них, и мы могли бы это сделать, потому что находились под ветром, но, подумав, что они могли пушками потопить нас, я решил подплыть к ним.

Это были венецианские суда, шедшие из Кипра; они везли в Венецию Катерину Корнаро, королеву этого острова. Узнав, кто мы, они нас не тронули, и мы, следуя за ними, продолжали свой путь.

Наступила уже ночь, туман усиливался, и я считал большим счастьем, что встретил этих людей, которые помогли нам не сбиться с пути в такой темноте.

Около полуночи Джейнэвра уже спала, и только два человека были на ногах, они смотрели за парусами и правили баркой, но и они время от времени впадали в дремоту. Я сидел на корме и не спал, погруженный в размышления. Все было спокойно. Вдруг на палубе корабля королевы, который шел впереди нас на расстоянии полувыстрела, мне послышались шаги нескольких человек; я слышал, что они говорили тихо, но их речи были полны гнева. Я прислушался. Среди других женских голосов я различил один голос, который, мне показалось, просил о помощи. Затем я услышал плач, который то затихал, то возобновлялся, словно его старались задушить. Наконец раздался плеск воды, словно в море что-то упало. Охваченный подозрениями, я вскочил и, прищурившись, увидел, как что-то белое дви-

жется на поверхности воды. Я кинулся в море, в четыре взмаха рук очутился вблизи и, захватив край одежды и взяв его в зубы, поплыл назад к барке, таща за собой тело. Мои люди проснулись, услыша шум, и помогли мне взойти и вытащить человека, которого я спас. Это была девушка в одной рубашке. Руки ее были связаны грубой веревкой, и она не обнаруживала никаких признаков жизни. Однако наши старания привели ее наконец в чувство. Мы умышленно отстали от венецианцев, которые продолжали свой путь, нисколько не заботясь о нас. Спустив паруса, мы бросили якорь и стали ожидать рассвета. С восходом солнца погода прояснилась, и мы через несколько часов уже были в Манфредонии, где я нашел сеньора Просперо и поместил Джиневру вместе с другими в трактире.

Теперь ты наверное захочешь узнать, кто была девушка, которую я вытащил из воды; однако я не смогу удовлетворить твоего любопытства, потому что я и сам этого не знаю. Ни мне, ни Джиневре не удалось до сих пор добиться от нее ни слова о ее несчастьях и вообще о ее жизни. Она родом из Леванта и по всей вероятности сарацинка. Она прямодушна, благородна и с любящим сердцем. И в то же время она горда и смела до того, что не испугается ни крови, ни оружия, и перед лицом опасности она более похожа на мужчину, чем на женщину. С тех пор она всегда с Джиневрой; я устроил так, что игуменья святой Урсулы приняла их обеих в свой монастырь, и так как он находится близко, то пока война нас удерживает взаперти в Барлетте, я могу часто навещать их.



## ГЛАВА VI

В эту минуту подъехали французы, которые должны были отвести их в лагерь; двое друзей встали и, сев на коней, отправились с ними.

Они проехали сквозь длинный ряд палаток и барачков, любясь осанкой людей, которые выбегали им навстречу, чтобы узнать, зачем они прибыли. Через толпу солдат они прошли на площадь, образуемую множеством расположенных в круг палаток, средняя из которых, разбитая под большим дубом, принадлежала полководцу. В ней собрался цвет начальников всей армии. Все сошли с коней, и итальянцы были введены внутрь

палатки. После вежливых, но коротких приветствий были принесены две скамьи, на которые они уселись, повернувшись спиной к двери.

Палатка, украшенная синей материей с золотыми лилиями, имела форму продолговатого четырехугольника, разделенного на два равных квадрата четырьмя тонкими деревянными колоннами в голубых и золотых полосках. В глубине палатки стояла кровать, покрытая леопардовой шкурой; под нею спали, растянувшись, две большие гончие собаки. В некотором расстоянии от кровати стоял стол, беспорядочно загроможденный множеством склянок, щеток, ожерелий и драгоценных камней; над ним висело на стене многоугольное зеркало в серебряной раме резной работы. Все это показывало, что герцог не пренебрегал заботой о своей внешности. Но современный щеголь напрасно стал бы искать на этом *toilette* обязательный в таких случаях одеколон; зато он нашел бы две большие вазы из позолоченного серебра, с надписями: «Eau de Citrebon» и «Eau Dorée». Разные виды вооружения были развешаны на колоннах напоподобие трофеев, а поперек, на крючках, лежали копья разных форм и размеров.

Под ними посреди палатки сидел Луи д'Арманьяк, герцог Немурский, вице-король неаполитанский, которого король Людовик XII назначил главным начальником армии. Он был в голубом плаще, подбитом горностаем, и его благородные черты светились юностью, отвагой и рыцарской учтивостью. Д'Обиньи, Ив д'Алегр, Баяр, монсеньор де ла Палисс, Шанденье находились с ним рядом, а дальше стояли другие бароны и



рыцари, рангом ниже, образуя кружок, внутри которого были Этторе и Бранкалеоне.

Бранкалеоне больше силен был в рукопашном бою, чем в красноречии; поэтому он предоставил Фьерамоске изложить цель их прибытия.

Молодой рыцарь встал и юбвел всех окружающих беглым взглядом, в котором горела отвага, но без тени дерзкого высокомерия; это соответствовало и месту, и лицам, готовым слушать его, и предмету, о котором он должен был повести речь. Он рассказал об оскорблении, нанесенном Ламотом, и сделал предложение о поединке; затем, чтобы исполнить принятую обычаем формальность, развернул сверток с вызовом и прочел громким голосом следующее:

«Haut et puissant Seigneur Louis d'Armagnac, duc de Némours!

Ayant appris que Guy de La Mothe en présence de D. Inigo Lopez de Ayala a dit que les gens d'armes Italiens étoient pauvres gens de guerre; sur quoi, avec vostre bon plaisir, nous répondons qu'il a meschamment menti, et mentira toutes fois et quant qu'il dira telle chose. Et pour ce, demandons qu'il Vous plaise nous octroyer le champ à toute outrance pour nous et les notres, contre lui et les siens, à nombre égal, dix contre dix.

Die VIII Aprilis MDIII.

Prospero Colonna.  
Fabritio Colonna»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Высокий и могущественный Луи д'Арманьяк, герцог Немурский!

Узнав о том, что Гюи де Ламот в присутствии дона Иньиго Лопеса де Айяла сказал, что итальянские войны лишь

Прочтя вызов, он бросил его на землю, к ногам герцога, а Баяр, обнажив меч, концом его поднял бумагу.

Эторе, который прервал на минуту свою речь, собирался уже закончить ее, как вдруг взгляд его упал на блестящий щит, висевший как раз перед ним и отражавший на своей гладкой поверхности тех, которые стояли позади. Он увидел в нем лицо Грайано д'Асти; взволнованный, он обернулся и увидел в двух шагах от себя мужа Джиневры, который вместе с другими слушал его. Это внезапное и непредвиденное открытие лишило конец его речи той силы, которую он хотел придать ему. Те, кому известны были его обстоятельства, истолковали это в духе очень далеком от истины и оскорбительном для чести Фьерамоски. Некоторые из французских воинов улыбнулись, и нашлись такие, которые заметили шопотом, что не приходится бояться человека, смущающегося уже при одном упоминании о битве. От юности не укрылись и жесты, сопровождавшие их слова, и он почувствовал, как пламя обжигает его щеки; но скрепился духом, подумав: «увидят на деле, трушу ли я».

В ответе герцога было много слов и много

---

жалкие вояки на это мы, с вашего доброго разрешения, отвечаем, что он подло лгал и будет лгать всякий раз, как будет повторять это. И посему мы просим вас принять наш вызов на бой на жизнь и смерть от нас и наших воинов против него и его воинов, в равном числе десять человек против десяти.

8 апреля 1503 г.

Просперо Колонна.  
Фабрицио Колонна.

дерзости, тем более, что, судя по виду итальянца, он не думал, что перед ним храбрый человек.

В несколько минут закончились переговоры, и послам было предложено подкрепиться в одной из соседних палаток. Позаботились и о конях.

Грайано тоже узнал Фьерамоску, и когда тот ушел от герцога, он последовал за ним. Он подошел к нему, приветствуя его с тем пренебрежительным видом, который свойствен людям, ценящим в других дары счастья больше, чем дары добродетели. Он знал его еще бедняком, и по его виду он не мог заключить, чтобы он очень преуспел с тех пор, как они не виделись.

— А!—сказал он ему,—сер Джованни... нет, сер Маттео... ах, черт возьми, не могу припомнить... Ну, да это не важно. Вот видите, не умрешь, так и свидишься!

— Именно так!—отвечал Фьерамоска, который, несмотря на благородство своего характера, не мог победить в себе чувство горестного разочарования, видя, что человек, которого он считал уже обитателем другого мира, еще жив и продолжает быть законным обладателем женщины, которую он любил больше своей жизни. Напрасно он делал всевозможные усилия, чтобы произнести это «именно так» не слишком сухо; все оказалось напрасно, и он замолчал. Но Грайано был не из тех, кто замечает подобные оттенки речи; видя, что разговор не налаживается, он продолжал:

— Так-то! Что же мы поделываем? Стоим за Испанию? да?

Этторе показалось, что в этих вопросах во

множественном числе было чересчур много надменности, и он отвечал:

— Что у нас делается? Что у вас, я не знаю, а я служу копьеносцем у сеньора Просперо.

— А! Помните же поговорку,—сказал, усмехаясь, пьемонтец,—«Орсиню, Колонна и Франджипани получают сегодня и платят завтра».

Эта поговорка ходила тогда между наемными итальянскими солдатами и намекала на скудость в деньгах, какую часто испытывали бароны римской Кампаньи, которые поэтому были более жадны к чужому добру, чем точны в расплате с собственными солдатами.

Фьерамоске было в эту минуту не до шуток; поэтому он ничего не отвечал; однако, чтобы не показаться невежливым, он спросил Грайано, как он поживает и почему он ушел от Валентино.

— О!—отвечал Грайано,—он слишком многого хочет и заварил очень большую кашу, и если сегодня или завтра умрет папа, то все бросятся на него и потребуют от него и капитала и процентов. Но будет, об этом молодце лучше не говорить ни хорошего, ни дурного. Теперь я устроился здесь и чрезвычайно доволен, так что не поменялся бы местом и с самим папой.

Разговаривая таким образом, они дошли до палатки, где был приготовлен завтрак. После завтрака их позвали к герцогу за ответом.

Ответ был, как и надо было ожидать, полон высокомерия и самохвальства. В нем говорилось, что французы готовы биться; что они желают быть не десять, но тринадцать числом (это число считалось неблагоприятным и было выбрано ими, чтобы напроорочить бедствия итальянцам).

Послам было вручено запечатанное письмо к Гонсало и отдельно список участников поединка, избранных с французской стороны.

Вернувшись в палатку, юни стали ждать, чтобы им привели лошадей. Между тем появились бутылки с вином, которые были распиты ими в обществе многих рыцарей, в числе которых находился и Баяр. Когда кончили пить, Баяр попросил Фьерамоску, чтобы тот показал ему список. Эttore вынул из-за пазухи сверток и передал его Баяру. Тут все с любопытством окружили Баяра, и он прочел следующие имена: Шарль де Турж, Марк де Фринь, Жиро де Форс, Мартеллен де Ламбри, Пьер де Лие, Жак де ла Фонтен, Элио де Баро, Жан де Ланд, Сасе де Жасе, Гюи де Ламот, Жак де Гинь, Нот де ла Фрез, Клод Гражан д'Асти.

— Клавдио Грайано д'Асти!—воскликнул Фьерамоска, с удивлением посмотрев на него.

— Да, Клавдио Грайано д'Асти,—отвечал тот.— Или вы считаете, что он хуже других?

— Но скажите, мессер Клавдио, известно ли вам, из-за чего происходит этот поединок?

— Разве я глух? Разумеется, известно.

— Значит, вы знаете, что французы назвали итальянцев трусами и предателями и что это причина поединка? Но скажите мне, из какой вы сами страны?

— Я из Асти.

— А разве Асти не в Пьемонте? А Пьемонт в Италии или во Франции? И вы, будучи итальянским солдатом, хотите драться вместе с французами против чести итальянцев?

У Фьерамоски сверкали глаза, когда он гово-



Баяр

*С рисунка в библиотеке в Гренобле*



рил эти слова. Он употребил бы еще более сильные выражения, но он помнил свой обет, не позволявший ему братья за оружие против этого человека.

Граиано, напротив того, будучи совершенно чужд образу мыслей Фьерамоски, сразу не мог понять, к чему клонятся все эти вопросы. Лишь с трудом он понял его, когда тот договорил, и ему показалось все это величайшей в мире глупостью. Поэтому, словно не удостоивая его ответа, он обратился к другим и сказал, смеясь:

— Нет, вы послушайте, послушайте, что он говорит! Можно подумать, что он первый раз берет в руки копьё! Да мне плевать на итальянцев и на Италию и на тех, кто ее обожает; я служу тому, кто мне платит, вот и все. Или вы не знаете, прекрасный юноша, что для нас, солдат, где хлеб, там и отечество?

— Я не прекрасный юноша, а Этторе Фьерамоска,—отвечал тот, не в состоянии больше сдерживать себя,—и не хочу знать о тех низостях, о которых вы говорите. И если бы только...— Тут рука его невольно схватилась за рукоятку меча, но он тотчас отдернул ее и продолжал говорить с выражением лица, как у человека, только что проглотившего горькую пилюлю.

— С одним только, черт побери, я не могу помириться,—что этим благородным дворянам и вам, мессер Баяр, первому в мире человеку нашей профессии, самому честному и почтенному, приходится слышать, как итальянец говорит такие мерзости о своем отечестве. Впрочем, кому не известно, что в каждой стране имеются свои предатели!



— Предатель ты!—воскликнул громовым голосом пьемонтец. Тут оба они схватились за мечи, но не успели обнажить их, так как многие с той и другой стороны, бросившись между ними, удержали их, напомнив, что послы не могут ни оскорблять, ни получать оскорбления. Крик и смятение были огромны, но голос Баяра, покрывавший все другие, заставил всех успокоиться и притти в себя, а Грайано силой был вытасчен из палатки.

Фьерамоска, вложив меч в ножны и пристукнув его ладонью по рукоятке, чтобы он лучше вошел, обратился к Баяру с извинением за то, что случилось.

Тот положил ему обе руки на плечи и пристально посмотрел на него, отчего молодой рыцарь несколько покраснел и потушил глаза; потом, постояв так недолгое время, он поцеловал его в лоб и сказал ему:

— *Benoistę soit la femme qui vous porta*<sup>1</sup>.

Через час после этого мост барлеттских ворот опустился, чтобы дать проехать Фьерамоске и Бранкалеоне, которые возвращались домой.

<sup>1</sup> Благословенна будь женщина, родившая тебя.



## ГЛАВА VII

Утро этого дня, который итальянцы провели среди приготовлений к бою, не было потеряно и для гостей, занимавших со вчерашнего вечера верхние комнаты над кухней в трактире Солнца. Их имена, остававшиеся тайной для всех, исключая начальника эскадрона Боскерино, не должны быть тайной для наших читателей. Это были Цезарь Борджа, иначе герцог Валентино, и дон Микеле из Корреллы, один из его кондотьеров.

Сравнить подобных злодеев с самыми свирепыми животными; злейшими врагами всего живу-

щего, значило бы воспользоваться слишком слабым сравнением. Животные делают зло по природному побуждению, и всякое такое побуждение имеет свои определенные границы. Но какие границы могут иметь в своих преступных деяниях эти извращенные сердца, руководимые дьявольски изощренным умом и обладающие властью, смелостью (ибо, к несчастью, не все злодеи трусливы) и огромными богатствами?

Сын Александра VI, гроза Италии и особенно тех, кто обладал золотом, имуществом или красивой женою, находился в описываемый нами момент в бедном домишке почти один, среди множества людей, которые охотно купили бы ценою жизни наслаждение отомстить ему.

Те, кому неизвестно, сколько уверенности может обрести в себе душа, твердо закаленная и подчиненная холодному, расчетливому уму, называют подобную самоуверенность дерзостью. Но герцог довольно хорошо знал самого себя, и сопоставляя опасности и выгоды, которых он мог ожидать от поездки в Барлетту, он находил, что все вероятности на его стороне.

Две причины побудили его к этому путешествию. Одна—найти Джиневру, так как многие признаки с определенностью указывали на то, что она находится там же, где Фьерамоска, и хотя нельзя предполагать, что подобный человек мог ценить ее больше, чем любую другую женщину, но во всяком случае можно быть уверенным, что он не мог мириться с издевательствам, которому подвергся. Другая причина относилась к делам государственным,—но, чтобы дать нашим читателям ясное представление о ней,

необходимо на некоторое время занять их внимание изложением темных событий политики того времени.

Могущество дома Борджа, начавшееся со вступления кардинала Родриго Ленцуоли на первосвященнический трон, так усилилось благодаря применению духовного и светского оружия, благодаря юбманам, родственным связям и помощи Франции, что его стали опасаться все владетельные князья и все республики итальянские. Цезарь, сначала бывший кардиналом, мало ожидая для себя выгод от ношения пурпура, решил захватить один все отцовское наследство и пожать плоды общих преступлений всего дома. Единственным препятствием на пути осуществления этих гордых замыслов был его брат, главнокомандующий войсками апостольского престола, герцог Гандиа, которому папа твердо решил выкроить государство в Италии. Удар кинжала, оплаченный кардиналом, а, может быть, как думают некоторые, нанесенный его собственной рукой, однажды ночью устранил это препятствие. Один бедняк, стерегший ночью барки с углем на Рипетте, видел, как к берегу подошли три человека. Один из них был верхом: это был сам кардинал. На крупе коня, поперек, лежал труп его брата, поддерживаемый двумя другими людьми за голову и за ноги. Они бросили тело в Тибр, вымыли крестец лошади, запачканный кровью, и скрылись в темном переулке.

Спустя месяц Валентино сложил с себя пурпур и появился на коне во главе войска. Действуя то силой, то предательством, он быстро занял Фаэнцу, Чезену, Форли, Романью, часть

Марок, Камерино и Урбино. Но способы, которыми герцог пользовался для захвата земель, хитрость, применяемая для удержания недостойно приобретенной власти, а также причиненные столь многим людям юбиды возбудили против него всеобщую ненависть, которой нехватало лишь подходящего случая, чтобы прорваться. Такой случай мог представиться двояким образом: если бы умер его отец, или если бы Франция отказала ему в своей помощи. Лета палы и все время колеблющийся успех французского оружия в Италии побуждали его заблаговременно подумать о другой поддержке, на случай, если бы та, на которую он сейчас опирался, изменила ему.

Его проникательный взгляд, от которого ничто происходящее не могло укрыться, который проникал в каждую душу и в каждое, даже самое скрытое сердце, открыл ему, каково было тогда действительное состояние Италии. Он знал буйную храбрость французов, более способных одерживать победы в сражении, чем переносить тяготы бесплодной затяжной войны.

Он предчувствовал, что доблести одного Гонсало достаточно для того, чтобы сломить могущество французов. Он понимал, как страшен этот испанец своей храбростью, благоразумием, упорством и как легко он может уничтожить весь блеск французской лилии. Поэтому он считал выгодным для себя завязать с ним какие-нибудь связи, для того чтобы иметь лазейку на случай, если ему изменят его старые друзья. Такой план был слишком серьезен, чтобы осуществление его можно было кому-нибудь доверить; если бы французы хоть что-нибудь пронюхали об этом, его

дело погибло бы окончательно. Ввиду этих соображений он тайно выехал из Синигальи и отправился в Барлетту.

До рассвета оставался какой-нибудь час, и Валентино, принадлежавший к числу тех железных натур, которые почти не нуждаются в отдыхе, встал, позвал дону Микеле, который, боясь опоздать, уже был наготове, и, отдавая ему письмо, сказал:

— Это к Гонсало. Он даст тебе свободный пропуск. Если спросит обо мне, имей в виду, что я не в Барлетте, но недалеко отсюда. Вчера вечером я услышал от тех солдат, что кутили внизу, все подробности относительно Джиневры. Теперь я не сомневаюсь в том, что она или с Фьерамоской, или он устроил ее где-нибудь недалеко отсюда,—я полагаю, в таком месте, куда нужно ехать морем. Прежде чем наступит вечер, я должен знать, где она. Разыщи Фьерамоску и устрой так, чтобы им не удалось убежать от меня.

Дон Микеле принял письмо и выслушал распоряжения своего господина, не вымолвив ни одного слова в ответ. Он вернулся в свою комнату, оделся и, когда стало уже совсем светло на дворе, натянул на голову капюшон и отправился в крепость.

Когда дон Микеле уходил, герцог приблизился к окну и долго смотрел ему вслед с таким злобным видом, что для всякого другого этот взгляд явился бы предвестником несчастий. Однако из всех негодяев, которых он имел в своем распоряжении,—а среди них были весьма знаменитые,—никто не мог бы с таким правом на-

зыватья душою каждого его предприятия, как дон Микеле, и если можно вообще полагаться на верность человека такого закала, как он, то дон Микеле отлично доказал это своему господину, и притом в обстоятельствах очень серьезных. Но именно потому, что Цезарь был ему так обязан и не мог, если бы и хотел, избавиться от него, как не мог лишиться себя добровольно правой руки, он так сильно ненавидел этого человека.

Происхождение дон Микеле было мало известно. Большинство считало его наварцем, а про его поступление на службу к герцогу рассказывали странную историю о том, как он отомстил своему брату.

У дон Микеле была молодая, прекрасная жена. С ним вместе в его доме жил его холостой брат, моложе его летами. Красота невестки так сильно подействовала на сердце юноши, что, забыв всякое уважение к родству, он сумел добиться от нее всего. Однако, как они ни скрывали свою связь, она не укрылась от одной из служанок; последняя рассказала обо всем мужу. Тот подкараулил и застиг их; выхватив кинжал, он хотел поразить их обоих, но им удалось ускользнуть от него, отделавшись лишь легкими ранениями. Микеле так был взбешен нанесенным ему оскорблением, что, путившись в погоню за братом, который бежал вместе с невесткой, чтобы укрыться где-нибудь в безопасном убежище, поставил себе целью во что бы то ни стало убить его. Тот, узнав о том, что брат поклялся убить его, так сумел себя оградить, что прошли многие годы, а Микеле так

ничего и не удавалось, несмотря на многократные попытки. Окончательно отчаявшись выполнить обет мщения, от бешенства неудовлетворенной страсти он заболел и едва не умер.

Между тем наступил 1485 год, год юбилейный, и в том городе, где жил дон Микеле, устраивались праздничные процессии, покаяния, проповеди на площадях. По случаю праздника многие прекращали разделявшую их старую вражду и примирались между собою. И дон Микеле, казалось, решил подавить в себе всякую злобу, чтобы всецело обратиться к богу. Однако, сколько он ни заверял своего брата, тот отклонял всякие уговоры явиться к нему. К концу Святого года, который он целиком посвятил непрерывным подвигам покаяния, дон Микеле решил оставить свет и, удалившись в один из монастырей «босоногих», вступил в число послушников и по истечении времени искуса, произнес торжественный обет. Духовные наставники Микеле посылали его в различные города Испании и даже в Рим для изучения богословия, он сделался великим ученым, и, когда возвратился в отечество с молвой о себе, как о человеке святой жизни, монахи решили посвятить его в сан священника. Первую свою обедню, как обычно бывает в таких случаях, он служил с великолепием и при многочисленном стечении народа, друзей и родных. Кончив службу и возвратившись в ризницу, он стал, по обычаю, не снимая с себя ризы, на ступень алтаря, и друзья и родные подходили к нему по очереди, целовали ему руку и обнимали его.

Еще до этого времени все много раз слышали



сетования Микеле на то, что он в течение стольких лет таит ненависть против брата; он часто говаривал также, что у него нет другого желания в мире, как только получить от брата полное забвение прошлого, и что он даже готов, как подобает божьему слуге, первый поклониться брату. Поэтому, когда представился такой торжественный случай, брат, побуждаемый просьбами всех своих родных, решился наконец вместе с другими явиться в церковь, и когда он подошел к священнику, тот стал очень кротко говорить с ним и, обняв обеими руками, прижал к своей груди. Потом вдруг все заметили, что брат не отнимает головы от груди священника, но что у него внезапно подогнулись колени и, упав навзничь на пол, он испустил последнее дыхание, а священник, взмахнув тонким кинжалом, который он во время объятия вонзил брату в сердце, поцеловал окровавленное лезвие и, оттолкнув ногою труп, сказал: «Попался-таки!»—и исчез. Присутствующие были до того поражены, что никто даже не остановил его.

За это злодеяние голова Микеле была оценена; он бежал из страны в страну, пока наконец не нашел убежища в Риме, где его спас Валентино. Последний не замедлил оценить достоинства Микеле и скоро воспользовался им для самых серьезных дел, так что злодей-монах через короткое время стал душою всех предприятий Валентино.

Когда Микеле подошел к воротам замка и стража спросила его, кого ему надобно, он показал шкатулочку, которую держал подмышкой, и сказал, что только что приехал из Леванта

и хочет видеть Гонсало—предложить ему разные редчайшие изделия, секретные лекарства против наваждений и множество разных мелочей. Один из стражей, смерив его взглядом с головы до ног, сделал знак Микеле, чтобы тот следовал за ним.

Они вошли в большой двор, обставленный высокими зданиями древней архитектуры. Комнаты каждого этажа имели выходы на галереи, открытые в сторону двора и поддерживаемые колоннами из серого камня, на которые опирались своды, то круглые, то жорбовые, смотря по тому, в какую эпоху они строились. На разных расстояниях одна от другой выступали, высоко выдаваясь над крышами, несколько круглых башен из красноватого старого кирпича, увенчанных зубцами, похожими на ласточкин хвост. На вершине самой большой из них, называвшейся Башней Часов, развевалось большое желто-красное знамя—знамя Испании.

Они поднялись на первый этаж по наружной лестнице, окаймленной широкими перилами, на которых помещалось в ряд множество изображений львов, грубо вытесанных из камня, и вошли в зал, где провожатый оставил дона Микеле со словами:

— Когда Великий Капитан выйдет, вы можете говорить с ним.

— А скажите, пожалуйста, когда он выйдет?

— Когда ему вздумается,—грубо ответил воин и ушел.

Дон Микеле очень хорошо знал, что в передних надо запастись терпением, и потому промолчал. Заметив, что несколько молодых дво-

рян, собравшихся в глубине комнаты у больших окон, которые выходили на море, пристально разглядывают его, он, чтобы не находиться в бездействии, начал прохаживаться и рассматривать старинную живопись, которой были покрыты все стены. Так он постепенно и естественным образом приблизился к ним. «Кто знает,—думал он,—не отыщу ли я и здесь чего-нибудь хорошего!» Наконец ему удалось найти случай, чтобы ловко вставить одно-другое словечко в их разговор, и спустя несколько минут он уже был в этой кучке дворян своим человеком.

Счастье, которого почти всегда напрасно ищут честные и благородные люди, послужило ему лучше, чем он мог ожидать. Наблюдая своим пронизательным взглядом этих господ, он заметил между ними одного, лет пятидесяти, высокого, худощавого, у которого одно плечо было ниже другого. На боку у него висел большой меч, который приподнимал сзади его плащ и задевал стоявших близко. Он обходил всех, раскланиваясь и стараясь быть с каждым своим человеком и панибратом, особенно с теми, кто поважнее. Брови, поднимавшиеся дугою до середины лба, и серые глаза, круглые и вопрошающие, придавали его тощему лицу выражение любопытства, смешанного с добродушием, которое еще более ярко выступало в неизменной приятной улыбке, сопровождавшей все его разговоры. Этот добрый малый был дон Литгерно Дефастидис, подеста Барлетты, самый любопытный, самый тщеславный и самый скучный человек в мире.

Дон Микеле, который умел разбираться в лицах, тотчас понял, что попал удачно. Он подо-

шел к дону Литтерио и с напускной учтивостью и искренностью, которыми он в случае надобности прекрасно умел пользоваться, завязал с ним разговор. Подста никогда не оканчивал речи без какой-нибудь натянутой остроты (вроде тех, которые несомненно знакомы нашему читателю, если он бывал когда-нибудь в каком-либо из городков Неаполитанского королевства и проводил послеобеденные полчаса на скамеечке перед аптекой) и к тому же любил, чтобы при этом смеялись. Дон Микеле помирал со смеху и говорил ему: «Я еще никогда не видал такого приятного человека! Это чудесно! Это замечательно!» И меньше чем за полчаса они стали величайшими друзьями.

В это время Просперо Колонна, выходявший от Гонсало с разрешением на поединок, переходил зал, и все свидетельствовали ему свое почтение. Дон Микеле спросил, кто такой этот барон, и дон Литтерио чрезвычайно обрадовался, что может показать свою осведомленность, и стал рассказывать ему о поединке, о том, что говорилось за ужином, о Фьерамоске, о его любовных приключениях, так что дон Микеле, сверх ожидания, получил больший барыш, чем рассчитывал, и делая вид, что спешит, спросил его:

— А этот молодой человек... как вы его называли?

— Фьерамоска.

— Этот Фьерамоска, вероятно, друг ваш, что он вас так занимает?

— О, да, мы с ним большие друзья! И не меньше, чем я, интересуется им и синьор Просперо, да и вообще все... Это вот храбрый ма-

лый! Мы с ним встречаемся каждый вечер то в доме Колонны, то на площади. Жаль только, у него один скверный порок! Он никогда не смеется, никогда! Вечно с таким лицом, словно для него все потеряно; душа болит, когда глядишь на него. А я давным-давно уже догадывался; но мне никто не хотел верить. Чудные люди эти храбрецы-солдаты. Они словно стыдятся быть влюбленными! Но вчера один французский пленный, который знал его еще в Риме, рассказал всю эту историю, и теперь уже не приходится сомневаться. Правду говорит пословица: любви, капля и чесотки от людей не спрячешь.

Острота подеста была, по обычаю, принята доном Микеле с сильным смехом, который ему пришлось повторить два или три раза, потому что дону Литтерио было угодно столько же раз повторить свою пословицу. Потом, перейдя от смеха к серьезности, дон Микеле сказал:

— От этой любви я бы одним взглядом вылечил его, так что он потом и не вспоминал бы ее. Но...

Здесь он остановился, чтобы заставить упрямиться себя.

— Вылечили бы?—спросил подеста.—А как бы вы вылечили его? От такой лихорадки лекаря и аптекари не избавят; тут требуется что-то другое.

— А я вам говорю, что мне надо будет только найти кого-нибудь из его друзей, который бы помог мне, а там пусть с меня снимут голову, если окажется, что я лгу.

Дон Литтерио внимательно поглядел на своего

собеседника, чтобы убедиться, серьезно ли тот говорит или шутит, и нам нечего спрашивать, сумел ли дон Микеле прикинуться так, чтобы этот испытующий взгляд вынес впечатление, благоприятное для него. Убежденный уже наполовину, дон Литтерио сказал ему:

— Если вам больше ничего не нужно, то дело за этим не станет.

И он уже мечтал о том, что ему будут принадлежать заслуги чудесного излечения, точно так же, как он уже хвалился своей заслугой по обнаружению этой болезни. И действительно, если бы кто-нибудь совершил такое чудо и сделал Фьерамоску разгульным товарищем, любящим шум и веселье, друзья и знакомые его вознесли бы такого человека до небес.

Итак, сообразив все это, подеста стал расспрашивать дона Микеле, добиваясь узнать, каким образом он мог бы осуществить столь трудную задачу; он же, не отступая со своей позиции, заставлял себя сильно упрашивать, стараясь показать, будто не совсем доверяет собеседнику. Однако наконец, делая вид, что уступает, дон Микеле рассказал, что узнал в турецкой земле чудесное средство, которое, как он сам видел, применяют там, чтобы потушить любую, даже самую бешеную страсть. Так без большого труда ему удалось совершенно завладеть крошечным мозгом бедного подеста, который считал величайшим счастьем, что встретил этого человека.

— Все дело в том, — сказал наконец дон Микеле, — чтобы мне удалось остаться на пять минут с юго возлюбленной; об остальном предоставьте заботу мне.

— О, этого так сразу я вам не могу обещать, так как сказать вам правду, я даже не знаю, кто она. Но если она здесь, в Барлетте, или хотя бы в пределах десяти миль в окружности, то уж будьте спокойны: не пройдет и двадцати четырех часов, как я смогу уже сообщить вам что-нибудь об этом. Я сейчас же разыщу Джулиано... он наш городской служитель... этот дьявол проведает, что хотите.

— А где мы увидимся?—спросил дон Микеле.

— Где вам угодно.

— Если вы хотите, мы встретимся в гостинице Солнца, примерно около четырех часов.

— Согласен,—отвечал дон Литтерио, и, оставив дону Микеле восхищаться собственным счастьем, он направил свои шаги к зданию городского управления—разыскать Джулиано. С позволения читателей мы не станем сопровождать его, чтобы не заставить дону Микеле чересчур скучать в передней.

Дон Микеле, долго и тщетно прождав появления Гонсало, добился, наконец, у швейцара позволения войти к нему в комнату.

Испанский полководец, завернувшись в широкий плащ из красного атласа, на подкладке из серого беличьего меха, стоял у окна; величественный вид, высокий лоб, пронизательный взгляд, наконец, слава великого человека—все пробуждало в сподручнике Валентино какое-то чувство страха и даже, можно сказать, приниженности,—чувства, которые всегда испытывает порочный человек перед лицом человека добродетельного. Дон Микеле отвесил униженный, глубокий поклон.

— Достославный синьор! Важность поручения, которое я имею к вашей светлости, заставило меня представиться вам не под моим собственным именем. Если вам это неприятно, я униженно прошу у вас прощения; но, как вы сами сможете убедиться, тайна здесь была слишком необходима, и тот, кто меня к вам послал, не мог себя вверить никому иному, кроме вашей высокой милости.

На эти слова Гонсало коротко отвечал, что не выдаст того, кто ему вверяется, и просил дону Микеле изложить цель своего посещения. Дон Микеле вручил ему письмо герцога, получил свободный пропуск и, возвратившись с ним к своему господину, уверил последнего в том, что тайна его прибытия в Барлетту будет строго соблюдаться Гонсало.

Потом он рассказал, какие большие надежды возлагает на поиски, предпринятые его новым приятелем—подестю. Валентино, довольный оборотом, который принимали его дела, надвинул на глаза капюшон и, завернувшись в плащ, вышел из харчевни. Сев в лодку, он обогнул по воде крепость; туда, по соглашению с доном Микеле, Гонсало послал человека, чтобы встретить его. Ему отворили небольшую дверцу, и он пошел вверх по потаенной лестнице и разными переходами добрался до комнаты испанского полковника.

Мы не считаем необходимым давать подробный отчет об этом совещании.

Валентино изложил в немногих словах и с удивительной ясностью ход событий в Италии, указав на силы, надежды и опасения различных



ее государств. Он дал понять, что был бы очень рад сойтись с Испанией; при этом он старался уверить, что его побуждает к этому желание добра своим подданным и надежда отвести бедствия, которые обрушились бы на них, если бы французы оказались победителями. Искренностью, под которую он превосходно умел подделываться, ему удалось оставить о себе лучшее впечатление, чем Гонсало мог бы иметь на основании всеобщей молвы. Он предложил заключить с Испанией договор, в котором принял бы участие папа и оставалось бы место и для венецианцев—в случае, если бы они хотели присоединиться к нему. Этот договор обязывал бы их помогать друг другу ради взаимных выгод и был бы заключен только после того, как испанцы сделались бы властителями двух третей Неаполитанского королевства. Он предложил совершить поход на Тоскану собственными силами, указывая на то, что в Италии первые друзья французов—флорентийцы, и поэтому было бы очень важно уничтожить этого сильного союзника. Затем он прибавил, что считал бы весьма выгодным для их союза пригласить к участию и пизанцев, помогши им оправиться от ударов, нанесенных Флорентийской республикой; укрепив их таким образом, можно рассчитывать на них, как на самых бдительных стражей против флорентийцев.

Гонсало не мог сделать существенных возражений против этих предложений, ибо тонкий ум Цезаря Борджиа умел изложить с величайшей очевидностью то, что в значительной мере соответствовало действительности. Однако испанец знал его и не легко мог решиться довериться ему.

Он решил не давать пока никакого определенного ответа, сказав, что прежде чем принять решение, он хочет посоветоваться об этом со своими приближенными. При этом он не пожалел для Валентино ни добрых слов, ни учтивых услуг; он проводил его в помещения нижнего этажа, выходявшее на море, предоставив ему быть полным хозяином их на время, которое он пожелает оставаться в Барлетте, и велел некоторым из своих наиболее надежных слуг служить ему, оказывая ему все почести, подобающие сыну папы.

К вечеру Фьерамоска и Бранкалеоне прибыли к воротам города. Не успели они въехать, как около них стала собираться толпа офицеров, конных и пеших солдат, которая все увеличивалась от присоединявшихся к ним по дороге новых людей, и всякий хотел первым услышать ответ французам.

— Как шли переговоры? Что они отвечали? Кто будет сражаться? Когда? Где?..

Но двое друзей на все эти наперебой задаваемые вопросы отвечали, смеясь:

— Приходите в крепость, там все узнаете.

Наконец они прибыли в крепость и были введены к Гонсало. Фьерамоска передал ему письмо герцога Немурского, и он, прочитав его, громким голосом заявил, что поединок принимает, но что разрешения на него не дает. Такой отказ показался всем странным, и Великий Капитан сказал:

— Я не думал, что французы станут искать предлога избежать боя. Но разрешение вы получите, за это я ручаюсь.

Потом, позвав одного из своих секретарей, он сказал ему:

— Напиши герцогу Немурскому, чтобы он не беспокоился, что препятствие уничтожено, что я предлагаю ему перемирие до конца поединка и, наконец, что я ожидаю через два дня свою дочь донью Эльвиру, в честь которой собиралось устроить небольшой праздник, и я прошу его, пока отдыхает оружие, пожаловать повеселиться с нами, чтобы наш праздник стал еще веселее.

На то, чтобы написать письмо, отправить его и получить ответ, понадобилось не более двух часов. Герцог Немурский принял приглашение, а также перемирие, о котором в тот же вечер провозгласили по городу при звуке труб, причем одновременно были объявлены имена итальянских бойцов, к которым, чтобы пополнить список требуемого французами числа, прибавили еще троих: Лодовико Аминале из Терни, Маргано из Сарни, Джованни Капоччо из Рима.



## ГЛАВА VIII

Монастырь на острове, находящемся между горой Гаргаццо и Барлеттой, был посвящен святой Урсуле.

Стены его в в наши дни представляют лишь груды развалин, покрытых плющом и терновником; но во времена, когда происходили описываемые нами события, они были еще в хорошем состоянии, образуя мрачное по виду здание, воздвигнутое поздним раскаянием одной принцессы Анжуйского дома, которая удалилась сюда, чтобы в благочестии окончить жизнь, проведенную среди

необузданных удовольствий и честолюбивых стремлений. Трудно было бы найти другое уединенное место, более спокойное и более приятное, чем это.

На скале, возвышающейся футов на двадцать над поверхностью моря, находится площадка плодородной земли около пятисот шагов в окружности.

В более отдаленном от моря углу ее возвышается церковь. Вход в нее украшен прекрасным портиком с колоннами из серого гранита. Внутри она разделена на три отдела с остроугольными сводами, покоящимися на соединенных пучками тонких, украшенных резьбой колоннах, и освещается из продолговатых готических окон с расписными стеклами, на которых изображены чудеса святой заступницы храма. Круглая ниша позади алтаря украшена мозаичными изображениями на золотом фоне: бог-отец, парящий во славе, у ног его святая Урсула и одиннадцать тысяч дев, несомые ангелами.

Церковь, удаленная от людских жилищ, почти всегда была пуста. Одни только монахини собиравались там в назначенные часы дня и ночи, чтобы петь хором священные гимны. День уже клонился к вечеру. За главным алтарем раздавался тягучий и монотонный напев вечерней молитвы, и одна женщина молилась на коленях около гробницы из белого мрамора, пожелтевшей от времени, покрытой балдахином, тоже мраморным, украшенным в готической манере скульптурными орнаментами из листьев и изображений животных. Тут покоились кости основательницы монастыря.

Молящаяся женщина, завернутая в спускающееся до самой земли покрывало одного цвета с мрамором гробницы, бледная и неподвижная, могла бы быть принята за коленопреклоненную статую, поставленную здесь художником, если бы из-под ее покрывала не выбивались две длинных каштановых косы, и если бы из-под ресниц, по временам поднимавшихся, не выглядывали голубые глаза, в которых отражалась пламенная молитва.

Бедная Джиневра—это была она—имела причину молиться, потому что для нее настала такая минута, когда сердцу женщины недостает собственных сил, чтобы победить себя. Она раскаивалась, но уже слишком поздно, в своем решении следовать за Фьерамоской и соединить таким образом свою судьбу с судьбою человека, которого она, если бы руководилась благоразумием и долгом, должна была бы избегать больше всякого другого. Она раскаивалась, что столь долгое время не старалась узнать, жив ее муж или умер. Рассудок говорил ей: «То, что не сделано, можно еще сделать»; голос же сердца отвечал ему: «Уже поздно», и это «поздно» звучало как неотвратимый приговор. Дни тянулись для нее медленно, полные душевной тоски и горечи, и не давали никакой надежды, что она сможет когда-нибудь выйти из этого мучительного положения, хотя бы уступив, если нельзя иначе, одной из тех двух борющихся внутри нее сил. И здоровье Джиневры все ухудшалось из-за этой постоянной внутренней борьбы.

Утренние часы и ближайшие после полудня были для нее менее тягостны. Она вышивала,

читала книги, прогуливалась в монастырском саду. Но зато вечера! Самые черные мысли, самые ужасные заботы, подобно тем насекомым, которые при заходе солнца появляются тысячами и делают еще злее, ожидали, казалось, этого часа, чтобы сразу обрушиться на нее. Тогда Джиневра искала убежища в церкви. Она не находила там ни радости, ни покоя, но, по крайней мере, на некоторое время испытывала утешение.

Ее молитва была коротка и всегда одна и та же. «Пресвятая дева,—говорила она,—сделай, чтобы я не хотела любить его»; а иногда прибавляла: «Дай мне решимость искать Грайано, и чтобы я желала найти его». Но часто она не могла решиться произнести эту последнюю мольбу.

Повторяя эти слова молитвы, она нередко ловила себя на том, что мысли ее заняты Фьерамо-ской, и именно в те минуты, когда язык ее молил о том, чтобы она могла забыть его. Тогда она вздыхала, плакала и вместе с тем видела слишком ясно, какое желание имеет в ее душе перевес. Однако в этот день в силу одного из тех приливов и отливов, которые свойственны нашей природе, ей показалось, что она может наконец решиться сделать правильный выбор. Мысль о болезни, которую ей предвещало в ближайшем будущем ее слабеющее здоровье, мысль о том, что она умрет в мучениях нечистой совести, явилась ей в одну из минут сомнений и перегнула чашу весов. Тогда она решила разведать о Грайано и, открыв, где он находится, вернуться к нему непременно, чего бы это ни стоило. Если бы Фьерамоска случился здесь в эту минуту, она объявила бы ему свое решение тотчас же, не откла-

дывая, без всяких колебаний. «Впрочем,— сказала она, поднимаясь и собираясь уходить из церкви,— сегодня вечером он придет и все узнает».

Монахини, окончив пение, молча выходили одна за другой через дверь, ведущую на монастырский двор, и расходились по своим кельям.

Джиневра последовала за ними. Она вошла в чистенький, лоснящийся, как зеркало, портик, окружавший небольшой сад. Посредине сада под навесом, опиравшимся на четыре каменных столба, был сделан колодец. Отсюда по длинному коридору Джиневра прошла на задний двор. В глубине его находился небольшой домик, отделенный от остального здания; в нем обитали монастырские постояльцы. Там жила и Джиневра вместе с молодой девушкой, которую спас Фьерамоска. Они занимали две или три комнаты, которые по монастырскому обычаю не имели между собой иного сообщения, как через общий коридор. Джиневра, войдя в комнату, где они обыкновенно проводили вместе большую часть дня, застала Зораиду за пальцами. Работая, она пела какую-то песню на арабском языке, обильную минорными тонами, как все песни южных народов. Вот она поглядела на вышивальце и вздохнула (это был атласный плащ голубого цвета, расшитый серебром; он предназначался для Фьерамоски, и они вместе вышивали его); потом села к затененному виноградной зеленью окну, которое обращено было в сторону Барлетты. В это время солнце уже скрылось за холмами Апулии, несколько облачков полосами протянулись по небу; они ярко горели, озаренные лучами солнца, и были подобны золотым рыбкам, плавающим в огненном море.



Их отражение длинной лентой рассекало волны, по которым там и сям скользили паруса рыбачьих лодок, прибываемых к берегу легким восточным ветром. Взор молодой женщины был устремлен на набережную гавани, находившейся как раз против нее; она часто видела, как оттуда отчаливала лодка и направлялась к острову.

Сегодня она ждала желанной лодки с большим нетерпением, чем всегда; ей казалось, что лодка эта должна принести решение ее судьбы, и каково бы ни было оно, в ее положении оно всегда будет лучшим. Однако как долги и горестны казались ей эти минуты ожидания! Она хотела бы, чтобы Этторе уже был здесь и услышал от нее слова, которые ей так тяжело произнести; если он опоздает или не придет, то будет ли у нее достаточно силы завтра?

Темная точка, казавшаяся почти неподвижной, скоро появилась в море недалеко от берега. Спустя четверть часа она подошла к берегу, увеличившись в размере, и, хотя это еще едва можно было различить, Джиневра увидела, что это была лодка с одним человеком. Она узнала того, кто находился в этой лодке, и почувствовала, как сжалось ее сердце. Все ее планы сразу смешались, и ей показалось вдруг невозможным сказать ему то, на что за минуту перед этим она твердо решилась или по крайней мере считала, что решилась. Она была бы рада, если бы лодка повернула назад; но нет, лодка шла все вперед и вперед; она уже приблизилась к острову, слышны удары весел и плеск разрезаемой воды.

— Вот и он, Зораида, — сказала Джиневра, обращаясь к своей подруге, которая в ответ едва

приподняла глаза и, кивнув головой, тотчас же снова опустила их, продолжая свою работу. Джиневра вышла и направила шаги в ту сторону острова, куда пристала лодка; по лестнице, высеченной в скале, спустилась она к морю как раз в ту минуту, когда Фьерамоска складывал весла на дно лодки, между тем как корма ее уже касалась вплотную скалистого берега.

Но если у молодой женщины не хватало силы объявить о своем решении, то и Фьерамоска, которому нужно было открыть ей не менее важные вещи, чувствовал в себе не больше смелости духа, чем она.

Находясь долгое время вдали от тех мест, где воевал Грайано, он уже давно ничего о нем не слышал. Несколько солдат, прибывших из Романьи, утверждали, что Грайано убит, но они были, повидимому, плохо осведомлены или путали его имя. Поверить им было для Этторе очень выгодно, поэтому он не пытался сомневаться в их словах и не спешил получить подтверждение. Редко бывает, чтобы там, где мы опасаемся открыть что-нибудь для себя неприятное, мы старались ясно видеть истину. Так и он, не стремясь узнать истину, медлил вплоть до того дня, когда, наконец, его собственные глаза вывели его из заблуждения. Он возвратился в Барлетту в прекращавшейся борьбе с самим собою, не будучи в состоянии решить, сказать или нет об этом Джиневре.

Первое решение разлучало его с нею навсегда, второе казалось ему преступным. А затем—как скроет он что-нибудь, от той, которая привыкла читать все его мысли.

Так, все время терзаясь сомнениями, он прибыл на остров. Он еще ни на что не решился, когда встретил Джипевру, и вынужденный обстоятельствами принять определенное решение, одно из двух, он пока остановился на втором, говоря себе: «Там подумаем».

— Сегодня я приехал поздно, — сказал он, поднимаясь по лестнице, — но у нас было много дела, и я привез важные новости.

— Новости? — спросила Джиневра, — хорошие или плохие?

— Хорошие; а с помощью божьей через несколько дней они будут еще лучше.

Они дошли до площадки перед церковью. На самом краю ее, там, где скала круто обрывалась в море, была сделана невысокая стенка, служившая барьером; около нее росло несколько посаженных в круг кипарисов; в середине между ними был вкопан деревянный крест, а вокруг него — несколько грубо сколоченных скамей.

Там они присели, освещенные серебряным сиянием луны, которое уже начинало преобладать над пурпурным светом сумерек, и Фьерамоска начал свой рассказ:

— Порадуйся, моя Джиневра, сегодня был день славы для Италии и для нас, и если бог не откажет в своей милости тем, на чьей стороне правда, он явится началом еще большей славы. Но теперь необходимо проявить силу духа, и ты сегодня должна показать себя такой, чтобы явиться примером для итальянских женщин.

— Говори, — отвечала молодая женщина, пристально вглядываясь в лицо Этторе, словно желая разгадать его выражение и наперед прочесть на

нем, какого испытания он ожидает от нее. Я женщина, но у меня закаленное сердце.

— Я знаю это, Джиневра, и скорее я мог бы усомниться в том, что завтра взойдет солнце, чем сомневаться в тебе...

И он рассказал ей о вызове на поединок, подробно изложив начало событий, поездку во французский лагерь, возвращение оттуда и приготовления к бою. Сколько мужественного пыла было в его словах, как воспламенены были они любовью к отечеству и славе, как присутствие Джиневры усиливало это пламя—это поймут хорошо те из наших читателей, которым случалось чувствовать, как сердце начинает сильнее биться, когда они ведут разговор о благородных деяниях на пользу отечества с женщиной, способной их понять.

По мере того как Этторе углублялся в свой рассказ и в его словах, в его голосе и движениях проявлялось все больше силы, и у Джиневры дыхание становилось все чаще; ее грудь, подобно парусу, вздуваемому порывами усиливающегося ветра, приподнималась и опускалась под натиском наполняющих ее бурных чувств, нестройных, но вполне достойных ее; ее глаза, непрестанно меняясь в выражении с каждым словом молодого рыцаря, загорались и искрились пламенем.

Наконец она своей белой и красивой рукой взялась за рукоять меча Фьерамоски и, смело подняв голову, сказала:

— Если бы у меня была твоя рука! Если бы я могла размахивать этим мечом, который я едва могу поднять! О, ты пошел бы не один, нет! И может быть, мне пришлось бы услышать, что победили итальянцы, но там остался... О, я знаю,

знаю! Победенным ты не вернешься...—При этих словах, охваченная мыслью о близкой опасности, она не могла сдержать хлынувших из глаз ее слез, из которых несколько упало на руку Фьерамоски.

— О ком ты плачешь, Джиневра? Неужели ты могла бы желать, чтобы не произошел этот поединок?

— О нет, Этторе, ни за что, ни за что в мире! Не упрекай меня в этом напрасно.

И отирая слезы, она быстро продолжала:

— Я не плачу... уже кончено... Это было так, одна минутка...

Потом с улыбкой, которой ее еще влажные от слез ресницы придавали особенную прелесть, прибавила:

— Я хотела показать себя слишком храброй и заговорила о мечях и сражениях. Вот и показала. По делу мне.

— Женщины, подобные тебе, могут, не касаясь мечей, заставлять их совершать чудеса. Вы могли бы перевернуть весь мир, если бы... если бы знали, как к этому приступить. Я не говорю о тебе, Джиневра, но вообще об итальянских женщинах, которые, к сожалению, не походят на тебя.

Эти последние слова дошли до ушей Зораиды, которая подходила с висящей на левой руке корзиной, полной сластей, печений, яблок и других лакомств; в правой руке она держала графин с белым вином. Платье ее было сшито по восточному покрою, и в выборе самых ярких цветов и причудливом расположении их чувствовался вкус еще находящихся в варварстве стран, из которых она была родом. Голова ее, тоже по восточному обы-

чаю, была обмотана повязкой, свободные концы которой падали ей на грудь. Высокие брови, орлиный взгляд и смуглый, слегка золотистый цвет ее лица выдавали в ней принадлежность к одной из соседних с Кавказом рас. В ее полных нежной грации движениях проглядывали иногда черты первобытной природы и смелой простоты, чуждой условностей.

Она остановилась и посмотрела на Этторе и Джиневру; потом обратилась к ним по-итальянски, произнося слова с иностранным акцентом.

— Ты говорил о женщинах, Этторе? Хотела бы и я послушать.

— Во все не о женщинах, — отвечала Джиневра, — мы говорили о танце, в котором нам, женщинам, придется играть очень печальную роль.

Эти загадочные слова только усилили любопытство Зораиды, и Этторе пришлось рассказать ей то, что он уже рассказал Джиневре.

Девушка на несколько мгновений задумалась, потом сказала, качая головой:

— Я вас не понимаю. Столько гнева, столько шума из-за того только, что французы утверждают, что не уважают вас! Но разве они еще яснее не показали этого на деле, придя в вашу страну, чтобы пожрать ваши посеы и выгнать вас самих из ваших жилищ? Разве не говорят вам того же и испанцы наравне с французами, которые тоже и для той же цели пришли сюда? Олень не выгонит льва из его логовища, но лев гонит оленя и пожирает его.

— Зораида, мы не живем среди варваров, у которых все решает одна лишь сила. Долго было бы тебе рассказывать, какие права имеет француз-

ская корона на наше королевство. Достаточно тебе только знать, что оно является ленным владением папского престола. А это значит, что последний может распоряжаться им. Пользуясь этим правом, он и пожаловал его около двухсот лет тому назад Карлу, герцогу Прованскому, наследником которого и является христианнейший король.

— Чудеса! А престолу-то кто ж пожаловал его!

— Престолу пожаловал его один французский воин, который назывался Робер Гюискар и который завладел им силою оружия.

— Ну, теперь совсем ничего не понимаю. Ту книжку, которую мне дала Джиневра, я прочитала всю до конца и со вниманием; ведь она написана Исою бен-Юсуфом?

— Да.

— А разве там не сказано, что все люди сотворены по подобию бога и искуплены его кровью? Я понимаю, что находятся среди христиан такие, которые, злоупотребляя своей силой, становятся господами над имуществом и жизнью себе подобных; но каким образом это злоупотребление властью может превратиться в право, переходящее по наследству к детям и внукам—этого я понять не могу.

— Я не знаю,—отвечал Этторе, улыбаясь,—действительно ли ты не понимаешь, или понимаешь слишком хорошо. Однако несомненно одно: что сделалось бы без этого права со всеми папами, императорами, королями? А без них как бы мог существовать мир?

Зораида пожала плечами и ничего не отвечала. Из продуктов, которые находились у нее в кор-

зине, она приготовила ужин на одной из скамей, покрыв ее сперва скатертью снежной белизны.

— Так, так,—сказал Этторе, стараясь разогнать те мысли, которые он прочел на лице Джиневры;—постараемся, пока можно, быть веселыми, а там будь, что будет.

И они, развеселившись, принялись за еду.

— Пословица говорит,—продолжал Фьерамоска,—что не следует за столом говорить о мертвых; поэтому мы не должны говорить о поединке. Потолкуем о чем-нибудь веселом. Скоро у нас наступает праздник. Синьор Консальво объявил, что будет турнир, бой быков, комедии, балы, обеды. Вот будет раздолье!

— Что это значит? А французы?—спросила Джиневра.

— Французы тоже будут у нас в гостях. Им предложено перемирие, и они не будут так грубы, чтобы отвергнуть его. Праздник устраивается по поводу приезда доньи Эльвиры, дочери Великого Капитана, который любит ее пуще глаз своих и хочет, чтобы праздник был настоящим праздником.

Тут обе женщины засыпали его вопросами, и Этторе, насколько мог, старался удовлетворить любопытство той и другой. Каковы были вопросы, читатель угадает сам.

— Красива ли? Говорят, красавица; волосы, словно золотые пряди.

— Приедет через несколько дней.

— Она заболела и задержалась в Таренте; теперь она поправилась и едет к отцу.

— Любит ли он ее? Знайте, что он сделал для нее то, чего для самого себя не сделал бы никогда. Дело было как раз в Таренте. Вы слы-



шали, наверное, что там испанские войска взбунтовались, так как им не платили жалованья. Инниго рассказывал мне, что Консальво только чудом остался жив; все эти дьяволы напали на него с копьями. Некто Исиар, пехотный капитан (Консальво кричал, что у него нет денег), сказал ему громко и в самых грубых, непристойных выражениях, что его дочь (простите) могла бы их для него добыть. Он ни звука. Волнение прекратилось, и к вечеру уже все было спокойно. Утром встают, идут на площадь и знаете, что видят? Капитан Исиар болтается на веревке в окне своего жилища. Тех же, которые устали пики ему в грудь, он и не тронул. Вот как он ее любит.

Между тем среди разговоров наступила ночь.

— Пора уже уходить, — сказал Фьерамоска; он встал и, сопровождаемый юбейми женщинами, медленно направился к лодке. Джиневра спустилась с ним к подножью скалы, а Зораиде, которая осталась наверху, Этторе, садясь в лодку, посылая приветствия, но она едва ответила на них и удалилась. Не придавая этому значения, Этторе сказал Джиневре:

— Она, видно, не расслышала. Передай ей привет от меня. Прощай же. Бог знает, удастся ли нам увидеться в ближайшие дни. Но ничего, что-нибудь придумаю.

Он взмахнул веслами и отплыл от острова. Джиневра, поднявшись по лестнице наверх, долго стояла, глядя в раздумьи на две расходившиеся от кормы лодки полосы, тянувшиеся далеко. Когда уже ничего не было видно, она вернулась в свое жилище и, притворив дверь, замкнула ее на ночь двумя запорами.



## ГЛАВА IX

От начала мира и до наших дней птицепловы всегда ловили птиц почти на одну и ту же приманку, и люди всегда попадались в одни и те же сети.

Но едва ли не самые опасные из сетей те, которые расставляет наше самолюбие. Это было известно дону Микеле, и, зная за подестой такую слабость, он, как мы видели, разом прибрал его к рукам. Выйдя из приемной Гонсало, чтобы отыскать городского служителя, он шел и мечтал, создавая всевозможные планы, и не чувствовал

под собой ног от радости, что нашел человека, который наобещал ему столько чудес. Иногда, правда, у него рождалось подозрение, не обманщик ли этот человек, но, имея очень высокое представление о собственной предусмотрительности, он говорил подобно всем тем, кто проводит свою жизнь, исполняя волю других: «Меня не проведешь!»

В назначенный час он был уже в трактире Солнца. Но он еще ничего не мог рассказать дону Микеле, так как его слуга, которого он считал таким замечательным сыщиком, обещал ему много, но сделал мало и не открыл ничего.

Вечером, за ужином, жена и служанка заметили, что что-то очень важное копошится у него в голове, и не давали ему есть, все время засыпая вопросами. Непостижимо, каким образом он не разболтал всего; хранить тайну, когда казалось, что она может доставить ему известность, было для подстыи гораздо труднее, чем удерживаться от кашля тому, у кого першит в горле. Уже несколько намеков сорвалось у него с языка.

— О, что я знаю!.. Если бы вы только знали!.. Если у меня выгорит одно дельце!..

Потом он с минуту подумал, испугался при мысли, что подвергает себя риску, встал из-за стола и, сердито схватив свечу, отправился спать.

Эта ночь показалась ему целой вечностью. Наконец он дождался утра, поспешно оделся и, выйдя на площадь, отправился к цирюльнику, где условился встретиться с доном Микеле. Он уселся на скамейку перед цирюльней, куда каждое утро приходили посидеть нотариус, врач, аптекарь и двое или трое из числа самых умных

голов в Барлетте. Сидя нога на ногу, он рассеянно покачивал свободной ногой; левая рука была прижата к туловищу и поддерживала локоть правой, а пальцы отбивали дробь на подбородке; он то и дело поглядывал туда и сюда, не идет ли его друг, и убеждаясь, что не идет, устремлял взор в пространство. Аптекарь, нотариус и другие посетители несколько раз уже обращались к нему: «Доброе утро, синьор подеста»; но видя, что это не производит на него никакого действия и что он едва отвечает им, отодвинулись от него и стали шептаться, говоря: «Какие, чорт возьми, новости мы сегодня узнаем!» Дон Литтерио не мешал им говорить, что хотят, и молчал. Он умел по желанию придавать своему лицу два разных выражения: одно—униженно-равнодушное—для тех, кто был выше него, другое—угрюмое и надменное—для тех, кто был ниже: благой дар, которым небо, как известно, жалует всех глупцов. Просидев в таком положении полчаса, он услышал вдруг за спиной голос:

— Ваше превосходительство, синьор подеста, не погнушайтесь, испробуйте... собраны на росе.

Он обернулся и увидел садовника монастыря св. Урсулы, Дженнаро Рафамилло, предлагавшего подесте, в виде десятины, отведать из корзины вишен, которые он ежедневно выносил на площадь продавать вместе с другими фруктами; он знал хорошо по опыту, что, отделившись этой данью, может потом свободно продавать, как хочет, не имея никаких дел с рыночными надсмотрщиками.

— Полько мне и заботы, что о твоих вишнях!—отвечал дон Литтерио. Однако же, посмот-

рёв на корзину, юн надул щеки и, медленно выпуская набранный в рот воздух, взял с выражением благородного пренебрежения три или четыре виноградных листа, разложил их на скамейке в виде тарелки и, насыпав на них порядочную грудку вишен, принялся есть.

— А что хороши, ведь правда? Я вчера вечером относил их одной госпоже, и она сказала мне, что никогда не видала лучше этих!

— А кто же эта госпожа?

— Мадонна Джиневра, та, что живет в странно-приимном доме; говорят, что это важная особа из Неаполя; у нее есть, не знаю, муж ли, брат ли, здесь на службе у синьора Просперо, и почти всякий день он приезжает навещать ее...

Садовник проговорил бы еще долго, так как лаконизм не был его главным качеством, но как раз в это время подошел дон Микеле и, остановившись сзади подесты, так что тот не заметил его, сказал, ударяя его по плечу:

— Мне думается, синьор подеста, что этот человек может навести нас на настоящий путь; дайте мне поговорить с ним...

Недолго думая, юн принялся допрашивать Джённато и скоро из его ответов узнал, что Джиневра, та самая женщина, которую он искал. Нить была найдена; остальное для такого человека, как он, представляло уже сущие пустяки.

А для того, чтобы попасть в монастырь, иметь возможность осмотреть место и добыть необходимые средства, чтобы захватить Джиневру в свои руки,—для всего этого, он видел, подеста может оказаться чрезвычайно полезным. Необходимо было внушить ему такое доверие, чтобы у него

исчезло всякое подозрение насчет честности намерений дона Микеле. Он отвел его в сторону и сказал:

— Нам надобно будет об этом поговорить. Ожидайте меня в трактире Солнца, а я тем временем посмотрю, не сможет ли этот человек указать мне того молодца, который так часто навещает Джиневру.

Дон Литтерио отправился в трактир, а дон Микеле, отведя садовника туда, где в то время сменялась стража и было множество солдат и начальников, спросил:

— Нет ли его тут?

Дженнаро недолго пришлось искать; увидев Фьерамоску, он заявил:

— Да, вот он.

От одного из солдат дон Микеле узнал затем, что он нашел именно того, кого искал.

Спустя пять минут он был уже вместе с подестой в трактире, который в это время был пуст. Они уселись друг против друга за столом, на который были поставлены два стакана и кувшин с вином.

Дон Микеле начал с самым скромным выражением лица:

— Мы узнали, что нужно. Но прежде, чем начать разговор о деле, я хочу вам сказать два слова. Дон Литтерио, я немало побродил по свету и научился распознавать хороших людей с первого взгляда. На основании короткого разговора с вами я уже убедился, что нет на свете ума светлее вашего.

Подеста выразил взглядом благодарность за эти приятные ему слова.

— Нет, нет, это ни к чему... Я говорю то, что думаю. Вы меня не знаете. Если бы я думал иначе, я бы вам просто-напросто сказал: «Синбор подеста, вы меня простите, но вы олух». Стало быть, если бы я был мошенником, я искал бы другого. Но я могу похвалиться, что человека честнее меня трудно найти, поэтому мне нечего бояться иметь дело с тем, кто так ясно видит вещи. Итак, я хочу рассказать вам все, и вам не будет надобности верить одним словам; вы увидите действия, и тогда убедитесь, что имеете дело с благородным человеком.

Тут он завел одну из своих песен: что он был великим грешником и чтобы испросить от бога помилование, отправился к святому гробу; что в конце концов грехи ему отпустил один пустынный горы ливанской, но наложил на него эпитимию, семь лет он должен странствовать по свету, и где бы ему ни подвернулся случай для доброго дела, все равно какого, он обязан был выполнить это хотя бы ценою жизни; сам же он должен жить в бедности и унижении; что, поступая так, он употребляет на благо людей силы и знания, приобретенные им в дальних путешествиях по Персии, Сирии и Египту.

— Теперь,—продолжал он,—вы поймете, почему я так стараюсь освободить вашего друга от его любви и тех опасностей, которые могли бы обречь его душу на вечное осуждение. Его возлюбленная, без сомнения,—это та мадонна Джиневра, которая находится в монастыре святой Урсулы. Теперь вам остается только свести меня с ней. Но, может быть, вы побоитесь, не ходимец ли я какой-нибудь, и не решитесь ввести

в эту святую обитель человека, которого вы не знаете; не скрою, у вас множество оснований для такого опасения.

Дона Литтерио всего передернуло.

— Нет, нет, повторяю, у вас множество оснований для опасения, ни у кого на лбу не написано, что он честный человек. А негодяев так много! Но если бы я показал вам, что, с помощью божьей, достаточно одного моего взгляда, чтобы извлечь сокровища из земных недр, остановить полет ружейной пули и совершить множество других труднейших дел,—все это вы увидите, я это сделаю при вас, и вы воспользуетесь всем, я же не возьму для себя и крупички, довольствуясь лишь необходимым для поддержания существования,—то вы вынуждены будете сказать: этот человек мог бы быть богатым и жить в довольстве, а между тем он беден и живет в трудах и лишениях; значит, правда то, что он говорит, и его никак нельзя считать плутом. Еще два слова, и я кончу. Многим принесло пользу то, что они встретились со мною; наша встреча может оказаться полезной и для вас. Подумайте об этом и поскорее решайтесь. Эпитимия, которую я должен выполнить, обязывает меня бродить по свету, не задерживаясь нигде более одной недели.

Эта речь, которую подеста слушал с открытым ртом и затаив дыхание, имела результатом то, что он устыдился самого себя,—как он мог плохо подумать об этом человеке.

Тем не менее, желая показать себя предусмотрительным, он отвечал, что, если бы увидел какое-нибудь из этих доказательств, охотно оказал бы ему свою помощь.



Согласившись на этом, они расстались с тем, что дон Микеле постарается как можно скорее вернуться, а тем временем сделает все необходимое, чтобы выяснить, не зарыт ли где в окрестности клад.

Настроив таким образом подесту и видя, что его обман удастся так хорошо, он тотчас же начал готовить ловушку. Он отыскал Боскерино и сказал, что ему нужна при исполнении поручения герцога его помощь. Трепеща, как осиновый лист при одном имени Валентино, тот поспешил выразить свою готовность; даже не узнав еще, в чем дело. Дон Микеле, пока еще ничего не сообщая ему, сказал только следующее:

— Жди меня за воротами, которые находятся со стороны набережной и ведут к мосту святой Урсулы.

Перемирие между двумя войсками, принятое французским военачальником, позволяло осажденным выходить за город. Боскерино явился на место в точно назначенное время; не опоздал и дон Микеле; он пришел следом за ним, неся подмышкой какой-то сверток.

Кто пожелал бы пойти за ними, увидел бы, что они прошли вдоль берега почти на милю за мост, соединявший остров с материком; затем, повернув налево, скрылись в заросли кустарников одной пустынной долины, а выйдя оттуда, вошли в древнюю церковь, небольшую и запущенную, которая уже много лет служила кладбищем.

Но чтобы не повторять этого путешествия два раза, мы дождемся глубокой ночи и надеемся, что читатель будет благодарен нам.

Скажем только, что около четырех часов дон Микеле один появился на площади города и, подойдя к подесте, который сидел у лавки цирюльника, сказал ему на ухо:

— Место найдено. Сегодня ночью, когда пробьет девять, я буду у вашего дома. Не заставляйте дожидаться себя.

Ровно в девять дон Микеле был в условленном месте. Подеста вышел к нему осторожно, чтобы не производить шума, запер дверь; тихонько, не разговаривая, прошли они улицы и темные переулки (тогда еще не было фонарей) и скоро очутились за пределами города.

Шли они долго. Слышат, в замке пробило десять, но звук был глухой и доносился неясно, словно приглушенный завыванием ветра. Они прошли уже мимо монастыря святой Урсулы и, пробираясь по берегу, приближались к разрушенной церкви. Кругом была пустынная, бесплодная равнина, заросшая низким кустарником, который становился все более непроходимым. Тропинка, по которой они шли, скоро затерялась в глубоком песке, в котором они вязли чуть не по колени. Иногда им попадались русла высохших ручьев, наполненные галькой и большими камнями, принесенными водою. Путники одолели эти препятствия, хотя каждый отнесся к ним по-своему.

Дон Микеле, привыкший больше ходить ночью, чем днем, шел впереди твердым шагом. Другой, которому за всю его жизнь не приходилось, может быть, и двух раз быть за городом после «Ave Maria», шел, задыхаясь все больше и больше, и оглядывался по сторонам, проклиная в душе ту минуту, когда он вышел из дому. И действи-

тельно, вышел он не в добрый час. Его воображение рисовало всякие ужасы, и едва ли не самым ужасным казалось ему то, что он находится один, ночью, далеко от своего дома, с человеком, которого он в конце концов совсем не знал.

Однако он по временам старался приободриться, вполголоса напевая три или четыре ноты (для пятой у него уже нехватало дыхания); иногда ему вдруг слышался шум в кустах, и при слабом блеске луны, задернутой облаками, ему казалось, будто он видит издали то прячущегося человека, который при приближении оказывался пнем или камнем, то какой-нибудь страшный образ или привидение, и тогда он потихоньку начинал читать «Requiem» или «De profundis»<sup>1</sup>. В таком расположении духа он почувтился наконец вместе со своим спутником на лесной поляне, посредине которой возвышалась церковь.

На дверях церкви были нарисованы разные скелеты: стоячие и лежащие, с митрами, тиарами и коронами на головах, державшие в руках развешивающиеся свитки, на которых были написаны разные латинские изречения, как «Beati mortui qui in Domino moriuntur», «Miseremini mei»<sup>2</sup> и т. д. И хотя при свете луны с трудом можно было прочесть надписи, однако изображения мертвых, которые были очень хорошо видны, сами по себе уже производили достаточное действие. Дон Микеле открыл фонарь и собрался войти в церковь. Подеста юстановился в нескольких ша-

---

<sup>1</sup> Заупокойные молитвы.

<sup>2</sup> Блаженны мертвые, почившие в бже. Смилюйтесь надо мной.

гах позади него и, поняв намерение своего спутника, издал жалобное: «Здесь?», в котором было столько ужаса, что это восклицание вызвало невольную улыбку на бескровных тонких губах дона Микеле.

— Теперь соберитесь с духом, синьор подеста, потому, что в таких местах страхом не много сделаешь, а могут случиться иной раз и неприятности. Тот, кто здесь находится с вами, делает все во имя божие, и чтобы показать вам, что я одним этим именем заклинаю души усопших, мы начнем с молитвы.

Тут он стал на колени и начал бормотать «Miserere» и «Dies illa», на что дон Литтерио отвечал, как только умел лучше, произнося в душе обет, что если он только выйдет жив из этого путешествия, то каждую субботу будет ставить свечу святой Фоске и соблюдать пост накануне дня поминовения всех усопших. Кончив молитву, они двинулись вперед. Полуистлевшая дверь, едва державшаяся на заржавелых петлях, подалась и чуть не рухнула наземь, когда дон Микеле толкнул ее ногою. Они вошли, раздирая чулки о колючие кусты ежевики, которыми зарос вход.

На полу церкви были разбросаны человеческие кости. Стоявшие в углу погребальные носилки, насквозь изъеденные червями и готовые рассыпаться, и несколько лопат, которые бог весть когда служили могильщикам, были единственной обстановкой этого покинутого храма. Несколько сот летучих мышей, вспугнутых вошедшими с фонарем людьми, поднялись в беспорядке, издавая пронзительный писк, хлопая крыльями о стены и ища убежища под куполом готической коло-

кольни, возвышавшейся подле главного алтаря. Место, уединение, поздний час—все это способно было если и не внушить страх, то во всяком случае настроить каждого на зловещие мысли, и бедный дон Литтерио, который, пока солнце стояло высоко над горизонтом, думал об этой минуте без особого волнения, теперь, когда она наступила, понял, как велика разница между словом и делом.

Стоя посреди церкви, скрестя руки, он смотрел на кости, разбросанные под его ногами, на позеленевшие от сырости стены, местами еще покрытые древней живописью, и ждал, когда окончится вся эта чертовщина.

Дон Микеле положил на пол принесенный им узел и, вынув из него книгу заклинаний, надел на себя черное священническое облачение, покрытое кабалистическими знаками, и со множеством всяких церемоний стал чертить на полу палочкой круг. Потом он сделал в этом круге вход и сказал подесте, чтобы тот вошел через него с левой ноги; затем, дав ему в руку амулет, начал бормотать слова латинские, греческие и еврейские, называя по именам сотни демонов и призывая их во имя предвечного творца, при этом попеременно повышал и понижал голос и делал остановки, во время которых звук его голоса продолжал отдаваться под куполом церкви. Иногда какая-нибудь летучая мышь пролетала у самого лица подесты, обдавая его ветром, между тем как он, сжавшись и трепеща всем телом, казался совершенно околоченным. Со страха он каждую минуту ждал, что вот-вот увидит, как из этих гробниц поднимутся скелеты, вроде нарисованных

на дверях церкви, и усердно молился богу, прося, чтобы тот по бесконечному своему милосердию сделал тщетными все заклинания ужасного его спутника.

В то время как он, стоя на коленях, так усердно молился, он почувствовал, что кто-то ударил его по плечу; дон Литтерио поднял глаза и увидел, что угол церкви под колокольной озарен каким-то синеватым светом и что из одного из углублений гробниц медленно-медленно поднимается человеческая фигура, одетая в длинное покрывало, в какие обычно заворачивают трупы умерших.

Привидение остановилось неподвижно; но мы не станем описывать, что сделалось при этом с подестой. Дон Микеле наклонился к его уху и сказал:

— Ну, смелее, теперь вы должны показать твердость духа; скорее спрашивайте, чего вы хотите.

Но все было напрасно: подеста не мог ни двигаться, ни отвечать, ни даже просто дышать.

Тогда дон Микеле сказал привидению на неведомом языке несколько слов, и оно вместо ответа подняло медленно руку, указывая на одну гробницу, с которой уже был сдвинут камень.

— Вы поняли? Оно говорит, что, разрыв эту гробницу, мы найдем столько флоринов, что останемся вполне довольны.

Но дон Литтерио, казалось, ничего не слышал. Видя, что нет никакой надежды расшевелить его, дон Микеле отправился к гробнице и без труда спустился в нее. Немного погодя он вышел оттуда, держа в руках железный сосуд, наполовину покрытый землей, и подойдя к тому месту, где

подеста продолжал стоять, не в силах пошевелить и пальцем, рассыпал перед ним множество золотых монет, или, по крайней мере, монет, казавшихся золотыми; однако и вид этих монет не мог вдохнуть жизнь в тело того, кто подверг себя такому испытанию, чтобы добыть их.

Еще последняя монета не успела упасть на кучу других, как вдруг с шумом распахнулась дверь, и в церковь ворвались пятнадцать или двадцать человек с разбойничьими лицами, вооруженные копьями и бердышами, и в одну секунду схватили наших обоих молодцов, приставив им оружие к горлу и к груди.

Дон Микеле едва успел ухватиться за меч, но, почувствовав, что четыре или пять ножей распарывают его плащ и некоторые уже задевают его тело, понял, что ему лучше стоять и не двигаться, так как иначе он не будет жив.

Подеста уже и раньше был перепуган так, что это новое приключение не могло произвести на него никакого видимого действия. Он продолжал оставаться, как был, с широко открытыми глазами; голова его ушла в плечи, руки невольным движением сплелись, и сухие и костлявые пальцы глубоко вонзились в кожу. Сдавленным голосом он только проговорил:

— Не убивайте меня, я нахожусь в смертном грехе.

Во время происшедшего смятения фонарь опрокинулся и осветил снизу эту странную компанию бандитов, которые несколько минут оставались неподвижны, пока не убедились, что двое схваченных ими людей не могут и не собираются защищаться.

Шайка, казалось, состояла из тех недобрых людей, которых в те времена называли мародерами. Теперь их называют просто разбойниками; они были разбойниками и тогда, но упомянутое название специально давалось шайкам, составленным преимущественно из беглых солдат, бросивших свои знамена и соединившихся под начальством какого-нибудь вожака, чтобы грабить по деревням и творить всевозможные насилия.

Некоторые из этих разбойников были в одном нагруднике или кирасе, другие только в железном шлеме; кто с мечом, кто с кинжалом, кто с ножом, многие в остроконечных шляпах, на которых развевались перья и ленты, и почти все на груди или на голове носили изображение какой-нибудь богородицы. Многие вместо башмаков носили сафьянные сандалии, в которых им было легче двигаться и карабкаться по горам.

О лицах их не приходится и говорить. С длиннейшими бородами и усами, нечесанные и растрепанные, они при свете фонаря казались сорвавшимися с цепи демонами.

Один из них, бросив на землю пику, которую приставил было к горлу подесты, сорвал у него и у его товарища с поясов висевшее на них оружие и разорвал их одежду, чтобы увидеть, не было ли у них спрятано про запас еще какого-нибудь другого.

Во время этой суматохи привидение, сбросив с себя саван, сделалось человеком с этого света и, зная, что времени терять нельзя, вскарабкалось вверх по стенке колокольни; сев там на перекладине и ухватившись за выдающиеся из стены камни, оно ожидало удобного случая, чтобы



улизнуть, а пока, оставаясь в темноте и никем не замечаемое, прекраснейшим образом наблюдало за тем, что происходило в церкви.

Между тем начальник разбойников, молодец, которому можно было дать лет семнадцать, но страшный с виду и крепко сколоченный, с рубцом, рассекавшим по всей длине его лоб и приподнимавшим его брови на целый палец, ударил подесту ногою в бок, отчего тот подскочил, издав какое-то мычание, как люди, утратившие способность речи. Нельзя было придумать более действительного средства, чтобы исцелить подесту от его столбняка; он поднялся, не ожидая повторения. Разбойники отвели его и дону Микеле в угол, связали их и приставили к ним нескольких своих в качестве караульных, а другие тем временем принялись за золото и стали считать его при свете фонаря. Окончив счет, они сложили его в кожаный кошель, висевший у атамана на поясе, и вышли все вместе, поместив посредине пленников, которым они с учтивостью, принятой у людей этого сорта, приказали идти быстрее, если им не угодно отвечат кинжала.

Пойдя с полмили вверх по склону холма среди мест, где не было видно и следа проторенной дороги, они остановились и завязали обоим пленным глаза. От страха у подесты обнаружился голос, и он начал упрашивать их, плача, как ребенок, но это только забавляло разбойников, и они не мешали ему продолжать свои завывания.

А дон Микеле, который ждал, что эта остановка может окончиться хуже, процедил сквозь зубы: «Чорт возьми, тут нам крышка!» Он решил попытаться войти с разбойником в переговоры, чтобы

выбраться из их рук, но при первом же слове ему заткнули рот кулаком так неосторожно, что у него два зуба проскочили в горло. Не имея возможности ни видеть, ни говорить, он наострил уши. Он слышал, как разбойники спорили между собой из-за дележа денег и пленников; слышал, как они говорили о выкупе и делали предположения, кто бы из двух мог заплатить больше. Среди голосов людей, говоривших на различных наречиях, которые все, однако, были итальянскими, он расслышал один, произносивший слова с иностранным, скорее всего немецким акцентом; но его наблюдения были прерваны в самый решающий момент, и он почувствовал, как его схватили несколькими рук и взвалили на плечи двух человек, которые, расставшись с остальной компанией, двинулись в путь, причем он не мог угадать, какое они приняли направление.

Путешествие продолжалось более часа и прерывалось остановками, во время которых дон Микеле не слишком осторожно скидывался на землю, и носильщики предавались отдыху. Между тем дон Микеле, который при всей своей храбрости не мог не испытывать вполне естественного страха в предположении, что эти негодяи могут зарезать его, как собаку, и которого беспокоили и связывавшие его веревки и неудобное положение на чьей-то спине, обложенной в панцырь, острые углы которого впивались ему в тело,—дону Микеле вся эта история начинала очень надоедать.

Наконец они остановились. Послышался шум отворявшихся огромных ворот. Они вошли, и ворота снова с шумом захлопнулись за его спиной. Здесь дон Микеле развязали и, отведя его на

несколько шагов вперед, сняли у него и повязку с глаз. Он очутился в комнате, в которую через щель слегка проникал свет луны. В одной из стен была маленькая и низкая дверца, с многочисленными засовами; она была отворена, и дон Микеле услышал, как чей-то голос сказал ему: «Ступай туда». Он наклонился, чтобы войти, и пока он пробовал одной ногой, нет ли там ступенек, толчок тупым концом копья, помог ему добраться до лесенки, и притом таким образом, что он при всем желании не мог бы сосчитать, на сколько ступенек он спустился вниз. Засов, который со скрипом вошел на свое место, показал дону Микеле, что уже не было надежды выйти в эту дверь.

Место было чрезвычайно темное. Он начал ощущать рот, который у него очень болел от полученного удара; руки его оказались мокры (он понял, что это была кровь), и ему удалось также выяснить, что с настоящего момента ему будут служить не тридцать два зуба, а только тридцать.

— Если бы черт задушил тебя вместе с твоим отцом, как он обязан был это сделать, я бы не растерял тогда своих зубов,—сказал он, мысленно обращаясь к тому, кто послал его на это предприятие.

Однако он всеми силами старался приободриться и, протянув вперед руки, попробовал ощупью определить, где он находится. Он обнаружил, что из одной щели сверху пробивается слабый свет, и ему показалось, что он слышит, как снаружи ударяет о стену морская волна. Пробуя кругом ногами, он наткнулся в одном углу на мягкую массу соломы и растянулся на ней в ожидании, что ему пошлет дальше судьба.



## ГЛАВА X

Читатель, конечно, уже догадался, что привидением было не кто иной, как Боскерино.

Ему остается еще узнать, каким образом шайка мародеров оказалась наготове, чтобы разрушить плутовскую затею дона Микеле. А дело обстояло следующим образом.

У дона Литгеро была милостивая и свеженькая служанка, которая давала повод усомниться насчет его супружеской верности. Эта девушка, вынужденная выслушивать вздохи своего пятидесятилетнего господина, не оставалась глухой

и ко вздохам молодого конюха, служившего у него. Благодаря этой любовной цепи тайна подесты, который ночью собирался идти добывать клад, дошла и до конюха.

Последний был в дружбе с некоторыми из шайки Пьетраччо (так звали атамана мародеров) и устроил так, чтобы в случае, если будет найден клад, частица попала в его карман, вместо того чтобы целиком пойти в кошелек его господина.

Теперь, прежде чем мы вернемся к дону Микеле, необходимо, чтобы читатель получил представление о местности, где происходили описываемые нами события.

В конце моста, ведущего на островок святой Урсулы, была четырехугольная башня, почти такая же, как та, какую встречают на Ламентанском мосту путешественники, отправляющиеся из Рима в Сабину. Вход в нее был загражден тяжелыми воротами, решеткой, которую можно было опустить, когда было нужно, и подъемным мостом.

По витой лестнице можно было подняться на два верхних этажа, где помещались комендант и солдаты; на самом уже верху башни была площадка, окруженная зубцами, между которыми виднелись отверстия для двух фальконетов.

Аббатисса монастыря, облеченная правами феодальной владетельницы, держала там на страже отряд из восьмидесяти копьеносцев и пищальников, предводимый одним немцем, Мартином Шварценбахом—наемным солдатом, который находил для себя более удобным сидеть сложа руки в этой башне, где хорошо платили и еще лучше кормили, чем влачить жизнь в поле и на войне, где, как ему известно было по опыту, приятное занятие

разбоем и грабежом часто нарушалось аркебузной пулей или острием пика. У него были три господствующие страсти: быть подальше от потасовок, грабить и пить апулийского вина столько, сколько мог вместить его желудок, которому в этом отношении нечего было завидовать бочке.

Об этих его наклонностях можно было прочитать у него на лице; о двух первых—в его глазах, в которых в одинаковой степени отражались жадность и трусость; о последней же страсти говорил чрезвычайно яркий румянец, который, оставляя бледным все остальное лицо, всецело сосредоточивался на щеках и носу. Борода у него была редкая и такого же цвета, как у козла, губы лиловые, а тело сложено так, что могло бы противостоять всем тяготам военной службы, если бы попойки не сделали его в сорок лет дряблым и изможденным, словно ему было уже семьдесят.

Служебные обязанности его состояли в том, чтобы запирать по вечерам ворота. Войска, действовавшие в окрестности, не имели неприязненных намерений против монастыря, и потому опасаться их было нечего. Шайки мародеров, бродившие по стране, не осмелились бы осадить восемьдесят человек, запертых в крепкой башне, вооруженной двумя фальконетами. Была тут еще и другая причина, позволявшая Мартину Шварценбаху спать спокойно, хотя бы он и был окружен этими людьми. Он условился с аббатиссою охранять монастырь, но не считал себя в силу этого обязанным в одинаковой мере быть охранителем и защитником червонцев, флоринов и имущества обитателей тамошних окрестностей или

людей, случайно проходивших по ним. А так как он не мог открыто шарить в чужих карманах, то принял участие в предприятиях Пьетраччо и оказывал ему поддержку, посылая, когда этого требовало их общее дело, на помощь ему своих солдат, а также укрывал у себя деньги, имущество и даже людей, если попадались такие, за которых можно было рассчитывать получить большой выкуп.

Все это производилось им с такими предосторожностями, что потерпевшие скорее обвинили бы кого угодно, но только не Мартина, за которым только всего и было, что он слыл первым пьяницей в околотке.

В его-то руки и попал дон Микеле, который провел всю ночь в раздумьи, не будучи в состоянии никак угадать, где он находится. На заре он услышал три пушечных выстрела, которые, по обычаю, каждый день производились с барлеттской крепости. Ему удалось кое-как вскарабкаться к бойнице, через которую проникал свет, но отверстие ее до того заросло плющом, что через него нельзя было увидеть ничего, кроме небольшой полосы моря. Оставшись там не надолго, он увидел, как мимо проплыла лодка, нагруженная овощами, и в том, кто ею управлял, он узнал садовника монастыря святой Урсулы; теперь он почти с уверенностью мог сказать себе, что находится в подвале башни, защищавшей вход в монастырь.

Едва успел он спуститься вниз с места, откуда сделал свое наблюдение, как дверь тюрьмы отворилась, и два здоровенных бандита вытащили его оттуда и велели ему идти по лестнице вверх, в комнату командира.

Последний только что поднялся с постели и сидел совершенно раздетый на краю своей походной кровати перед столом, на котором еще разбросаны были остатки после вчерашней попойки. Вешалка, обходявшая по стене вокруг всей комнаты, была вся увешана копьями, аркебузами, их подставками, железными нагрудниками и другим вооружением. Командир взглянул на вошедшего дона Микеле, причем, казалось, ему было очень трудно поднять морщинистые отяжелевшие веки, и, постукивая каблуком сапога по полу, сказал:

— Ты должен знать, господин,—не знаю, как тебя зовут по имени,—что тот, кто проводит ночь в моей гостинице, уплачивает сто флоринов золотом в монетах по десять лир флорентийской чеканки или, если это ему больше нравится, чеканки монетного двора святого Марка. В противном случае веревка и камень на шею да морская ванна избавят его от необходимости платить по счету. Выбирай, что для тебя выгоднее.

— Что выгоднее для меня, то не будет выгоднее для тебя,—спокойно отвечал дон Микеле.—Вчера вечером вы захватили нас двоих, но мы были не одни в той церкви. Там был еще кто-то, кого вы не заметили; он видел вас, ты ему знаком, и сейчас в Барлетте уже узнали про ваши разбойничьи дела, так что скоро искупаться в море придется тебе, а не мне, если только ты не найдешь способа воспрепятствовать трем или четырем стам каталонцев или страдиоттов разбить вдребезги ворота этой башни, или не сможешь уговорить их повесить тебя на одном из башенных зубцов, вместо того, чтобы заставить тебя за-



ключить мир с водою, которой, как я вижу, тебе пришлось бы отведать первый раз в жизни.

Эта мысль пришла ему в голову при виде полубочонка с вином, который немец держал у изголовья кровати вместо изображений святых и креста.

Дерзкий ответ покоробил коменданта, и он, надвинув на глаза колпак, сказал:

— Если ты думаешь, что имеешь дело с мальчиком, и хочешь испугать меня своим бахвальством, то прежде всего я заявляю, что не верю тебе, а затем, —если бы даже и пришли сюда твои албанцы или какие там еще дьяволы, у меня есть достаточно причин не бояться ни их, ни моря, ни башенного зубца, и я не представляю себе, кто бы мог помешать мне вздернуть тебя хоть сейчас же на веревке. Но я все же предпочту услышать звон твоих флоринов, чем карканье ворон, которые слетятся клевать твои глаза. Итак, обратимся к делу: тебе придется написать письмецо, чтобы прислали тебе денег, а затем убирайся по-добру—по-здорову, куда тебе угодно.

Дон Микеле, не торопясь отвечать, смотрел на него с насмешливой улыбкой человека, который, несколько не боясь за себя, находится в нерешительности, принимать ли ему слышанное за шутку, или всерьез. Комендант готов был уже разразиться гневом и проявить его не только на словах, но его предупредил ответ доня Микеле:

— Комендант, флорины тебе угодны, но и вино тебе не противно; ты, вероятно, хороший товарищ. Таков и должен быть настоящий солдат: плут, обжора и не слишком богомольный. Какой же тебя черт наставляет изображать из себя

злюку? Послушай, я хочу, чтобы мы были друзьями. Правду сказать, ты мне должен был бы заплатить за ту ночь, которую заставил меня провести здесь; и если бы только не... Но ладно, я тебе ее прощаю и, напротив, хочу даже доставить тебе барыш...

Тут юн обернулся и посмотрел на двух солдат, которые привели его и продолжали держать его за руки.

— Скажите, молодцы, у вас нет никакого дела? Что вы стоите около меня, словно разбойники около господа нашего Иисуса Христа? Ступай, мой красавчик, — сказал юн, вырвавшись от одного из них и шутя ударив его по лицу; потом, освободившись таким же образом от другого, он продолжал: — Ступай, ступай и ты тоже; мне вас не нужно, я держусь на ногах и без вас. Лучше идите и присматривайте, не покажется ли кто-нибудь на барлеттской дороге. А я тем временем скажу несколько слов его милости. Вы видите, у меня нет оружия, а проглотить его натошак я тоже не собираюсь; у меня, чорт возьми, вкус получше!

Солдаты, которые не меньше, чем сам Мартино, были поражены такой развязностью, в недоумении смотрели на своего господина, желая прочесть на его лице, что он думает. Он утвердительно кивнул головой, и они вышли. Но, оставшись один с доном Микеле, он почел за благо-разумное подняться на ноги и держаться от донна Микеле на расстоянии взмаха мечом.

— Комендант, ты просил у меня сто флоринов за выкуп... Я не думал, что стою так мало, и, чтобы научить тебя дорожке ценить таких лю-

дей, как я, даю тебе двести! (Немец широко раскрыл глаза, и во рту у него собралась слюна.) Да, да, двести; но это сущие пустяки... Вот если бы ты решился служить мне со старанием и верой... О, тогда бы я создал для тебя такую жизнь, что ты и сам не поверил бы себе. Что ты скажешь на это? Впрочем, все это ни к чему; для этого надобно быть человеком расторопным, уметь и поговорить и помолчать во-время, словом, не иметь такой кислой физиономии и таких заспанных глаз, похожих на постную похлебку.

Мартин, пораженный такой самоуверенностью, думал, что ему все это мерещится, и у него в голове зарождалось множество предположений. Не попал ли ему в руки какой-нибудь переодетый принц или какая-либо другая важная особа? Однако, не будучи в состоянии ни на чем остановиться и не допуская, чтобы в его владении с ним обходились так непочтительно, он отвечал:

— Во имя бога или дьявола, который вас занес сюда, скажите, кто вы? И что вам нужно? Говорите, потому что мне это надоело, и я не хочу быть ничьим шутком.

— Легче, легче! И не горячитесь, а то вот возьму да и ни слова не скажу вам более, и это для вас будет хуже. Итак, знайте...

Вошедший солдат прервал донна Микеле, сказав:

— Командант, на барлеттской дороге видна пыль; похоже, что конница; по крайней мере так говорит Сандро, который видит лучше всех.

Немец вздрогнул и посмотрел на своего пленника, который со злобной улыбкой сказал ему:

— Я ведь говорил вам. Но вы не бойтесь. Нужно только благоразумие, и все окончится хо-

рошо. — Ступай, — сказал он солдату, — и если узнаешь что-нибудь новое, сообщи. Итак, вы должны знать, что здесь в монастыре имеется одна особа, содержимая людьми, называть которых нет надобности. Она предпочла бы, конечно, наслаждаться жизнью на свободе, чем видеть одни только свечи да кресты. Но здесь требуется чистая работа. Если в ту или другую ночь сюда подойдет барка с пятью или шестью молодцами, чтобы увезти ее, и комендант услышит, что какая-нибудь собака залает или какой-нибудь тоненький голосок закричит о пощаде (ты ведь знаешь женщины кричат за два часа прежде того, чем их тронут), то пусть он не изволит беспокоиться, пусть думает, что это сон, повернется на другой бок и продолжает храпеть; за эту пустую услугу ему достанутся, словно с неба свалятся, пятьсот новеньких червонцев чеканки монетного двора святого Марка, а если он пожелает, можно и с лилией; а потом, того гляди, и место получше, чем это прибежище святош.

Бедный Мартин, который при множестве пороков имел одно хорошее качество — быть верным тому, кто ему платит, при этом столь выгодном для него предложении почувствовал, что может лишиться и этой последней добродетели. Но так как, по общему закону жизни, в мире нет ничего ни абсолютно хорошего, ни абсолютно плохого, то он избежал этого окончательного крушения и отвечал, стараясь представиться оскорбленным, хотя в тоне его и чувствовалось больше жалобы, чем гнева:

— Мартин Шварценбах служил Милану, Венеции и императору во время его походов, но он

никогда никому не изменял. Аббатисса монастыря святой Урсулы заплатила ему сполна за весь декабрь 1503 года. Если ваша милость какой-нибудь... ну, как сказать... какой-нибудь владетельный князь, или вы набираете войско для какого-нибудь итальянского князя и хотели бы взять меня к себе на службу, хорошо, потолкуем об этом; я покажу вам мой ютряд: пятьдесят копий и тридцать карабинов, все в возрасте от двадцати до сорока лет, а что касается вооружения, то сами увидите, — без изъяна все до последней застежки. Если мы сойдемся, то первого января 1504 года, если вам будет угодно, мы нападём на монастырь и вынесем отсюда всех монахинь, вплоть до кухарки. Но прежде этого времени, пока у меня останется хоть один пороховой заряд и один кинжал, никто не тронет и волоса ни у монахини, ни у последней послушницы.

— Но неужели вы думаете, сеньор Мартин, что я не знаю, в чем состоят обязанности человека, занимающего ваше положение? Неужели вы полагаете, что у меня хватило бы духу предложить вам подобный безобразный поступок? Не знаете вы меня, я вижу. Особа, о которой идет речь, не монахиня и не послушница и связана с монастырем не больше, чем этот полубоченок, которым вы так дорожите. Бог да благословит вас! Видно, что вы честный человек и понимаете: когда можно идти потихоньку, глупец тот, кто несется бегом, и когда можно спать под кровом, с полукружкой доброго греческого вина, то только дурак спит на соломе и с остывшим желудком; а кто может заработать пятьсот флоринов без всякого труда, сохранив при этом честь и божье заступничество,

тот должен иметь в виду, что такое счастье не каждый день сваливается с неба, как с дерева фиговый цвет... Итак, если хотите беседовать серьезно, то мы поладим; но решайтесь скорее, так как конница, о которой я вам говорил, в дороге долго не задержится.

Добродетель Мартина, как и у большинства подобных ему добрых малых, была способна к уступкам, и потому он отвечал:

— Если только дело не касается монахинь, то, конечно, может быть другой разговор.

Пока дон Микеле раздумывал, нужно ли сейчас же открывать Мартину, кто такая та женщина, которую он собирается похитить, происходящая за дверьми ссора между двумя солдатами и какой-то старухой прервала их разговор.

— Чорт бы тебя задушил, проклятая горбунья! Тут есть кто-то у коменданта, и у него своих дел много, чтобы еще разбирать твои дела!— так кричал один из солдат, удерживая и не пропуская старуху небольшого роста, горбатую, с двумя мутными глазами, окаймленными красными веками. Она уже наполовину просунулась в дверь, но солдат продолжал держать ее за то место, где шея сходится с туловищем, и так оттянул ей кожу, что ее рот скопился на три пальца в сторону. Старуха впилась в держащую ее руку своими стальными ногтями, отчего солдату скоро пришлось отпустить ее; отскочив, как спущенная пружина, она ухватилась за дону Микеле, избежав удара кулаком, от которого бы ей не поздоровилось.

— Что получил, чортов сын?— кричала она, обращаясь к солдату, который, слизывая кровь

с царалипы, смотрел на старуху, как овчарка смотрит на кошку, которая только что потрепала ей рыльце.—Получил? а если попробуешь еще раз, то еще хуже достанется.

— А ты, поганая колдунья, попробуй-ка еще притти, когда я буду на часах... «Сандро мой, ради бога,—произнося эти слова, он заворачивал нижнюю губу за зубы, стараясь подражать голосу старухи,—пусти меня в монастырь... только на минуточку, сказать два слова той иностранке, чтобы она дала мне немного корпии для Сканнапрете, который ранен, и немного порошка для Пачокко, у которого лихорадка»... Болячек тебе в брюхо,—здесь он заговорил своим естественным голосом,—тебе и тем, кто тебя посылает! Приди только еще, попробуй, останешься довольна. Пусть велят вырвать у меня из горла язык, как Валентино—да наградит его господь!—велел вырвать у этого плута, твоего господина, если я не отправлю тебя, колдунья Ивановой ночи, с напутственной проповедью, которой ты заслужи-ваешь.

Старуха нашла бы, что отвечать, и не нарушила бы одного из основных законов женского устава,—именно, никогда не умолкать первой; но она спешила скорее сказать то, что было для нее важно, а потому, ничего не отвечая, повернулась к Сандро задом, с таким презрительным движением, что описать его невозможно; скорее можно его себе представить.

— Если вы сами тут не распорядитесь,—обратилась она к коменданту,—то начнется хорошая история. Там наверху этой ночью был просто ад. Компания явилась за час до рассвета. Они прита-

щили с собой то мерзкое животное, которое вы захватили вчера вечером... Пресвятая дева! У него был такой вид, словно он уже три дня как умер. Но скоро он избавился от своего страха. Пьетраччо зарезал его, как молодого козленка.

— Как?!—вскричали Мартино и дон Микеле в один голос,—убили подесту? За что? Где? Как?..

— Ну, что мне отвечать вам? Пресвятая дева богородица! Пьетраччо хотел растолковать ему, что он должен заплатить столько-то червонцев выкупа. Но может ли человек что-нибудь сказать, когда у него отнялся язык? Он стоял, уставившись в одну точку, неподвижными стеклянными глазами, казался, был где-то в другом мире, а не в здешнем. Тогда господин написал ему на бумаге, что требовалось, и хотел, чтобы он прочел. Но этим еще больше испортил дело: он стал теперь, как статуя святого Рокко в бельфйорской часовне. Тут Пьетраччо влепил ему три или четыре пощечины, да каких! Никакого действия. Наконец Пьетраччо взорвало—а вы знаете, когда его взорвет!.. Как всадит ему сразмаху нож вот сюда, под ложечку, да поведет все ниже, ниже,—словом, распорол ему живот до самого низу; уж что до работы ножом, то упрекнуть его нельзя: он пристыдит и стариков. Что поделаешь с ним! Беспутный мальчик! Я сколько раз говорила его матери: «Гита, твой мальчуган слишком много воли дает своим рукам»... Но образумить его нет возможности.

Эти новости и то, как они были рассказаны, хотя и по разным причинам, так поразили обоих слушателей, что они не нашли слов для ответа.

Старуха между тем продолжала:



— Одним словом, я кончу, да и пойду домой, ведь я на ногах со вчерашнего дня. Мы было легли, чтобы соснуть часочек, но вдруг прибегает Золотое Яичко: «Вставайте, вставайте скорее, полиция, стража!» Нечего делать, пришлось вставать. Они уже были под Малагроттой и скакали на почтовых; мы давай улепетывать на собственных ногах на гору. Теперь все они там заперлись в гроте Фоконьяно, без кусочка хлеба и без глотка воды, а тех—человек двести, полицейские и солдаты. Дай бог, чтобы кому-нибудь не досталось на водку еще до праздника. Ну, поднимайтесь же, да поскорее, надумайте, как бы помочь... Ведь если найдут убитого подесту... Пресвятая дева! То-то будет беда! А затем Гита велела сказать, чтобы не забывали, что им нечего есть; смотрите, как можно скорее присылайте чего-нибудь.

Сказав эти последние слова, она увидела на столе остатки ужина и, не спрашивая позволения, быстро схватила их и наполнила передник объедками хлеба, кусками мяса и фруктами, выпила в тыквенную баклагу, которую носила на перевязи, остатки вина, выпила, что не вместилось туда, и обтерев рот кулаком, вышла, оттолкнув в сторону Сандро, который загораживал ей путь, и проделала все это, не сказав ни слова обоим.

Мартин терялся во множестве сразу навалившихся на него дел, и голова его не могла с ними управиться. Заложив одну руку за спину и подперев другой рукой подбородок, он расхаживал по комнате, покачивая головой и отдуваясь. Внезапное появление посланных из Барлетты людей побуждало его верить дону Микеле, который так верно предсказал все, и убеждало в том,

что он действительно высокая особа, за каковую себя выдавал.

Мартин решил прежде всего поладить с доном Микеле, чтобы тот не выдал его, когда явятся посланные для розыска убийц подесты. Поэтому, оставив всякую гордость, он стал чуть не умолять дона Микеле, говоря, что тот может полностью располагать им, и обещая ему свою помощь в задуманном им деле.

Едва они успели сговориться, как послышался топот лошадей, всходивших на мост, и раздался звонкий и сильный, как труба, голос, который прокричал несколько раз: «Комендант! Шварценбах!» Он вышел и увидел, что там Фьерамоска и Фанфулла из Лоди во главе отряда всадников.

Читатель вероятно помнит, что видел имя последнего в списке итальянских бойцов.

Среди всех итальянских воинов того времени не было никого отчаяннее его. По всякой ничтожной причине, а чаще всего без всякой причины он подвергал свою жизнь самым большим опасностям. Никогда ни над чем не задумываясь, он старался только о том, чтобы веселиться и при случае пускать в ход руки. Гибкий, как леопард, весь в мускулах, он был строен и прекрасно сложен; казалось, будто природа, зная, что в нем должна быть душа дерзкая до безумия, постаралась сделать его таким, чтобы он был способен переносить самые опасные испытания. Сын человека, служившего у Джироламо Риарио, он с самого детства всегда был среди оружия и побывал на службе у всех итальянских государств, ибо ссоры, неповиновение и собственное его непостоянство заставляли его каждый раз искать

себе нового господина. Флорентийцы были его последними хозяевами, и он убежал от них после вот какого происшествия.

Когда флорентийцы осаждали Пизу, они пошли однажды на штурм города, и Пиза была бы взята в тот же день, если бы Паоло Вителли, флорентийский кондотьер не велел протрубить отбой и не удержал, прибегая даже к побоям, своих солдат, которые с отчаянной отвагой, ободренные первыми успехами, ринулись в бой. За этот поступок, который во Флоренции был сочтен за измену, Вителли, как известно, заплатил впоследствии жизнью. Фанфулла, вечно во главе передовых, взобрался по лестнице наверх стены и ухватился за зубец; размахивая мечом, он очистил себе дорогу, взобрался уже на самую стену и так отчаянно рассыпал во все стороны удары, что другим ничего не стоило последовать за ним.

Но в эту минуту затрубили отбой, и он остался один. Он не мог помириться с мыслью, что должен отступать. Но пришлось, и он спустился со стены, негодую и мыча от бешенства, осыпаясь градом дротиков, камней, пуль, которые, впрочем, не причинили ему ни малейшего вреда.

Целый и невредимый вернулся он в лагерь, мчась как сумасшедший и ругая всех попадавшихся ему навстречу. В палатке главнокомандующего флорентийские комиссары держали совет с Вителли. Фанфулла в бешенстве ворвался к ним и, называя их предателями, начал попавшейся ему под руки палкой избивать всех, не думая о том, кому, как и за что достается; посыпался град ударов, подножек, пинков, толчков, и потому ли, что он был силен, или потому, что напа-

дение было неожиданно, но он произвел такой переполох, что все избитые, очутились на земле, один на другом, прежде чем могли распознать, кто виновник всей этой кутерьмы.

После такой выходки он, как легко себе представить, не сказав никому «до свиданья», вскочил на коня и уже был далеко от лагеря, когда побитые им военачальники, оправившись и став на ноги, отдали распоряжение схватить его.

Покинув таким образом флорентийцев, он поспешил к Просперо Колонна и теперь находился в Барлетте с остатком своего отряда.

Когда Боскерино принес известие, что подеста захвачен мародерами,—оно было передано им в такой форме, чтобы не навлечь на него подозрений,—городская стража в Барлетте всполошилась. Она тотчас двинулась вместе со своим начальником в горы. Фьерамоска и Фанфулла с несколькими всадниками последовали за ними и, отравив вперед стражу, сами остались охранять выход из долины, в которой находилась церковь.

Стражники передали им двух пленников, которых захватили с большим трудом, и они отвели их в башню, где начальствовал Мартин Шварценбах.

Спустившись к воротам, комендант увидел двух негодяев, окруженных солдатами и ожидавших, когда откроется дверь тюрьмы. Один был начальник шайки, Пьетраччо,—свирепый детина, напоминавший своим телосложением и выражением лица дикаря, со взлохмаченным чубом рыжеватых волос, падавших ему на глаза, с голыми руками, еще запачканными кровью подесты; они были

крепко связаны теперь у груди веревкой, врезавшейся в тело. Он смотрел исподлобья, и глаза его блуждали, как у волка, понавшего в западню. Другим пленником была женщина высокого роста и прекрасно сложенная; однако испытания, преступная жизнь и отчаяние, в котором она находилась сейчас, были причиной, что она казалась старше своих лет. Рана в голову, полученная ею, когда она защищалась, не позволяла ей идти, и потому двое солдат принесли ее на руках. Ее сложили на мостовую, и от этого толчка усилилась боль от раны; она открыла глаза и издала глубокий вздох, между тем как со лба ее хлынула кровь и потекла по лицу и по груди. Отворили тюрьму, в которой провел ночь дон Микеле, и бросили их туда обоих вместе, оставив их связанными, как были.

Разделавшись с ними, солдаты вернулись, чтобы взять; если окажутся, других пленных. Фанфулла поднялся наверх в комнату коменданта, а Этторе воспользовался этим временем, чтобы пойти в странноприимный дом.

Две женщины, не ожидавшие его в этот час, были поражены, когда его увидели, и после первых приветствий они наконец узнали причину, которая привела его в монастырь. Рассказывая про погоню за разбойниками, он сообщил им, что вместе с атаманом шайки была схвачена женщина, которая, заслонив собою вход в пещеру, где спрятались разбойники, ранила нескольких стражников и билась до тех пор, пока не упала, раненная в голову.

Джиневра, тронутая несчастной судьбой пленников, решила помочь им. Она встала и, взяв

все, что ей казалось нужным, из шкафа, в котором у нее хранились всевозможные порошки и мази, просила Фьерамоску пойти к коменданту за ключами темницы.

Фьерамоска тотчас же отправился и по витой лестнице поднялся в комнату Мартина. Приблизившись к двери, он услышал громкое топание ног и не мог понять, что это значит. Он толкнул дверь, которая была притворена, и увидел, что Фанфулла посреди комнаты, держа в руках огромный меч, который он снял с вешалки, играет им словно палочкой. Он фехтовал, описывал мечом круги, делал выпады и пробные удары, размахивая мечом с такой быстротой, что его едва было видно в воздухе, и если бы ему пришлось защищаться против целого войска, он не делал бы этого иначе. Этторе, который хотел войти, отступил назад, боясь, как бы тот его не парашнул, и смотрел с улыбкой на этот безумный турнир, который тот продолжал, не подозревая, что за ним следят. Удары, которые он теперь направлял в воздух, на беду хозяина не все были невинного свойства. Нечаянно ли или по злобному умыслу, один из них окончил долгую службу полубоченка, и тот теперь лежал под кроватью разрубленный надвое, как орех, а содержащее его тело и скопилось в самой низкой части пола.

— Поздно в нынешнем году спеживается вино, — произнес, наконец, со смехом Фьерамоска, и Фанфулла, обернувшись на его голос, уронил к ногам своим огромный меч и бросился навзничь на кровать с таким шумом и хохотом, что казался сумасшедшим.

— Какого чорта ты тут наделал, бешеный?

Посмотрите, пожалуйста! всего полчаса как мы здесь, а он натворил больше убытку, чем отряд каталонцев за целую неделю... А где же Мартин?

Наконец Фанфулла успокоился и сказал:

— Недавно он был здесь и поворил, что тяжелым мечом умеют владеть одни лишь швейцарцы да немцы; я ему отвечал, что он прав, и просил его немного поучить меня; я стал пробовать, как умел, и, сам не знаю как, задел боченок (пусть меня повесят, если я это сделал нарочно!) Тут он взбесился чорт знает до чего. Такая скотина... не хочет принять никаких резонов! Ведь знал же он, что мы, бедные итальянцы, не умеем держать меч в руках! Словом, мы наговорили друг другу нехороших слов, и он ушел, ругаясь и грозясь. Как бы ты поступил? Не желая драться с таким фехтовальщиком, как он, я послал его ко всем чертям и крикнул ему вдогонку: «Если бы вы пожелали спуститься вниз на луг перед башней, я хватил бы вас тогда по вашей немецкой тылке и доказал бы вам, что ваш боченок пострадал лишь по ошибке».

— А что он тебе отвечал?!

— Чтобы я убирался от него, что он меня видеть не может.

Сказав это, Фанфулла со смехом бросился на кровать и стал кататься по ней, сбрасывая с нее все, что на ней было.

Так обстояло дело к приходу Фьерамоски. Командант, не желая связываться с этим дьяволом, а с другой стороны, огорченный до глубины души потерей своего вина, поднялся, ругаясь по-немецки, на второй этаж, где скрывался дон Микеле. Слушая из этого своего укрепления, что расска-

зывал о нем Фанфулла, он по временам произносил какое-нибудь ругательство, на которое Фанфулла отвечал таким же, вставляя его вскользь и продолжая свой рассказ.

Фьерамоска, не любивший таких шуток, решил вмешаться, и ему стоило большого труда примирить их. Мартин спустился вниз, Фанфулла со смехом ушел, а Этторе, который тоже едва удерживался от смеха, сообщил ему о желании Джиневры посетить темницу и, уговаривая его добрыми словами, просил отпереть ее.

Между тем комендант поднял две половины боченка и, пользуясь тряпкой, которую обмакивал как губку в пролитое вино, а затем тщательно выжимал в сосуд, старался спасти то, что еще уцелело в этом бою. Услышав про желание Джиневры, он сказал, бормоча, под нос:

— Вот вам! И разбойники находят людей, которые о них заботятся,—а бедняга, занимающийся своим делом и не причиняющий никому никакого зла, встречает сумасшедшего, который переворачивает весь его дом!

— Любезнейший мой синьор Мартин, вы правы тысячу раз; но вы понимаете, что я тут совершенно не виноват.

— А я, что ли, тут виноват? Разве я ходил просить его, чтобы он развлекался в моем доме?

Фьерамоска продолжал настойчиво упрашивать его.

— Ну, хорошо, хорошо, приходите сюда через полчаса, и я вас впустил в тюрьму... Всем бы вам там передохнуть,—проворчал он сквозь зубы, но Фьерамоска уже был на середине лестницы и не мог его услышать.





## ГЛАВА XI

Задержание Пьетраччо и его матери было событием, которое могло иметь важные последствия для Мартина и нарушить осуществление планов донна Микеле. Они вдвоем обсудили этот вопрос и пришли к соглашению, что необходимо дать возможность разбойнику бежать; если бы его отвели в Барлетту, он мог бы раскрыть поведение коменданта. Но нелегко было найти способ, как осуществить это таким образом, чтобы ответственность не пала на того, кто обязан был его охранять.

Когда Фьерамоска пришел просить у Мартина разрешения посетить тюрьму, тот, еще не успокоившись после ссоры с Фанфуллой, не мог с первого раза решить, испортит ли это или, наоборот, устроит его дело. Однако у него хватило догадки на то, чтобы оттянуть время, так как он рассчитывал на проницательность своего нового друга, к которому он и отправился теперь в надежде, что тот найдет способ вывести его из этого затруднения. Когда дон Микеле узнал о просьбе Фьерамоски, он сказал:

— Он и за деньги не мог бы оказать нам лучшей услуги. Позвольте уж мне распорядиться самому, комендант, и вы увидите, умею ли я чисто обделывать дела. Но... не забывайте!

— Понимаю, не о чем больше говорить. Одна-коже... монахини...

— Монахинь, — отвечал, смеясь, дон Микеле, — мы не тронем; будьте на этот счет совершенно спокойны. Дайте же мне теперь ключи от тюрьмы и дожидайтесь меня здесь.

Он взял ключи, спустился в нижний этаж и, тихонько отворив дверь, стал прислушиваться. Услышав, что мать с сыном разговаривают, он остановился на первой из четырех или пяти ступенек, ведущих в этот подвал. Отсюда, вытянув шею, он мог видеть и слышать этих несчастных.

Женщина сначала была положена на землю и опиралась головой о лежавшее в углу бревно; однако от волнения у нее началась сильнейшая лихорадка, и она, извиваясь, упала лицом на сырой и рыхлый камень пола и не в состоянии была уже подняться. Сын ее, с руками, связанными у груди так, что он не мог пошевелить и паль-

цем, попробовал было помочь ей, но безуспешно; наконец, в отчаянии, он стал подле нее на колени и смотрел обезумевшими глазами то на мать, то на стены.

Женщина по временам пыталась поднять голову, но была слишком слаба, чтобы сделать это без посторонней помощи. Однако при одной из таких ее попыток сыну удалось наконец, хотя и с большим трудом, подсунуть под нее колено и таким образом повернуть ее в первоначальное положение; это причинило ей такую боль, что, схватившись руками за голову, она произнесла протяжным стоном:

— Проклятый серп калабрийского мужика!.. Хотя бы дьявол дал мне еще две минуты времени... я хочу, чтобы ты узнал наконец, кто ты... что толку молиться богу и святым! Разве они выслушивали когда-нибудь мою молитву?..—Тут, с трудом подняв к потолку наполовину уже потухшие глаза, она произнесла такие проклятия, что от них у всякого другого, кроме Пьетраччо, волосы стали бы дыбом на голове.

— И однакоже,—продолжала она, переходя от яростного отчаяния к скорбному,—и однако и я когда-то надеялась на небесное милосердие... когда пела в церкви вместе с другими монахинями!.. Да будет проклят тот час, когда я ступила на эту землю!.. Но к чему все жалобы? Я была отдана дьяволу еще раньше, чем родилась на свет... я пробовала убежать от него... и вот как мне посчастливилось.—И снова подняв глаза к небу, она произнесла с выражением, которое невозможно описать:

— Доволен ли ты теперь?

Затем, обратясь к сыну, сказала:

— Если ты сможешь выйти отсюда... если у тебя хватит мужества... то тот, кто является причиной моей смерти и твоего падения, будет вместе со мной гореть на вечном огне, если только попы говорят правду. Помнишь ту ночь в Риме, когда я повела тебя к Кровавым Воротам, чтобы ты убил того человека, а ты 'сдуру крикнул, прежде чем нанести ему удар, и тебя схватили и довели тебя до твоего теперешнего состояния?.. Этот человек был Цезарь Борджа!.. Когда он учился в Пизе (я тогда была в монастыре), он влюбился в меня; а я, глупая мерзавка, в него! Знала ли я, кто он такой?

Однажды ночью он пришел ко мне... У меня была дочурка семи лет... она проснулась... спала она в соседней каморке... Увидав, что он лезет в окно, она стала кричать... Беда бы ему, если бы его накрыли... он только что был назначен пампелунским епископом... Он бросил ей на голову подушки и коленями стал душить ее... Чудовище! Я упала без чувств... Поклянись мне всем адом, моей смертью, что ты убьешь его! Кивни головой, что клянешься... Сделай хоть это...

Убийца, глядя на мать широко раскрытыми глазами, мотнул головой, давая ей понять, что исполнит просьбу, и она, сняв с шеи цепь, которая была скрыта под рубашкой, прибавила:

— И когда ты пронзишь его сердце, скажи ему: «Посмотри на эту цепь... поддержи ее перед глазами... ее возвращает тебе моя мать»... Я еще не кончила... О! Еще одну минутку! потом я уже не боюсь... Когда я очнулась, я уже лежала на кровати, а ты его... О, я не могу погово-

рить этого... подле бедной Инесы... О, как ты была хороша!.. и теперь ты в раю!.. а я! за что я должна идти в ад?..

Эти последние слова сопровождались таким громким стоном, что задрожали своды темницы. Она умерла.

Пьетраччо не проявил сильного волнения; он смотрел тупым взглядом на судорожные движения матери. Увидав, что она испустила последнее дыхание, он забрался в самый отдаленный угол тюрьмы, как делает дикий зверь, запертый в одной клетке с трупом животного своей породы: он чувствует отвращение и бежит от трупа.

Из всего этого рассказа, переданного с перерывами и почти в бреду, Пьетраччо понял только небольшую часть. Живее всего запечатлелось в его мозгу то, что он должен отомстить Цезарю Борджа за разные издевательства, а особенно, как ему казалось, за то, что доведен его жестокостью до положения, в котором сейчас находится.

Однако тот же рассказ произвел совершенно иное впечатление на слугу Валентино. Кто увидел бы его в эту минуту, тот мог бы подумать, что каждое слово умирающей женщины отнимало у него часть жизни, до того он все время менялся в лице. И когда женщина повалилась на пол, с ним едва не случилось того же самого.

Он сошел вниз, чуть держась на ногах, и дрожащей рукой перерезал веревки, связывавшие Пьетраччо. С минуту он пристально смотрел на цепь, которую тот успел уже надеть себе на шею, и потом сказал ему:

— Сейчас придут к тебе один господин и одна женщина. Они хотят освободить тебя, но так,

чтобы не видно было, что это дело их рук. Смотри, будь готов, и когда они захотят посмотреть, нельзя ли еще оказать помощь этой женщине, взбегай скорей по лестнице наверх и смотри, чтобы тебя не поймали: ты уже осужден на казнь.

Выговорив эти слова с такой поспешностью, словно под ним горел огонь, он с ужасом взглянул мельком на женщину и, оставив в руках Пьетраччо свой кинжал, в один миг очутился в комнате коменданта. В свое время мы расскажем о том, как увиденное и услышанное доном Микеле смутило даже такого бывалого человека, как он.

Но читатель, может быть, спросит: неужели так и конца не будет всем этим историям с убийствами, предательствами, тюрьмами, смертями, чертями и гнусностями еще хуже?

Если мы угадали его мысль, то он, да позволено будет сказать ему это, не угадал нашей, так как мы именно намерены были окончить все это и, послав к дьяволу и дона Микеле, и Пьетраччо, и Мартина (которые, сказать откровенно, начали уже надоедать и нам), просить его перенестись мысленно внутрь барлеттской крепости, которая очень изменилась с тех пор, как мы заглянули туда второй раз, с доном Микеле.

Стены двора и галереи были обиты шелковыми тканями всевозможных цветов и украшены гирляндами из мирт и лавров, развешанными в виде фестонов и шифров; на балконах и в окнах развешивались все войсковые знамена. Толпа людей, состоявшая из праздных зрителей и лиц, занятых развешиванием украшений, непрерывно двигалась, то уплотняясь, то снова раздаяясь, по лестницам, двору, галереям. Солдаты, рабочие, прислуж-

ники, мальчики приходили и уходили, нагруженные разного рода инструментами, лестницами, мебелью—всем, что нужно было, чтобы приготовить к столу или украсить место праздника. Были принесены разные припасы—плоды, вина, дичь, которые знатнейшие вельможи города и войсковые начальники, соревнуясь, посылали в подарок испанскому полководцу. Люди все время приходили и уходили, кричали, звали, словом, суматоха была неопишущая.

Когда колокол на башне пробил восемь, вверху наружной лестницы появился Великий Капитан со всеми своими баронами. Радость, которую он испытывал при мысли о свидании с дочерью (нарочный, только что прибывший с известием о ее приезде, оставил ее в трех милях ют Барлетты), он хотел выразить роскошью своего наряда, равно как и одеждой сопровождавших его.

Поверх платья из золотой парчи на нем была епанча из ярко фиолетового бархата, подбитая горностаем, и такая же шалочка на голове. К застежке из сапфира поразительной красоты было прикреплено перо длиною около фута, все состоящее из мелких, насаженных на стальные проволоки жемчужин; оно легко развевалось над его лбом, словно это было настоящее перо. Меч и кинжал, ножны которого были также обложены фиолетовым бархатом, блистали дорогими камнями, а на груди его, на левой стороне был вышит красный меч—герб ордена св. Якова Камостельского.

Внизу, у основания лестницы, был приготовлен для него белый каталонский мул, покрытый сукканшейся до земли попоной из фиолетового с

переливами шелка, вышитого золотом. Гонсало сел на мула, его свита села на лошадей, и все вместе двинулись навстречу донье Эльвире.

Просперо и Фабрицио Колонна, одетые в розовый бархат с богатым серебряным шитьем, скакали по бокам его на турецких конях, таких красивых, каких давно уже не видывали в Италии. Эти два двоюродных брата, оба уже пожилые, так величаво сидели на своих высоких бархатных седлах, молодецки сдерживая пыл своих коней, что сразу было видно, какие это великие воины, и они были таковы на самом деле: лучшие кондотьеры, какими могло похвалиться ополчение тех времен.

В толпе людей, следовавшей за ними, обращали на себя внимание мрачный и крепко сложенный Пьетро Наварро, изобретатель мин, с таким успехом применявшихся при взятии замка Каstellодель-Ово, и Диего Гарсиа де Паредес, Геркулес своего времени, который, не употребляя почти никогда другой одежды, кроме железа, и не имея даже прозала, ничего, в чем он мог бы явиться на праздник, ограничился лишь тем, что заставил полуживого обыкновенного вычистить свое вооружение и оседлал самого дикого из своих боевых коней. Это был огромный калабрийский жеребец, всего несколько недель как взятый под верх, высокий, статный и черный, как ворон, без малейшей шерстинки другого цвета.

Один только Паредес мог оседлать и сумел усидеть на этом диком животном, которое, привыкнув жить в лесах и находясь теперь посреди такого множества народа и такого шума, храпело и билось, как разъяренный лев.



Но крупное сложение всадника, его тяжелое вооружение и помощь со стороны длинного в пол-локтя мундштука, натирившего до крови рот коня, делали его покорным, и после множества странных скачков, от которых все поскорее разбегались в стороны, он принял мудрое решение не считать себя сильнее Диего Гарсиа, который, крепко держась на седле, смеялся над этими его бешеными усилиями.

Цвет итальянского юношества сопровождал испанских баронов. Этторе Фьерамоска скакал на коне между двумя своими самыми дорогими друзьями—Иниго Лопесом де Айала и Бранкалеоне. На нем был голубой атласный плащ, шитый серебром, работа и подарок обитательниц монастыря святой Урсулы. О нем шла молва, что он лучше всех в войске объезжает коней. Тот, что был под ним, жемчужного цвета с темной гривой, подаренный ему синьором Просперо, был объезжен им с таким старанием, что, казалось, понимал уже без всяких уздечек и шпор каждое желание своего господина.

Повидимому, Фьерамоска обладал даром быть всегда первым во всем и между всеми, где бы он ни находился.

Безупречно сложенный, он выказывал гибкую статность своего тела плотно облегавшей его одеждой из белого атласа, на которой, особенно на икрах и на бедрах, не было ни единой складки. Он был так хорош, так красиво держался на лошади, что когда кавалькада неслась по улицам, народ смотрел только на него и восхищался им одним. Юноша не мог не заметить этого впечатления и внутренне испытывал как бы нелов-

кость, ловя себя на мысли, которую едва ли можно простить и представительницам другого пола.

В конце праздничной процессии ехали оруженосцы всех этих начальников. По обычаям того времени, каждый синьор старался иметь у себя в услужении людей разных национальностей, и чем более они были дики и необыкновенны, тем выше ценились. Поэтому тут можно было увидеть и турецких спаги в чешуйчатых латах, с кривыми саблями и ятаганами, и людей из королевства Гренады, вооруженных мавританскими пиками, и татарских стрелков—двух стремянных Проспера Колонна, одетых в самые яркие цвета, с луками и серебряными колчанами. Были тут также и арабы из Верхнего Египта, вооруженные длинными дротиками, и варварские лица всех этих людей, образуя резкий контраст с лицами европейцев, представляли картину, полную красоты.

Шествие Гонсало встречено было салютом из всех орудий, которыми были снабжены башни и стены крепости, и долго не умолкавшим перезвоном колоколов. Среди этого грохота выделялся по временам пронзительный звук труб и звуки других инструментов, образуя в целом гармонию, если и не вполне совершенную, выражавшую, однако, ту воинственную радость, которою было воодушевлено войско.

Между тем Великий Капитан получил известие, что герцог Немурский со своими баронами вступил в Барлетту; сделав поэтому остановку, он послал некоторых людей из своей сотни к нему навстречу, и французы вскоре показались с противоположного конца площади.

Герцог, увидя что Гонсало сошел с мула и пошел к нему навстречу, тоже сошел со своего коня. После того как оба со всей учтивостью протянули друг другу руки, француз вежливо заметил, что счел бы величайшей со своей стороны невоспитанностью, если бы, получив приглашение на праздник, чем-нибудь нарушил его настроение, что легко могло случиться, если бы из-за него отец хотя бы на минуту опоздал обнять свою дочь. Зная, что они едут ей навстречу, он просил позволения сопровождать их, и прибавил, что если война и делает их врагами, то он просит испанского полководца считать его первым в числе тех, которые ценят его доблесть, ум и прочие высокие его достоинства. Гонсало не мог быть менее учтивым в ответе на эти слова. Оба полководца, снова сев на коней, пустились в путь впереди всех, а сопровождавшие их последовали за ними, перемешавшись между собой и обращаясь друг с другом с той вежливостью, в которой французы во все времена были искуснее всех прочих народов.

В расстоянии несколько более мили от ворот кортеж остановился, увидев издали отряд, сопровождавший носилки доньи Эльвиры.

Она ехала в сопровождении Виттории Колонна, дочери Фабрицио, которая впоследствии сделалась женой маркиза Пескары и прославилась твердостью своего характера, добродетелью и умом.

Гонсало, сойдя с мула, бросился обнимать дочь, тоже вышедшую из носилок, и крепко прижимал ее к груди, повторяя несколько раз: «Дитя души моей!» и осыпая ее ласками, которые нахо-

дились в удивительном противоречии со спокойной важностью этого великого человека.

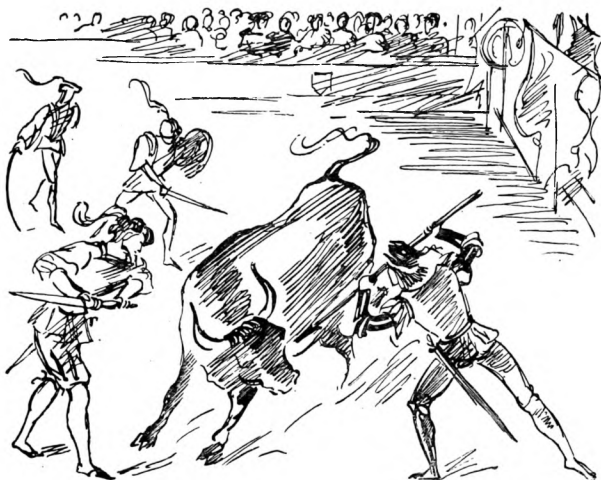
Этторе и Иниго, получившие от Гонсало назначение исполнять обязанности стремянных его дочери, вышли вперед и, подведя к ней иноходца, помогли ей сесть в седло. Молодой итальянец склонил одно колено к земле, и девушка, слегка коснувшись другого кончиком своей ножки, села на лошадь с такой грацией, что трудно было бы себе большую и представить.

Бледный лоб Фьерамоски окрасился легким румянцем, когда он, встав, услышал из уст доньи Эльвиры слова благодарности, сказанные с такой улыбкой и с такой игрой глаз, что в них можно было прочесть, насколько ей было приятно назначение такого красивого молодого человека в ее стремянные.

Она (может быть, тому была причиной чрезмерная нежность ее отца) не обладала той трезвостью взглядов, которую можно было бы ожидать от девушки двадцати лет. Пылкое сердце и живое воображение не всегда умерялись в ней здравым суждением, которое так трудно встретить у людей того и другого пола и которое, однако, после целомудрия составляет самое драгоценное сокровище души.

Ее подруга Виттория Колонна соединяла с указанным даром остроту и живость ума. Хотя их обеих следовало бы назвать равно прекрасными, однако невозможно было бы найти двух красавиц, столь различных между собой по характеру. Блестящие глаза доньи Эльвиры, ее постоянная улыбка, происходившая, быть может, отчасти от внутреннего чувства, подсказывавшего ей, что

улыбка делает ее еще прекраснее, сразу привлекали к ней всех; но, пышные, истинно римские формы дочери Фабрицио, ее красивое лицо, подобное тем лицам, которыми греческие ваятели разделяли изображаемых ими муз, то словно божественное сияние, которое разливалось у нее между бровей, совершенно иначе вкрадывались в сердце, возбуждая в нем чувства любви и восхищения, которые нелегко изглаживались. Проницательный взгляд, может быть, открыл бы в ней некоторый оттенок высокомерия; но если оно и было у нее, то она умела настолько владеть им, что и его превратила в добродетель.



## ГЛАВА XII

По возвращении в Барлетту все общество направилось в крепость. Там сошли с коней, и гости были размещены в лучших комнатах; свита разошлась, и каждый стал приготовляться к ристаниям и к турниру, которые должны были происходить в этот день.

На площади устроили загородку с деревянными ступеньками и балконами, украшенными со всем возможным старанием; в специально построенных сараях уже несколько дней можно было видеть быков, молодых бычков и диких буйволов, пред-

назначенных для любимого в то время зрелища итальянцев, в котором не гнушались принимать участие и первые вельможи. На этом-то месте, гладко выровненном и хорошо приспособленном, должны были происходить состязания. Поэтому здесь собралось уже множество народу, заполнившего со всех сторон всю площадь; даже крыши, окна и все возвышенные места были заняты зрителями. Пажи и оруженосцы в куртках различных цветов, вычистив и полив площадь, ожидали прибытия Гонсало.

Он вскоре явился со всеми своими гостями; по правую его руку был герцог Немурский, по левую—донья Эльвира. Объехав кругом ограду, он слез с мула у самого большого и лучше всех убранного балкона, помещавшегося на одной из боковых сторон загородки, и среди криков «ура» и восклицаний, которыми народ охотно приветствует роскошь одежды, золото и всякого рода великолепия, все расселись, и подан был знак выпустить первого быка.

Шум толпы и ссоры, которые в подобных случаях всегда происходят между зрителями, желающими занять лучшие места, прекратились, как только открыли сарай. На арену выбежал большой бык; голова и передняя часть его были совершенно черные, а спина у крестца темно-серая. Размахивая хвостом, он долго кидался во все стороны; наконец, убедившись, что нет нигде выхода, остановился, подозрительно обводя кругом себя налившимися кровью глазами и взрывая землю передними копытами.

В эту минуту взоры всех обратились в один угол площади—на происходивший там шум от

ссоры, причина которой была неизвестна. Чтобы узнать ее, читатель должен на одно мгновение вернуться к обитательницам монастыря святой Урсулы.

В тот вечер, когда Фьерамоска рассказал им о назначенном поединке с французами, не одна только Джиневра содрогнулась при мысли об опасности, которой он должен был подвергнуться. Не меньше поражена была этим известием и Зораида. Гордый и страстный характер часто бывает соединен с недоступным сердцем; но если в него все же проникает любовь, то она производит там еще большее опустошение. Начиная с того вечера Зораида не знала ни покоя, ни отдыха, ни сна. Целые дни занимала ее одна только мысль, одни и те же представления все время вертелись у нее в голове, и она не могла избавиться от них и даже не могла заняться какой-нибудь посторонней работой. Только иногда, и то лишь на несколько коротких минут, садилась она за пяльцы, вышивая предназначенный для Этторе плащ, и тотчас же вставала. Целые часы проводила она или на балконе, автоматически, без всякого участия мысли обрывая затеняющую его зелень винограда и других деревьев, или же вдруг быстро выбегала оттуда, словно должна была совершить что-то очень важное, но потом, будто в забытьи, постепенно замедляла шаг или вдруг останавливалась с опущенным взглядом. Все время стремилась она остаться одна и больше всего избегала взоров своей подруги, которая, казалось ей, с минуты на минуту могла обнаружить то, что она больше всего в мире хотела бы скрыть.



Джиневра, со своей стороны, была взволнована не меньше ее, и испытываемая ею внутренняя борьба, может быть, имела более сильные и веские причины. Любовь к молодому итальянцу, возникшая и развивавшаяся из старинной дружбы, а также сознание того, что она обязана ему величайшей благодарностью, теперь еще более усилилась под влиянием их общей тяжелой участи и от мысли, что, может быть, славная смерть навсегда отнимет его у нее, а также от добродетельных угрызений совести, ибо ничто в такой степени не воспламеняет ума и сердца, как трудно преодолимые препятствия. Совесть напоминала ей, что ее долг употребить все средства, чтобы вернуться к мужу и удалиться от этого человека, который, несмотря на их обоюдную добродетель, держал ее на краю пропасти. Она вспоминала, что дала обет богу и святой Урсуле, покровительнице монастыря, открыть Этгоре свое намерение расстаться с ним; она оправдывала неисполнение своего решения тем, что в тот день, когда она хотела объявить ему об этом, он пришел сказать ей о поединке; но внутренний голос говорил ей и то, что если причина эта и могла оправдать ее промедление, то она не должна была давать основание навсегда отказаться от обета.

Кроме этих мыслей, которые сами по себе достаточно мучили ее, у нее еще возникло в душе тягостное подозрение относительно ее подруги. Женщины обладают каким-то внутренним чувством, своего рода, я бы сказал, инстинктом, который позволяет им обнаруживать любовь даже там, где ее самым ревнивым образом стараются затаять в глубине сердца. Джиневра скоро заметила,

что Зораида стала другой, и очень хорошо угадывала причину происшедшей с ней перемены. В таком настроении обе подруги провели несколько дней, но между ними уже не было прежней искренней привязанности.

Между тем в монастыре у садовника Дженнаро, послушниц и солдат гарнизона, охранявших башню, не было иных разговоров, как только о предстоящих в Барлетте празднествах, и кто ездил туда по своим делам, всегда возвращался с рассказами о том, какие там происходят приготовления и что говорят о предполагавшихся в тот день увеселениях. Поэтому, когда наступил, наконец, этот желанный день, то кроме тех, кто уже никак не мог отлучиться, все прочие поспешили еще на рассвете в город, чтобы своевременно занять места. И садовник, который, как истый южанин, с ума сходил по развлечениям, надев на себя лучшую одежду и прицепив к шляпе красивый пучок цветов, собирался уже сесть в свою лодку, когда только еще занималась утренняя заря. Зораида встретила его наверху лестницы, которая спускалась к морю; она была одета с большей тщательностью, чем этого требовали и место и ранний час утра.

— Дженнаро, — сказала она, — возьми меня с собой в Барлетту.

Эти слова были произнесены с некоторой нерешительностью, которая показалась совершенно необычной Дженнаро, привыкшему к тому, что Зораида всегда говорила решительно и коротко. Он с минуту посмотрел на нее и потом лишь сказал, что она вольна распоряжаться им и что это очень большая честь для него, — он жалеет только о

том, что он не подмел лодки и не положил в ней подстилки, чтобы она могла поместиться с большим удобством.

— Я сейчас вернусь, через минутку, — сказал он и собрался пойти по своим делам. Но Зораида схватила его за руку, и садовник почувствовал, как она сильно сжала ее, и посмотрев ей в глаза, подумал про себя: «С ума, что ли, она сошла или в нее чорт вселился?»

Зораида оставила Джиневру еще в постели, не желая входить с ней в объяснение относительно своей поездки, которая не могла не показаться ее подруге странной, тем более, что она сегодня в первый раз выходила из монастыря. Ей казалось, что стоит ей немного помедлить, и Джиневра вот-вот предстанет перед ней.

Поэтому без долгих слов и голосом скорее повелительным, чем просящим, она заставила садовника войти в лодку, и он взялся за весла. Во время переезда Дженнаро не переставал болтать ни на минуту, говоря, что он всюду сводит ее сам, что он в дружбе со слугой Гонсало и что никто не сумеет лучше его найти для нее место, чтобы полюбоваться увеселениями. Они прибыли на площадь перед замком в тот момент, когда Гонсало и его свита вместе с французскими баронами собирались отправиться навстречу донье Эльвире. Просьбы Зораиды не оставлять ее одну не могли удержать Дженнаро. Он побежал вслед за процессией и исчез в пыли и гуще сдавившей его со всех сторон толпы. Но перед тем он успел свести ее в трактир Велено, просил ее не беспокоиться и обещал вернуться сейчас же. Но он задержался дольше, чем думал, и несколько



Гонсало Кордовский  
С гравюры XVI века



поздно вспомнил о своем обещании. А когда собрался уж пойти с ней на площадь, чтобы занять место на подмостках, он увидел, что все места уже заняты зрителями, и с первого взгляда понял, что не оставалось надежды поместиться ни ему, ни его спутнице. Однако, пролагая себе то просьбами, то локтями дорогу через толпу, которая густо скопилась даже за ложами, он пробрался, наконец, под одну из них в том месте, где был проход, через который участники турнира выходили на арену. Но с этого места они не могли видеть ничего, кроме свешивающихся над их головами ног зрителей, и он уже был в отчаянии, что оказался таким невнимательным проводником. К его счастью, в тот момент, когда выпустили быка, вышел из-за загородки Фанфулла, назначенный распорядителем игр. Он увидел Зораиду, стоявшую с очень недовольным видом и поглядывавшую вокруг, и узнал находившегося рядом с ней садовника, который тотчас же стал просить его:

— Ваше превосходительство! светлейший господин! Извольте видеть, этой бедной госпоже смертельно хочется посмотреть на турнир, а мы пришли сюда так поздно...

Зораида, заметив, что молодой человек, к которому обращалась эта просьба, обнаруживает, судя по нескольким брошенным им пылким взглядам, больше чем простое доброе желание найти для нее место, толкала Дженнаро, чтобы заставить его замолчать.

Но было уже поздно: Фанфулла подошел к ней и, взяв ее за руку, отвел ее на свободное место за ложей, палочкой расчищая ей путь среди

толпы; потом, подняв глаза, стал смотреть, где бы он мог поместить ее.

На самой высокой ступеньке, на лучшем месте, очень удобно, расставив ноги и скрестив на груди рук, сидел комендант башни святой Урсулы, Мартин Шварценбах. Фанфулла не отдал бы этой встречи, да еще при таких обстоятельствах и за тысячу дукатов. Своей палочкой он мог достать до пяток немца, вознесенного над землей на полтора человеческого роста. Он слегка тронул его, и тот нагнулся вниз, чтобы посмотреть, кому он понадобился. Фанфулла совершенно спокойно поднял руку на высоту лба и, двигая пальцами сверху вниз и сопровождая этот жест легким боковым движением головы с соответствующей мимикой глаз и губ, дал ему понять, что нуждается в занимаемом им месте для дамы, которую он сопровождает. Выражение лица Фанфуллы было таково, что взбесило бы и мертвого. Мартин, который, сидя наверху, считал себя вне опасности, вспомнив, быть может, в этот момент о своем разбитом боченке, нетерпеливо повел плечами, словно хотел сказать: «Убирайся с моих глаз», и снова уселся попрежнему.

— Ой, немец, немец! — сказал тогда Фанфулла, качая головой и возвышая голос, — ты дождешься от меня палок; во всяком случае имей в виду, что сегодняшних игр ты не увидишь!

Мартин не двигался, только ворчал что-то себе под нос; видно было, что его противник, хоть и находившийся далеко, внушал ему некоторые опасения.

Тут в одно мгновение Фанфулла вскочил на одну из перекладин, ухватил снизу за ноги ко-

менданта, который, не ожидая нападения, не успел придержаться, и, стянув его с места, на котором он сидел, продолжал тянуть его к себе, чтобы сбросить на землю; но бедный Мартин застрял между двумя досками, между которыми его толстый живот не мог пройти, и кричал: «Спасите! помогите!» Фанфулла продолжал терзать, тащить и дергать его, не успокоившись до тех пор, пока бедный немец не очутился на земле, весь измятый и поцарапанный. Совершив этот подвиг, Фанфулла сказал ему преспокойно:

— Мне, право, душевно жаль, но разве я не говорил тебе, что ты игр не увидишь?

Потом он постарался удобно усадить Зораиду и Дженнаро и скрылся в толпе, смеясь в душе над обильно посылаемыми ему ругательствами комеданта, который теперь управлялся и, ощупывая себя, не поломано ли у него чего-нибудь, подбирая шляпу, меч и перчатки, с трудом приводя себя в порядок после такого разгрома.

Между тем Зораида, которая с места, доставленного ей победоносным вмешательством Фанфуллы, превосходно видела весь амфитеатр, обвела его глазами и остановила свой взгляд на ложе, находившейся против нее. Она увидела Этторе, который, сидя подле доньи Эльвиры между первыми баронами, развлекал ее, стараясь своей учтивостью показать себя достойным предоставленного ему на этот день звания ее рыцаря. Молодая испанка с пылким сердцем и горячеей, даже немного ветреной головкой, может быть, и склонна была приписать столь большое его к себе внимание причине, которая столько же льстила ее самолюбию, сколько и приятна была ее сердцу.



За их беседу следили две женщины, которые, хотя и находясь на разных расстояниях и испытывая при этом разные чувства, не пропускали ни одного их движения.

Одна из них была Зораида, которая, сидя слишком далеко, чтобы слышать их разговор, однако принимала в нем такое живое участие и так внимательно наблюдала за каждым их движением, что не могла не заметить того, что дочь Гонсало сумела достойным образом оценить доблестного итальянца и смотрела на него больше чем с простым вниманием, требуемым учтивостью. Она не в состоянии была бы сказать, каковы мысли Фьерамоски, но сердце в таком состоянии, как у нее, трепещет по самому незначительному поводу. Другая была Виттория Колонна, которая по опыту знала, что юная Эльвира не умеет достаточно противостоять обаянию красивого лица и лстивых слов. Она испытывала к ней чувство настоящей и глубокой привязанности, и строгое выражение лица и внимательный взгляд дочери Фабрицио показывали, что ей не очень нравится все оживлявшаяся их беседа и что она боится ее последствий.

Первый выпущенный бык был предоставлен в распоряжение толпы. Многие выходили биться с ним с переменным счастьем, но никто не мог одержать над ним решительной победы. Из одной из боковых лож, где вместе с французскими баронами было много испанцев и итальянцев, сошел, наконец, Диего Гарсиа, уступая просьбам этих чужеземцев, желавших посмотреть его ловкость в этого рода битве. Искусство матадора в настоящее время в Испании состоит в том, чтобы

суметь вонзить быку в соединение шейных позвонков меч в то мгновение, когда он опускает голову, чтобы поднять на рога своего противника. В те времена, когда владение тяжелым оружием развивало силу рук, обыкновенно считали лучшим ударом такой, которым с одного взмаху гладко отсекали голову быка, и это нередко удавалось тому, кто с большой ловкостью соединял большую силу.

Паредес вышел на арену со своим огромным мечом на левом плече, одетый в буйволовый нагрудник и с непокрытой головой; он увидел, что бык уже ранен и теряет кровь. Он подозвал прислужников и сказал, чтобы выпустили нового быка. На потрепанного уже накинули веревку и вывели его за загородку; потом, отворив сарай, выпустили другого, крупнее размером и свирепого на вид. Перейдя из темноты на яркий солнечный свет, бык, предварительно раздраженный и взбешенный, стал метаться по арене, бросаясь в разные стороны, как свойственно этой породе животных, пока, наконец, не увидел своего противника. Он остановился прямо против него, опустил голову, заревел, высунул изо рта язык в четверть длиною и, как бы желая выиграть место для разбега, стал пятиться назад, бросая передними ногами себе землю на спину и на шею. Сила Гарсиа была огромна; однако было бы чересчур самонадеянно, если бы он вздумал померяться силой с быком, голова которого была вооружена огромными рогами и который обладал такой толстой и мускулистой шеей, что трудно было бы найти другую подобную. Испанец видел, что тут надобно действовать осторожно. Он занес обеими

руками свой огромный меч над левым плечом, и правой ногой два или три раза с криком топнул о землю. Тогда бык, опустив рога, кинулся на своего врага и чуть было не достал его, но тот, отскочив в сторону, ударил его по шее мечом с такой силой и так метко, что голова быка свалилась на песок, и туловище сделалю еще один или два шага, прежде чем грохнулось на землю.

Дружными криками одобрения, раздавшимися со всех сторон, толпа приветствовала Диэго Гарсиа, который вернулся на место и снова уселся среди своих. Французские рыцари, не привыкшие к подобного рода зрелищам, видя, с какой легкостью испанец перерубил шею быка, думали, что это дело вовсе не столь трудное. И так как все это были люди во цвете лет и сил и все превосходно владели оружием, то они говорили между собой: «И мы могли бы сделать то же самое». Больше всех хвалился так Ламот, который, будучи, как мы видели, пленником Гарсиа, откупился, уплатив за себя выкуп. Гордый по своей природе, он не мог спокойно относиться к нему, не потому, чтобы тот с ним плохо обращался, но потому, что ему казалось чрезвычайно странным быть в положении побежденного и постоянно видеть перед собой человека, заставившего его сложить оружие.

Он похвалил удар Гарсиа, чтобы не показаться завистливым или неучтивым, но сделал это с тем выражением лица, которое французы наших дней определили бы словами «suffisant» и для передачи которого в нашем языке не хватает подходящего слова. Держась прямо и выставив грудь вперед,

он сказал ему, по обычаю своему не стараясь повернуться прямо лицом к своему собеседнику:

— Bravo, don Diego; ловко отхватили, par Notre Dame.—Потом, повернувшись к своему соседу французю, прибавил, улыбаясь:—Grand meschef a été que le taureau n'eût pas sa cotte de maille,—la rescousse eût été pour lui<sup>1</sup>.

Паредес понял сказанное, и кровь бросилась ему в голову; он сказал про себя: «Клянусь богом, хотелось бы мне посмотреть, такие ли у этой французской собаки длинные зубы, как и язык». Приблизившись к французю, он сказал:

— Сколько золотых червонцев вам угодно было бы заплатить, если бы я в одну минуту разрубил быку шею, защищенную кольчугой? Ведь вы-то не в состоянии перерубить ее и обнаженной. Но это я сделалю и без червонцев, так как не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, что Диего Гарсиа могло притти на ум заставить платить себе, как торреро; с меня довольно уж одной славы; а вы покажете, хватит ли у вас умения повторить мой удар так же, как вы умели высмеять его.

Ламоту не очень улыбалось такое предложение, и он не мог простить себе, что подал к нему повод. Причиной этому была не трусость, потому что он был смел и отважен, но вынуждаемый теперь первый раз в жизни драться с таким зверем, он не знал, как ему поступить. Однако отказываться было нельзя; шаг был сделан,—отступление было невозможно. Он смело отвечал ему:

---

<sup>1</sup> Очень жаль, что у быка не было кольчуги, победа была бы на его стороне.

— Разумеется, французскому рыцарю не принесло бы бесчестия и отвергнуть битву с быком, но пусть никогда никто не скажет, что Гюи до Ламот отказался сразиться мечом, какие бы обстоятельства ни побуждали к этому; давайте же!—Он встал, с гневом бормоча сквозь зубы:— *Chien d'Espagnol, si je pouvais te tenir sur dix pieds de bon terrain au lieu de ta bête!*<sup>1</sup>

Он тщательно наблюдал и прекрасно понял прием, каким Гарсиа так удачно сделал свой красивый удар; молодой человек, воин и француз— мог ли он не доверять самому себе?

Услышав этот необычайный вызов, вся молодежь с шумом повставала с мест; в ложе Гонсало заметно было движение и послышался шум голосов. Скоро все узнали причину, которая в несколько минут разнеслась по всему амфитеатру и была принята толпою с интересом и радостью. Правда, эта новость, переходя из уст в уста, подверглась странным превращениям, тем более замысловатым, что в создании их участвовали лица низшего класса народа. Место, где сидела Зораида, было самое отдаленное от ложи Гонсало, и поэтому эта новость дошла туда с двух сторон одновременно в самом искаженном виде. Так как находившиеся подальше от ложи старались узнать о случившемся от тех, кто был поближе, то можно было видеть, как волна движения проносится по рядам, выражаясь в наклоняющихся головах и поворачивающихся в сторону лицах, так что по одному взгляду сразу

---

<sup>1</sup> Испанская собака, если бы я мог схватиться с тобой самим на десяти шагах земли, а не с твоей скотиной!

можно было определить, как постепенно распространяется среди зрителей эта новость, переходя из ряда в ряд по ступенькам амфитеатра. Дженнаро давно уже стоял, вытянув шею, и с нетерпением ожидал, когда услышит что-нибудь. Он, Зораида и их соседи видели суматоху в ложе рыцарей и начальников отрядов, видели затем также, как первые вышли и рассеялись по арене. Казалось, что празднество было прервано; новый бык не появлялся, и все друг друга спрашивали: «Что случилось? Что произошло?» Но никто не мог ничего ответить. Наконец с одной стороны амфитеатра появился кто-то и сказал:

— Сейчас произойдет поединок между итальянцами и французами в этой самой загородке.

— Как бы не так!—сказал другой.—Ты видишь, что Фьерамоска сидит в ложе, словно пригвожденный к месту; судя по тому, как он говорит с этой девушкой, у него совсем другое в голове, а не поединок.

Зораида услышала эти слова и вздохнула. Тут с другой стороны еще кто-то сказал:

— Говорят, что французский полководец вызвал на поединок Гонсало, и кто из них убьет быка, привезенного из Кварато, тот и будет победителем в войне и получит Неаполь.

Между тем группа столпившихся у сарая и хлопотавших там людей, повидимому, собиралась выпустить другого быка. С одной стороны сарая стоял Диего Гарсна со своим огромным мечом, висящим у него на плече, окруженный толпой рыцарей, которые, казалось, говорили все в один голос и очень быстро, словно хотели в чем-то убедить его. Но на его мужественном лице, воз-

вышающемся над всеми другими, можно было даже издали прочесть непоколебимое решение исполнить то, что он обещал исполнить, как ни велика была опасность, которой он себя подвергал. Немного дальше от него стоял Ламот, окруженный своими, которые убеждали его не посрамить их.

В это время один из зрителей, занимавших самые нижние ступеньки амфитеатра, только что окончив разговор с Велено, бывшим подле него, сказал, обращаясь к Дженнаро:

— Вот этот честной господин говорит, будто те синьоры спорят, кто из них опорожнит одним махом стакан греческого вина прямо перед быком!

Многие рассмеялись этой глупости, но смех тотчас же прекратился, когда увидели, что распорядители, предводимые Фанфуллою, велют разровнять арену, на которой оставался теперь один неподвижный испанский богатырь со своим огромным мечом на плече.

Зная о том, как трудно ему будет выйти с честью из этого второго боя, и хорошо понимая, что при всей его геркулесовой силе взяться перерубить шею быка, покрытую железной кольчужой, было с его стороны затеей по меньшей мере очень дерзкой, Гарсиа вооружился на этот раз другим мечом, значительно более тяжелым, чем первый, и который он употреблял только тогда, когда ему нужно было брать приступом или защищать окопы. Он сбегал за ним домой и, велев поскорее ютточить его юстрие, наспех подкрепился, закусив что попало под руку и выпив добрую фляжку испанского вина. Для этих приготовлений он взял себе достаточно времени, и действительно, они требовали времени немало, но немало требо-

валось и сил, чтобы рассечь шею быка, покрытую кольчугой, которая, будучи насажена на голову быка так, что, оставаясь расстегнутой спереди, рукавами была надета на рога, была затем протянута и скреплена внизу под шеей, причем ворот ее падал на лоб быка. Те, кто видел в наши дни бои быков, знают, что, стоит только запереть быка в темное место, и тогда можно, накинув ему на рога крепкий канат, сдерживать его и делать с ним что угодно.

При звуке труб и всех инструментов вышел вперед герольд, одетый в двухцветную одежду желтого и красного цвета, украшенную на груди и на спине изображениями испанского герба. Подняв жезл, он подал знак к молчанию и громким голосом провозгласил:

— Именем католического короля Фердинанда, короля Кастилии, Леона, Гренадского королевства, Вест-Индии и прочая, и прочая, дон Гонсало Эрнандес де Кордова, маркиз д'Альменарес, командор, кавалер ордена святого Якова, главнокомандующий и наместник его католического величества по сю сторону Фаро, воспрещает всем здесь присутствующим, под страхом быть вздернутыми на веревку или еще большего наказания, какое он найдет нужным определить, нарушать возгласами, криками, движениями или другим каким-нибудь образом бой, который имеет быть совершен знаменитейшим и славнейшим рыцарем дон-ом Диего Манрике де Лара, графом де Паредесом, с быком, покрытым кольчугою.

Трубы громко загремели в ответ, и зрители всех сословий, — одни из благовоспитанности, зная, что от одного лишнего шага, сделанного быком бла-



годаря их вмешательству, может зависеть жизнь бесстрашного испанца, другие, боясь веревки,— все застыли в неподвижности, и водворилось такое глубокое молчание, что, когда отворили сарай, то скрип железной задвижки был единственным звуком, раздавшимся среди огромного множества народа от одного конца амфитеатра до другого. Вышел бык, но не с такой стремительностью, как прежние; он был меньше ростом, короток и совершенно черного цвета, но еще более дикий. Он также остановился шагах в десяти от дона Гарсиа, уставился на него, начал бить себя хвостом и бросать песок в воздух. Противник его, подняв меч, весь превратился в зрение, хорошо зная, что первый неудачный удар может оказаться роковым для него. Наконец животное двинулось, сперва тихо, потом, издав громкое мычание и нагнув голову, вдруг бросилось на Гарсиа. Тот, думая отрубить ему голову так же, как и первому, отскочил в сторону и нанес ему удар с огромной силой; но оттого ли, что меч не ударил прямо, или оттого, что бык не подступил во-время под удар, но меч отскочил от железной кольчуги; бык обернулся и бросился на Гарсиа с такой яростью, что испанец, чтобы удержать его на расстоянии, едва успел упереться ему острием меча в лоб, в то самое место, которое было защищено ошейником кольчуги. Здесь обнаружилась вся сила Паредеса. Расставив ноги одну впереди другой, ухватив огромный меч обеими руками и уперши его верхушкой рукоятки себе в грудь, а острием в лоб быка, он удержал его на месте. Толстый и крепкий клинок выдержал натиск, но усилие Диего Гарсиа была так велико,

что можно было видеть, как его мускулы, особенно на икрах и на ребрах, надулись и дрожали, и так же дрожали жилы у него на шее и на лбу. Цвет его лица сделался сначала красным, потом почти фиолетовым, и он до того закусил себе нижнюю губу, что на подбородок потекла кровь.

Бык, видя, что этот путь нападения для него прегражден, попятился и, разогнавшись, снова бросился на Диего с еще большей яростью. Гарсиа почувствовал лихорадочный озноб от стыда, что удар ему не удался; кинув беглый взгляд на ложи, он увидел, словно при вспышке молнии, лицо Ламота, скривившееся в насмешливую улыбку, и этот взгляд привел его в такое невероятное бешенство и придал ему столько силы, что, замахнувшись мечом, насколько было возможно, он нанес быку такой сокрушительный удар по шее, что пересек бы ее даже тогда, если бы она была из бронзы. При такой поспешности удар не мог попасть прямо. Прежде всего он отсек один рог так гладко, словно тростинку, затем рассек кольчугу и позвонки и дошел до кожи подгрудка, на которой голова еще оставалась висеть в тот момент, когда туловище уже повалилось на землю.

Этот невероятный подвиг вызвал такой шумный и внезапный взрыв одобрений, прокатившийся по всему амфитеатру, что он показался раскатом грома. Паредес бросил к ногам меч и стоял несколько мгновений тяжело дыша; краснота его лица перешла в бледность, однако не надолго.

Его тотчас окружили все его товарищи и стали поздравлять его. Кто с удивлением смотрел на него самого, кто рассматривал его меч, кто рас-

сеченную шею и чистоту, разрубая, а между тем раздавались торжественные звуки музыки.

Испанец справился со своей задачей; теперь очередь была за Ламотом. Превосходный удар соперника заставил его призадуматься; он не мог надеяться с ним сравниться, и если бы ему даже удалось—что было весьма сомнительно—отрубить голову у быка с обнаженной шеей, то все же он имел бы меньше славы; но его неопытность в этом роде битвы заставляла его предвидеть, что даже и это вряд ли ему удастся. Во всяком случае он понял, что ему не удастся с честью выйти из этого дела, и от досады он совсем терял голову.

Когда испанец подошел к нему и спросил, не пожелает ли он сойти на арену, он дерзко отвечал ему отказом, прибавив, что французские рыцари по уменью драться на коне и с копьем в руке занимают первое место в мире и, как люди знатного рода и рыцари, желают сражаться и одерживать победы над рыцарями, равными им, и притом в настоящем бою. Искусство же убивать быков они предоставляют мужикам и мясникам. На эти грубые, оскорбительные слова Диего Гарсиа ответил такими же, да еще и похуже, и оба они уже готовы были схватиться за оружие.

Но эту ссору, происходившую в ложе рыцарей, заметили Гонсало, герцог Немурский и все зрители. Коротко говоря, она послужила Диего Гарсиа поводом для нового вызова, и он теперь с еще большей надменностью обратился к французам, своим громким и страшным голосом приглашая их драться на конях и обещая показать им,

что испанцы и в этом роде битвы не только равняются им, но далеко их превосходят.

Французский и испанский предводители с удовольствием видели, что воинственный дух их воинов поддерживается и усиливается подобного рода соревнованиями, которые, казалось, вновь теперь воскрешают романтические подвиги, воспетые поэтами и трубадурами. Поэтому они дали свое согласие и на этот поединок, и спустя несколько минут уже были установлены и имена бойцов и число их, именно, что будут драться десять человек против десяти, через два дня, на берегу моря, по дороге, ведущей в Бари. Но положили условием, чтобы об этой ссоре больше не говорилось ни слова во весь этот день, для того чтобы не смутить настроения праздника. Рыцари обеих сторон остались довольны, подтвердив это рукопожатиями, которыми они между собою обменялись, и все спокойно возвратились на свои места.

Пока происходили эти переговоры, люди, которым поручено было наблюдение за ареной, убрали тело последнего быка и, насыпав песку и опилок на то место, где он повалился, уничтожили там все следы крови. Фанфулла, их начальник, получил от Гонсало приказ приготовить все для состязания. В несколько минут посреди арены построили перегородку в виде стены из досок, скрепленных бревнами, вставленными в заранее приготовленные для этого ямы. Она шла через всю длину арены подобно оси, проходящей через оба фокуса эллипса. В высоту, она поднималась по грудь человека среднего роста. Концы ее не доходили до стен арены, оставляя под ложами про-

странство для трех лошадей. Такое устройство было приспособлено для состязаний с пригупленными копыями, которые происходили следующим образом. Двое рыцарей становились по концам перегородки так, чтобы последняя разделяла их и находилась с правой стороны от каждого; потом, пустив коней, они скакали, держась все время перегородки, и встретясь ударяли друг друга копыем.

Такой бой был не так труден и не столь опасен, так как коням была указана дорога, а каждый рыцарь знал, где он встретит своего противника. На концах площадки поставлены были с обеих сторон по две однодонные бочки, наполненные песком, в который были воткнуты копыя разной толщины; сражающиеся схватывали их на скаку, когда, сломив свое копые, но не сбив с коня противника, они огибали концы перегородки и снова скакали навстречу друг другу, но поменявшись сторонами.

Когда все было готово, Фанфулла подошел к ложе, где сидела донья Эльвира, и сказал ей, что ей остается только дать знак. Дочь Гонсало бросила на арену свой платочек; тотчас же загремели трубы, и на конях, в ярко блестящем вооружении, украшенном таким множеством перьев, шитья и вообще в таком пышном убранстве, что можно было заглядеться, въехали три испанца, предлагая померяться с ними и обещая по три удара копыем и два алебардой тем, кто пожелает выступить против них.

Бойцами были: дон Луис де Корреа-и-Харсио, дон Иниго Лопес де Айала и дон Рамон Власко де Асеведо.

Вышел вперед герольд и, по обычаю, запретил зрителям вмешиваться в ход состязания как словами, так и движениями. Под ложей Гонсало были повешены щиты испанцев с их именами, написанными золотыми буквами, сами же они, объехав кругом всю площадку, стали в глубине ее, подле большого знамени, на котором были изображены кастильские башни и львы и арагонский баллюстрад. Это знамя держал герольд в богатой одежде, и оно пышно развевалось над его головой.

Награда, назначавшаяся победителю, состояла в небольшом шлеме, богато отделанном; на его верхушке было серебряное изваяние Победы, которая держала в одной руке золотую пальмовую ветвь, а в другой—султан из перьев. Шлем был ювелирной работы—произведение Рафаелло дель Моро, искусного флорентийского художника. Его насадили на конец копья, воткнутого в землю у входа, через который въехали на арену три испанских барона.

Баяр, честь и образец воина, первым появился в загородке. Он сидел на прекрасном нормандском гнедом жеребце с черной гривой и с белыми пятнами на трех ногах. Прекрасные формы коня были, по обычаю того времени, скрыты под огромным чепраком, покрывавшим его от ушей и до хвоста. На этом чепраке, который был светлозеленого цвета с красными полосами, был вышит на спине и на боках герб рыцаря. На ногах этот покров оканчивался бахромой, достигавшей до колен лошади. На голове и на крестце у коня развевались пучки перьев тех же цветов, и такие же цвета можно было видеть и на копейном значке и на султানে шлема. В телосложении рыцаря не было

ничего необыкновенного; напротив, насколько можно было судить о нем под латами, оно не свидетельствовало о силе, обычно присущей воителям того времени. Он выступил вперед, искусно управляя лошадью, которая, слегка понуждаемая шпорами и удерживаемая уздой, выпячивала спину и била ногами о землю, и поворачивая голову и круп то в одну, то в другую сторону, извивалась дугою и размахивала волнистым хвостом, поднимая песок с арены.

Он остановился прямо против доньи Эльвиры и, отдав ей приветствие опущением копья, ударил им затем три раза по щиту Иниго. Потом, переложив копьё в левую руку, в которой находились уже поводья и щит, он правой рукой взялся за алебарду, висевшую на луке седла, и ударил ею два раза по щиту Корреа, и это означало то, что он требовал от первого трех ударов копья, а от второго двух ударов алебардой. Сделав это, он возвратился ко входу в амфитеатр.

Одновременно и Иниго стал на свое место; оба они стояли один против другого, прижав древки копий к боку и выставив вверх острия их. Баяр, у которого до этих пор забрало было поднято, оставляя обнаженным его лицо, покрытое чрезвычайной бледностью, что очень удивляло всякого, кто хотел и был в состоянии драться в тот день, велел теперь своему оруженосцу опустить и закрыть его, сказав, что он надеется, несмотря на лихорадку (и действительно, он уже четыре месяца болел ею), не посрамить в этот день французского оружия.

При третьем звуке труб один дух, казалось, воспламенил обоих воинов и их лошадей. При-

гнуть к луке, стиснуть копьа, пришпорить коней, пустить их во весь опор с быстротой стрелы—все это было делом одной минуты и было исполнено обоими рыцарями с одинаковой быстротой и силою. Иниго метил в шлем противника—удар верный, но не легкий; но когда он приблизился к нему, он подумал, что перед лицом такого пышного собрания лучше действовать так, чтобы наверняка не дать промаху, и он удовольствовался тем, что переломил копье о щит Баяра. Французский рыцарь, который в уменыи владеть оружием был едва ли не самым ловким из всех французских воинов того времени, с такой уверенностью направил копье в забрало Иниго, что не мог бы попасть лучше даже и тогда, если бы оба они стояли неподвижно на одном месте. Из шлема посыпались искры, древко копьа переломилось надвое, и испанец так склонился на левую сторону, где к тому же он потерял стремя, что казалось, он сейчас упадет. Таким образом честь этой первой схватки осталась за Баяром.

Соперники продолжали скакать, чтобы теперь встретиться с другой стороны, и Иниго, отбросив с досадой обломок своего копьа, схватил налету другое.

При второй схватке удары оказались равными, и возможно, что Иниго в душе своей подумал о том, не была ли учтивость французского рыцаря причиной, не позволившей ему употребить в полной мере свое искусство. При третьей схватке это подозрение превратилось в уверенность. Иниго сломил копье о забрало своего противника, между тем как тот едва задел ему железным острием щечку, и легко было понять, что этот промах был



не безнамеренный. Загремели трубы, раздались ликующие возгласы народа, и герольды объявили о равной доблести обоих сражавшихся, которые вместе подошли к ложе доньи Эльвиры, чтобы отдать ей свое почтение. Она осыпала их похвалами; но не менее щедры были на похвалы и Гонсало и герцог Немурский, который сказал обоим бойцам: «Chevaliers, c'est bel et bon»<sup>1</sup>.

Иниго был из числа тех людей, которых можно превзойти во всем, но не в великодушии. Поэтому он не захотел умолчать об учтивости, оказанной ему Баяром. Последний со скромностью, которая всегда сопутствует доблести, решительно протестовал, говоря, что он делал все, что мог. Гонсало прекратил эту борьбу великодушия, сказав:

— Из ваших слов, рыцари, может возникнуть сомнение, кто из вас лучше сегодня бился на копьях; но, что вне всякого сомнения, так это то, что нет в мире ни более благородных, ни более великодушных рыцарей, чем вы...

---

<sup>1</sup> Рыцари, это прекрасно!



### ГЛАВА XIII

Под звуки труб появился Корреа с алебардой и небольшим круглым щитом, чтобы ответить на вызов Баяра, который, сев на новую лошадь, приготовился к бою. Устремившись друг на друга, оба рыцаря не пустили лошадей во весь опор, но держали их на галопе, то обуздывая, то прищипывая, пока не встретились. В этой схватке быстрота карьера не придавала силы удару, как в бою на копьях. Ловкость их скорее зависела от крепости руки, а больше всего от умения управлять лошадью так, чтобы она, взвившись

на дыбы, во-время сделала вольт и стала на передние ноги; этот момент рыцарь выбирал для удара обычно по шлему противника; если удар бывал удачным, он приобретал такую силу, что трудно было удержаться в седле. При первой встрече обе лошади, вымуштрованные по всем правилам, вздыбились и стали одновременно, отчего бойцы, прикрывшись щитами, не смогли нанести друг другу удара и разъехались. То же повторилось при второй встрече. В третий раз Баяр, учитывая манеру противника, понесся уже с большей стремительностью, и Корреа пришлось сделать то же, но когда они столкнулись, француз приостановил лошадь, оттянув ее назад как раз в тот момент, когда противник, не ожидая подобного маневра, поднял свою в воздух, намереваясь ударить, но опустил коня, не сделав этого. Баяр с невероятной быстротою улучил момент, схватил в обе руки алебарду, пришпорил лошадь и, стоя на стремянах, изо всех сил ударил по шлему Корреа, так что тот пригнулся к лошади. Зрители ожидали, что он встанет, но он был так ошеломлен, что свалился на землю, и двое оруженосцев вынесли его за черту поля. Баяр послал привет балкону доньи Эльвиры среди криков всего амфитеатра и поздравлений с победой. Но скоро он должен был вернуться и сразиться с Асеведо, который, выступив вперед, вызвал его на бой вместо своего товарища. Сражение продолжалось долго и с переменным успехом, но судьи признали, что перевес был на стороне французского рыцаря.

Около входа, за амфитеатром, было отведено место, обнесенное изгородью, где рыцари, уча-

стники сражения, могли разместить слуг, лошадей и сами вооружиться. Гонсало принял меры, чтобы там было все необходимое. Стояли столы для складывания оружия, кузнец с переносной кузницей на случай починки какой-нибудь части оружия и, наконец, буфет с пищей и винами. Бранкалеоне было вменено в обязанность следить, чтобы все было в порядке и всем оказывались нужные услуги.

Бранкалеоне был занят своим делом, когда Грайано д'Асти, которого он знал, потому что видел его, когда они с Фьерамоской возили вызов во французский лагерь, явился с оруженосцами, которые несли оружие и вели его боевого коня. Бранкалеоне, который, как всегда до этого момента, не очень много разговаривал, встретил Грайано более многоречиво и любезно, чем обыкновенно. Кто видел его тут, зная его манеру в таких случаях, сообразил бы, что какая-то тайная цель побуждала его искать знакомства с Грайано. И на самом деле цель у него была, и очень важная, как это выяснится в свое время.

После первых приветствий и услуг, когда было проделано все необходимое, Грайано вступил с ним в беседу, в то время как оруженосцы помогали ему снимать богатые одежды и надевать прямо на тело куртку и штаны, на которые потом прилаживалось вооружение.

У Грайано было прекрасное снаряжение с позолотой на блестящей стали; оно лежало на столе. Бранкалеоне очень внимательно рассматривал его и, взяв в руки нагрудник, чтобы помочь рыцарю застегнуть его на спине, заметил, что он сделан из двух стальных пластин, и решил, что он непро-

нищаем; панцырь был двойной и такой же крепости. Потом он взял наручи, набедренники, поножи и глазом знатока определил, что они выдержат любое испытание. В то время как он был погдощен этим осмотром, смелый наблюдатель уловил бы на его лице странную складку, а на губах злую усмешку, но в тот момент не было никого, кто привлек бы к себе его внимание. Оставалось надеть только шлем, и Бранкалеоне, осмотрев его, заметил, что его качество не соответствует остальному снаряжению; тогда он задал вопрос, не носит ли Грайано под ним кольчужный или железный чепец; получив отрицательный ответ, он пожелал узнать, почему для всего тела он пользуется крепким вооружением, а для головы не принимает мер предосторожности.

— Потому что,—отвечал Грайано,—при штурме небольшой крепости, цена которой грош (один сумасбродный герцог Монпансье упрямо требовал, чтобы она была взята), когда подняли подъемную лестницу, то один из защищавших ее абруцских подлецов сбросил на меня камень, который сплющил острие шлема и пробил мне голову; чтобы заполнить эту дыру, мне кажется, потребуется целая лопата земли. Вот полюбуйтеесь-ка!

С этими словами он схватил его за руку и, поднеся ее к голове, заставил ощупать отметину на середине черепа; было совершенно ясно, что ему нельзя было носить более тяжелого шлема.

— Из-за этой раны, чорт бы побрал того, кто мне ее нанес, я лишился денег, должен был покинуть короля Карла и остаться на несколько месяцев в Риме для лечения. Правда,—добавил он,—мне удалось отделаться от обузы в лице

жены... в чем была своя плохая и хорошая сторона. Затем я устроился на службу к злодею Валентино, пока, наконец, такова была воля божия, не вернулся к французам. Над ними по крайней мере ни дождь не каплет, ни снег не падает, в конце каждого месяца уплачивают флорины, совсем как в флорентийском банке Мартелли.

— А как же,—настаивал Бранкалеоне,—вы устраиваетесь с этим шлемом, когда вам грозит хороший удар?

— Ну,—ответил Грайано,—я об этом не думаю. Во-первых, шлем из дамасской стали и превосходной закалки. А потом, когда я замечаю в бою того, кто хочет согнать мух с моей головы, я прибегаю к щиту, так что хитер будет тот, кто меня достанет (тут он показал ему щит и ремень для привязывания к шее), вот смотрите, какой он у меня длинный, чтобы не стеснял руки.

Бранкалеоне промолчал, еще раз осмотрел как следует шлем, повертел его со всех сторон, постучал по нем суставами пальца, чтобы заставить его зазвенеть, словом, познакомился с ним как нужно. Потом открыл его и надел на рыцаря.

В это время между тремя испанцами и Баяром происходила описанная нами схватка. Победитель явился к Грайано в тот момент, когда он только что кончил вооружаться и собирался сесть на коня. Рыцарь из Асти сказал победителю несколько любезных слов и, заметив, что Бранкалеоне их не слушает, осведомился у Баяра о качестве своих противников.

Баяр снял железные перчатки и шлем, положил их на стол и, отерев пот, сказал:

— Дон Инниго де Айала—bonne lance, foi de chevalier<sup>1</sup>.

Похвалив и других по заслугам, он дал воину, шедшему на бой, несколько указаний, как держаться. И они не пропали даром.

На поле Грайано выехал на большой вороной лошади под оранжевым чепраком, и герольд громко назвал его имя; затем рыцарь направился к балкону Гонсало и трижды ударил копьём по щиту Асеведо и Инниго. При звуке его имени глубокое и неподдельное волнение охватило все существо Фьерамоски. В нем заговорила совесть, что он скрыл от Джиневры, что Грайано жив; как человек тем более склонный к добрым намерениям, чем дальше отодвигается их выполнение, он решил при первом же случае рассказать все.

Сражение началось. Пьемонтец, который по крепости и ловкости считался в числе первых, получил определенный перевес над Асеведо, хотя и не сумел выбить его из седла, а с Инниго дело у него пошло так, что общий приговор был в его пользу. После него пробовали свои силы французы—синьор де ла Палисс, Шаяденье, Обиньи и Ламот, который, будучи выведен из себя спором с Диего Гарсиа из-за быков, в этот день творил чудеса.

Правду сказать, три испанца, защищавших поле, оказались в худшем положении и должны были почувствовать, что их мысль выступить только втроем против лучших сил французского войска оказалась выше их сил. Но Инниго и Асеведо оставались еще в седле; Грайано, который уже один

---

<sup>1</sup> Славное копьё, клянусь честью.

раз бился с ними, снова устремился на них. Утомление их от боя отчасти помогло ему; на его долю выпало окончить сражение, уложив одного противника за другим. Он был провозглашен победителем турнира. В награду за победу при звуках инструментов и общих рукоплесканиях он получил из рук доньи Эльвиры роскошный шлем. По окончании праздника Гонсало встал и вместе с дочерью, французским полководцем и всеми баронами возвратился в крепость, где ввиду приближения пира приготовляли столы. Площадь и амфитеатр опустели, все здешние и нездешние разошлись кто куда: кто по домам, кто по трактирам, в частности к Велено, где можно было отдохнуть и подкрепиться, беседуя об изменчивой судьбе турнира.

Джиневра утром того дня, который готовил ей горькие испытания, проснулась позднее обыкновенного. С трудом могла она справиться со своими мыслями и только на рассвете забылась сном,— сном, полным самых фантастических образов. То ей мерещился раненный Фьерамоска со взором умирающего, словно взывавший к ней; то ей казалось, что он победитель, увенчанный славой, среди баронов, с презрением отводит свои глаза от нее и обращает их на другую даму, протягивая той правую руку. Во сне, стараясь успокоить себя, она думала: «Хорошо бы, если бы это был только сон», и вся дрожала, воображая, что слышит праздничные звуки, сопровождающие свадьбу Этторе: звон колоколов, орудийные выстрелы. Этот шум в конце концов так потряс ее, что она проснулась вдруг, раскрыла глаза и, повернувшись лицом к балкону, с которого открывался вид на



Барлетту, решила, что даже, если все это было сном, то не сном был шум, долетевший до ее слуха. Она присела на кровати и, выставив из-под одеяла маленькую ножку, округлую и белоснежную, сунула ее в красную туфельку, надела поверх рубашки голубое платье и откинула за уши свои длинные каштановые волосы.

Потом вышла и села под виноградными листьями на балконе, с удивлением устремив глаза, ослепленные блеском прозрачного и ясного неба, на величественную картину, открывавшуюся перед нею.

Солнце, взошедшее часа два тому назад, освещало берег, город и крепость. Среди башен и розовых вершин вала по временам вдруг показывались шары жемчужного цвета, пронизываемые быстрыми полосами огня; в лучах солнца они блистали очень ярко, дробясь на тысячи кружков, которые, исчезая, таяли в лазури неба; по временам слышался треск, который, будучи отражен волной, вновь возникал среди прибрежных скал и постепенно терялся вдали, как эхо, среди горных ущелий. Крепость и город, окутанные дымом, быстро рассеявшимся в морском воздухе, отражались в синеве застывшего моря, и их опрокинутые очертания только чуть дрожали в воде, но были совершенно целые.

Звуки музыки и колоколов то усиливались, то ослабевали, смотря по силе ветра; среди монастырской тишины можно было порою различить крики и возгласы народа, обращаемые к испанскому полководцу. Но ничто—ни это проявление веселья, ни смеющаяся картина перед глазами Джиневры не могли рассеять ее грусти. К угрызениям сове-

сти примешивалось нечто—ужасное подозрение, что она обманута тем, ради кого она принесла безмерную жертву, ослушалась голоса долга и совести. Сомнение, которое отвергал ее ум и которого страшилось ее сердце, в конце концов победило. Каждый знает по опыту, как трудно его рассеять. И в самом деле, если то, чего она боялась, было ложью, то разве различные обстоятельства не сообщали ему вероятности?

Этторе, конечно, скрыл от нее встречу с Грайано; но, привыкнув всегда признаваться во всем, он не сумел притвориться так, чтобы Джиневра не догадалась, что у него была тайна, которую он не хотел открыть. С другой стороны, необычное поведение Зораиды было для нее как иголка, которую нельзя вырвать из сердца. Джиневра думала: «Пусть меня убедят, что и Этторе тоже не догадывается, пусть меня уверят, что он тут не при чем». Пытаясь из всего этого вывести заключение, Джиневра запуталась в лабиринте сомнений, не находя выхода.

Усталая от своих напряженных мыслей, она поднялась поискать человека, с которым могла бы поговорить и немного рассеяться, и пошла за Зораидой. Ее не оказалось дома. Тогда Джиневра спустилась в сад, но там ее тоже не было. Она стала расспрашивать про нее в монастыре у нескольких человек, оставшихся там, но никто не знал, где Зораида. Грудь Джиневры болезненно сжалась, и тысячи неясных подозрений пронеслись в уме. В поисках Зораиды она очутилась у башни, которая сторожит вход на остров. Башня осталась без всякой охраны; по уходе коменданта все друг за другом отправились любоваться празд-

неством. Джиневра миновала мост и пошла берегом; справа от нее было море, а слева—подъем в гору, заросшую густым кустарником. Она подвигалась медленно и настолько ушла в свои мысли, что для нее как бы не существовало ничего окружающего. Вдруг она услышала шорох в ветвях; в испуге она видит человека, который еле-еле держится на ногах, на нем висят окровавленные лохмотья, он весь оборван, с длинными всклокоченными волосами, падающими на лицо. Он бросается на колени к ее ногам. У нее мелькнула мысль—бежать, но она была женщина смелая и осталась. Пристально посмотрев на странного незнакомца, она узнала в нем атамана Пьетраччо, которому, по совету дона Микеле, они с Фьеромоской помогли скрыться.

Дело тогда произошло так, как предвидел пособник Валентино. Пока женщине подавали помощь, он бросился по лестнице, потом через ворота, угрожая кижалом каждому, кто преградит ему дорогу, и вырвался, хотя и получив несколько ран. Он очутился в чаще леса, где ему, опытному и очень ловкому человеку, и удалось спастись. Чтобы не попасться в руки тех, кто его разыскивал, он должен был жить впроголодь, укрываясь в глубине леса.

Теперь, случайно оказавшись возле той, которой он не боялся, считая ее своей освободительницей, мучимый голодом, он просил о помощи, знаками указывая на свою бедность, сквожившую в его внешности. Джиневра сжалилась над несчастным и сказала ему, чтобы он не боялся, что в монастыре только одни монахини, что за отсутствием стражи башни она спрячет его в сарае

для дров под своей комнатой. Разбойник успокоился. Предпочитая, быть может, смерть такой жизни, он последовал за Джиневрой и незамеченным добрался до своего убежища. Там жалостливая Джиневра накормила его, перевязала рану, которая требовала ухода, хотя и не была серьезна, и на соломе устроила его постель. Потом Джиневра поднялась к себе как раз в тот момент, когда Зораида и Дженнаро вернулись из Барлетты. Джиневра не могла не попенять девушке за ее уход без предупреждения.

— Зораида! я измучилась, ища тебя по всему острову. Почему ты не сказала, что уходишь?

— Чтобы не будить тебя,—отвечала Зораида. Мало искренний ответ слегка окрасил румянцем ее щеки, что не укрылось от Джиневры. Потом она продолжала:

— Я ушла рано с Дженнаро и...

— И,—с улыбкой произнесла Джиневра,—ты вчера вечером не знала, что сегодня пойдешь на турнир?

Прямой вопрос Джиневры заставил Зораиду покраснеть от обиды, и она коротко ответила:

— Да... у меня было такое желание.—Потом, подхватывая прерванную мысль, она продолжала:—Давно мне хотелось посмотреть на турнир, чтобы самой убедиться, что это празднество выше арабских празднеств. Но, клянусь богом, то, что проделывают здесь кавалеры и синьоры, у нас заставили бы исполнять рабов, и ни один из наших вождей не отдал бы своей жизни ради развлечения трех или четырех тысяч зрителей из простонародья.

Джиневра, заметив, что Зораида уклоняется от

других объяснений своей поездки и поднимает разговор о турнире, не настаивала и спросила:

— Хорош ли был турнир?

— Хорош, да еще как!—вмешался Дженнаро, который буквально сгорал от нетерпения описать празднество. Он начал свой рассказ с выхода Гонсало и описывал, как умел, богатство и роскошь баронов. Потом, желая сказать ей приятное, он, тряся головой и сжимая губы, в то время как его руки на тысячу ладов вертели берет, продолжал:—Если бы вы видели, как ваш брат сидел на коня, на замечательного жеребца: серебристой масти. Кругом в один голос говорили: «Вот так молодец!» И вправду, в вашем голубом плаще он был, как две капли воды, похож на картинку. Мне хотелось протискаться сквозь толпу и проводить кавалькаду за ворота. Пришлось поработать локтями... да... но когда дочь синьора Гонсало вышла из носилок, я был от нее на расстоянии, как до вас; синьор Этторе посадил ее на лошадь, вернее, она поставила ему ножку на колено: вот так, смотрите (тут он вытянул большой палец правой руки и указательным левой коснулся его сустава), и потом она прыгнула вверх так ловко, словно сверчок. Знаете, что я вам скажу? Должно быть, здорово понравился ей ваш брат; когда она была уже в седле, она сказала ему несколько словечек и состроила мордочку, как только она одна умеет. Он, я заметил, весь вспыхнул. Один бог знает, что такое она ему сказала! Я же подумал про себя: «Дай срок, и синьор Этторе будет женихом». Это, скажу я вам, была бы отличная пара: ведь они созданы друг для друга.

Каждый поймет, насколько приятен был Джиневре этот рассказ и эти предположения. Ей было не по себе, и, желая отделаться от Дженнаро, она отрывисто сказала:

— Так, так... но об этом ты расскажешь в другой раз,—и направилась с Зораидой в свою комнату. Но Дженнаро, который был в ударе, не хотел ее отпускать и продолжал:

— И это еще не все. Надо было их видеть в ложе синьоров. Он все время сидел рядом с ней, они только и делали, что разговаривали. Вот и Зораида подтвердит, что на них все обратили внимание. Хозяин трактира Солнца, поставщик вина в замок, сказал нам, что отец доволен, что он женится на ней. Это было бы превосходно. Знаете! Столько тысяч дукатов! Совсем другое, нежели всю жизнь мыкаться на коне в дождь и ветер!

Чтобы положить конец всем этим неприятным для нее разговорам, Джиневра, хотя и сознавала тщетность своей попытки, все же спросила:

— Но турнир, в конце концов, турнир?

— О, турнир! В Барлетте еще никто не заомнит такого.

И тут, начиная с боя быков и подвигов Диего Гарсиа, он описал все: бои с алебардой и с копьем, повторяя имена всех, кого провозглашали герольды. Память очень помогла ему в этом. В заключение он сказал:

— А закончил турнир синьор дон Грайано д'Асти. Он вышел из седла одного за другим всех трех испанцев.

— Кто? кто?—переспросила Джиневра, изменившись в лице, не своим голосом.

— Какой-то синьор дон Грайано д'Асти, должно быть, важный барин: оружие и одежда его блистали роскошью.

— Ты сказал—Грайано д'Асти? Большой? маленький? молодой? какой?

Дженнаро, который отлично заметил каждую мелочь оружия, лица и вид всех бойцов, великолепно запомнил и лицо Грайано, вступившего на поле с поднятым забралом, и смог описать его с такой точностью, что у Джиневры не оставалось никакого сомнения в том, что это был ее муж. Однако она умела хорошо владеть собой, чтобы не выдать охватившего его волнения, и понимала, как ей важно сохранить свою тайну. Пока Дженнаро описывал вид и черты барона, она собралась с духом и, заметив, что оба слушателя обратили внимание на ее волнение при имени Грайано, она, чтобы рассеять всякое сомнение, сделала паузу и, когда садовник перестал говорить, продолжала:

— Не удивляйтесь, что при имени Грайано я смутилась. Когда-то между ним и моим домом произошли странные события. Потом дело уладилось и много лет не было никакого повода для размолвки. Всего я могла ожидать, но только не того, чтобы встретить его в Барлетте на службе у французов.

С этими словами она направилась в свою комнату.

Зораида и Дженнаро догадались по ее лицу, которое временами менялось, что какая-то серьезная и тайная мысль терзала ее. Поэтому они не решились пойти за ней и, когда она удалилась, садовник сказал молодой девушке:

— Не плохо ли ей? Но ведь я не сказал ничего такого!

Зораида, у которой в голове было совсем другое и которая прекрасно могла бы угадать мысли и подозрения Джиневры, ответила пожатием плеч и тоже пошла, желая, как и Джиневра, остаться одна. Дженнаро с беретом в руке ворчал, направляясь по своим делам:

— Все они на один лад! Хитер будет тот, кто их поймет!

По небольшой лесенке Джиневра поднялась в комнату. На каждой ступеньке ей казалось, что она задохнется. Дышать становилось все труднее. Казалось, сердце стучит с такой силой, что вот-вот она упадет в обморок. Она тихо шептала: «Дева святая, помоги мне». Когда головокружение усилилось, она смогла только выговорить: «Боже мой, боже мой!» Наконец она почувствовала такое стеснение в груди, что колени у нее подкосились. Она должна была присесть на четвертой или пятой ступеньке, на которую еле взойшла. Покрытая потом, часто и прерывисто дыша, она думала: «Мне не дожить до завтрашнего утра». Она услышала, как Зораида с другой стороны прошла в свою комнату и заперлась в ней, знала, также, что после полудня в жаркие часы монахини разошлись на отдых по своим кельям, но тем не менее боязнь быть застигнутой в таком жалком состоянии угнетала ее. Чтобы избежать этого, она решила не входить в комнату, а, наоборот, через маленькую дверь монастыря пройти в церковь, где она надеялась найти помощь и защиту от грозивших ей напастей. Она с трудом двигалась, то цепляясь за стены, то стараясь итти обыч-



ной походкой, если замечала, что кто-нибудь из послушниц проходит коридором или какая-нибудь монахиня показывается в окне.

В церкви не было ни души. Она упала на ступеньку хора и долго там оставалась, обхватив руками голову и положив локти на колени,— ей хотелось притти в себя. Самые странные мысли без всякого порядка пронеслись в ее голове.

Позади главного алтаря по восьми или десяти мраморным ступенькам она сошла в подземную часовню; там пять серебряных лампад день и ночь горели перед образом мадонны, будто бы написанной на стене св. Лукой. Чудеса, по слухам происшедшие в этом месте, были причиной возникновения церкви и монастыря. Часовня представляла собой шестиугольник, против лестницы находились алтарь и образ. В каждом углу колонна с капителью, украшенной крупными листьями в античном духе, поддерживала одно из ребер свода, которые сходились все вверху в каменном кругу с широким решетчатым отверстием, приходившимся перед ступеньками алтаря. Через это отверстие проникал в подземное помещение тонкий солнечный луч, пробивавшийся сквозь цветные стекла одного из окон свода. Рассекая мрак, слабо озаряемый красноватым светом лампы, этот луч образовал в воздухе полосу и отражал на полу цветные стекла и форму решетки. Джиневра пошла склонить колени у алтаря, и когда луч попал на нее, то свет, отраженный от ее голубой одежды, вдруг озарил всю часовню, словно то была лампада с бледным сиянием. Плотно сложив руки на груди, она начала молиться и впила глазами в образ; по-

степенно ей стало казаться, что пульс ее бьется все тише и в груди водворяется покой. Ее мольбы, бессвязные, но согретые сердечным чувством, мало-по-малу вернули ей спокойствие.

Как все древние образа, лицо мадонны выражало такую божественную и величественную скорбь, что измученной девушке почудилось, будто мадонна сочувствует ее печали; она старалась взглянуть в нее, и ей казалось, что она видит в очах мадонны какой-то блеск, который наполнил ее священным трепетом и дал ей некоторое утешение.

— Пречистая!—говорила она с чувством.— Стою ли я твоего сострадания? Но кто еще поможет мне, как не ты? Вот у ног твоих—мои скорби. Смотри, я не выдержу испытания и не в силах уйти от него. О, дева! вложи мне в сердце такие силы, чтобы я смогла сделать то, что захотела!

Устремив глаза на мадонну, вся в слезах, она долго стояла, как бы отдавая себя под защиту той, кого зовут матерью и утешительницей всех скорбящих, на себе испытывая, что тот, кто на земле утратил все—вплоть до надежды, может еще прибегнуть к небу.

В памяти ее вставали картины ее жизни, невинные детские радости, волнения юности, первые слова любовных признаний, первые искренние угрызения совести и затем вся пестрая смесь мук и бедствий после замужества. Она пробежала мыслью свои последние годы в непрерывной чередке немногих радостей, горя и жгучих терзаний. Теперь в довершение всего она видела, что подобно тому, как улетучивается долгий сон, ис-

чезает уверенность, которой она до сих пор жила, что Эttore не мог изменить ей. И вот сейчас, — когда ей, потрясенной всеми волнениями и желавшей последовать за голосом бога, казалось невозможным принять какое-нибудь решение, воля бога вещает свыше и как бы насильно ставит ее на путь, который она должна пройти, чтобы найти своего мужа.

— Прочь сомнения! — подумала она. — До сих пор, пока я могла верить, что его нет, это, может быть, было попыткой оправдать себя, но как мне, несчастной, быть теперь?

Тут неожиданная преграда выросла в ней.

— А если я приду к нему, и он спросит меня: «Где ты была до сих пор?..»

Не легко было найти ответ. Убитая этой мыслью, она, казалось, была совершенно неспособна вынести взгляд своего судьи и тут же решила оставить этот план и искать другого выхода из лабиринта. Но чем больше она думала, тем больше сознавала, что шаг, к которому питала такое отвращение, — единственный, какой ей остается. Она говорила себе.

— Кого мне жалеть? Самое себя? Если бы я вела себя по-другому, так, как следовало бы, я не испытывала бы сейчас такого горестного унижения, и оно будет тем горше, чем дольше я буду медлить.

У Джиневры был твердый характер, она не терпела нерешительности и поэтому смело сказала:

— Можно ли так терзаться? Можно ли отвергнуть надежды, вырвать страх иной жизни? Нет. Следовательно, надо выполнить долг и не думать о другом. Тоска, которой я предаюсь, ис-

купит мои грехи. Матерь божия, сжапись надо мною в этом и в том мире. Если Грайано не простит меня, что может быть для меня хуже? Покончить с собою? Моя бессмертная душа возвратится к богу, принесет плоды покаяния и заслужит милость и прощение.

После горячей молитвы она твердым и быстрым шагом, как бы собравшись с силами, поднялась в церковь и пошла в свою комнату, чтобы обдумать, как осуществить свой план. Как всегда, она села на балконе, выходящем на Барлетту, и предалась размышлениям. Более удобного случая вернуться к мужу она не могла себе представить. Она была уверена, что встретит его на празднестве в барлеттском замке, куда без всяких препятствий могла попасть через полчаса по морю. Если же, напротив, она будет дожидаться, пока он снова вернется во французский лагерь, то трудности удвоятся. Поэтому она сказала себе:

— Не стоит предаваться сомнениям. Еще до завтра я должна быть с ним. Но Этторе? Как предупредить его? Сегодня он, наверное, не придет. Ждать? Я не в силах. Оставить остров, покинуть Этторе, чтобы он не знал о случившемся со мной? Он, которому я обязана своей жизнью?

Здесь ее осенила мысль, достойная ее души.

— Если при разлуке с ним я выскажу ему, что сердце чувствует к нему, вспоминая прошлое, тогда—я знаю его очень хорошо—он до конца своей жизни не отведает радости. Напротив, если я уйду, без всяких оснований, он сочтет меня неблагодарной, и память обо мне быстро изгладится из его сердца...

Она не могла остановиться на этой мысли и, вздохнув, сказала:

— Грехи мои велики, но эти муки еще ужаснее.

В тревоге, которая всегда сопровождает сильные душевные потрясения, вытирая глаза рукой, она поднялась и понемногу пришла в себя. Потом стала рыться в сундуке и наткнулась на лоскуток от голубого плаща Фьерамоски и на серебряную нитку, которой он был вышит. Нетрудно себе представить, что пережила Джиневра при виде этих предметов. Первым ее движением было схватить их и взять с собой, но тут же, кладя их на прежнее место, она сказала:

— Нет... всякая мысль о нем должна быть вырвана навеки. Мне достаточно будет знать, что он счастлив благодаря мне.

Она написала настоятельнице монастыря, в кратких словах благодаря ее за гостеприимство, заверяя ее в своей дружбе и упоминая, что серьезная причина заставляет ее удалиться не простившись и что в недалеком будущем она надеется дать более точные сведения о себе.

Когда она выполнила этот долг, ей нечего было больше делать в монастыре. Но она не хотела уходить до вечера. Оставалось еще около часа, и она решила терпеливо переждать его на балконе. Более мучительного способа провести время для нее в тот момент не было. Она обвела взглядом внутренность комнаты, посмотрела на маленький узел на столе, который должен был быть ее спутником в столь горестном путешествии, и стала думать об ожидающих ее огорчениях. Посмотрела на постель, оправленную, как всегда,

послушницей, и в голове пронеслась мысль, что вот здесь она провела последнюю ночь и что одному богу известно, где она уснет сегодня. На балконе ей стало тяжелее: она увидела полосу моря, отделявшую ее от крепости Барлетты, и вспомнила, как много раз, напрягая зрение, она узнавала, как темную точку в воде, лодку Фьерамоски. Теперь ей предстояло преодолеть это пространство. Но куда она пойдет?



#### ГЛАВА XIV

Пока Джиневра ждала и в то же время боялась наступления ночи, Пьетраччо, спрятавшийся в сарае для дров под ее комнатой, подозрительно и нетерпеливо ждал, надеясь, что вечер подскажет ему способ ускользнуть незамеченным.

Окно, через которое к нему сверху проникало немного света, находилось на поверхности земли в глухом уголке монастыря, который зарос ежевикой и крапивой и куда редко кто заглядывал.

Разбойник удивился, услышав шаги в зелени, и еще больше перепугался при виде человека, оста-

новившегося у окна; он его сейчас же узнал. Это был комендант балшни. Разбойнику хотелось получше спрятаться среди вязанок хвороста, но боязнь, как бы треск сухих листьев не выдал его, удерживала его на прежнем месте. Он даже старался не дышать; поэтому мог отлично слышать разговор коменданта и его спутника.

— Вот здесь,—начал Мартин,—окно первого этажа, где стоит клетка и ваза для цветов. Как видите, даже без лестницы, через решетку окна первого этажа, можно пробраться свободно... Хорошо... Когда вы будете наверху, вы очутитесь в коридоре со многими дверями, помните, что первая дверь налево—в комнату мадонны. В помещении для приезжих народу мало. В восемь часов вечера все монахини спят. Вы можете пройти сюда к десяти и увезти даму. Вы уже будете на расстоянии мили в море, прежде чем вас хватятся. Собак я запру; людей своих я отпустил и велел сказать, чтобы те, кому они нужны, в эту ночь искали их по барлеттским кабакам. Итак, указания вам даны. Но смотрите и зарубите вашему чорту-товарищу, чтобы ловчился сам и что я не намерен за несколько флоринов терять жалование, которое выплачивает мне аббатисса. Действуйте поэтому, с толком. В случае плохого конца я уже решил свалить вину на вас и выйти сухим из воды. Условия ясны, дорогие друзья.

Боскерино, к которому относились эти рассуждения, слегка потрогал коменданта за кончик усов и сказал ему, покачивая головой:

— Свалить вину на того, кто отвечает за это похищение! Ишь, куда ты забираешься: для этого братец, нужна другая рука, а не твоя. Благодаря



святого Мартина, что барлеттский замок далеко и кто-то не слышит оттуда твоих слов. А то хоть мы в апреле, а тебе пропишут январь. Слушай, брат, обо всей этой истории,—выйдет дело, или прогорит,—молчок. Так будет для тебя же лучше.

Мартин, который был на обеде, данном Гонсало в Барлетте, и от выпитого там вина чувствовал в груди львиную отвагу, ответил, не смущаясь:

— Повторяю, что ничего на свете не боюсь. Если я готов оказать вам услугу, то больше потому, что у солдат так водится. Даже за эту малую толику дукатов. У меня нет охоты ломать себе шею и терять свое место неизвестно ради кого. Поэтому говорю вам ясно: будьте благоразумны, ибо, если вас накроют, я сумею оправдаться. Что касается зачинщика, мне наплевать, кто он. Когда я в своей башне, до меня не доберутся. Понятно? До свидания!

С этими словами он двинулся к башне, оставив Боскерينو, чтобы он хорошенько рассмотрел местность. Последний дал ему удалиться, поглядывая вслед с улыбкой сожаления, а затем не удержался и достаточно громко, так что Пьетраччо было слышно, сказал:

— Осел! Задумал тягаться с Цезарем Борджа. Нашел, кто будет таскать тебе каштаны из огня. Это, видно, крепкое аликаанте действует на тебя.

Из этих слов, как из всего предыдущего диалога, прослушанного с великим вниманием, разбойник понял, что по приказу герцога Валентино задумано похищение его покровительницы и что герцог находится в Барлетте. Можно поверить, не обижая Пьетраччо, что намерение вступить за Джиневру не было его первой мыслью.

Что понимал он в благодарности? Но надежда расстроить план своего самого большого врага и врага своей матери и другая еще более яростная перспектива напасть на него в толпе, в суматохе праздника и прикончить—заставили его задрожать от радости. По уходе Боскерино он поднялся, вытащил из-за пазухи тонкий и острый кинжал, данный ему доном Микеле, пальцем стал пробовать острие, стискивая в то же время зубы, как бы во время рукопашной. Потом подумал о том, как ему целым и невредимым пробраться в Барлетту.

В монастыре зазвонили к вечерне. Через полчаса он тихо поднялся, открыл ворота и, осмотревшись кругом, увидел, что вся площадь была пустынна, но для того чтобы попасть на сушу, он не решился пройти ни по низу башни, ни по мосту. Зная, что для него самый верный путь—это полоска моря между островом и берегом (было всего несколько сот аршин), он сошел по лесенке прямо к воде и, раздевшись, связал свое белье в узелок, привязал его на голову и бросился в воду. В несколько минут он незаметно для себя оказался на берегу. Было темно. Он наспех вытерся, оделся и скорым шагом двинулся к городу.

Днего Гарсиа де Паредес едва справился с вопросами, возникшими в связи с его удивительным приемом борьбы с быком, как вспомнил о важном поручении Гонсало и поспешно вышел из амфитеатра. Поручение заключалось в наблюдении за приготовлениями к грандиозному обеду, который должен был состояться в замке. Так как времени было в обрез, то он поспешил на кухню;

в нем еще не улеглось раздражение от слов Ламота, и появление его среди поваров и слуг, возившихся около кушаний, не обещало им ничего хорошего. Им не приходилось ждать, что он спустит им оплошность и небрежность.

— Ну, и как?—спросил он, остановившись в дверях и скрестив руки на груди.—Все в порядке? Ведь до обеда осталось меньше часа.

Главный повар, большой и толстый здоровяк, стоял у стола, насаживая дичь на вертел с брезгливым выражением, свойственным всем поварам в подобном случае, даже если все идет по порядку. У него была серьезная причина сердиться: не хватало дров. Кроме того, так как он не мог поддерживать огонь в очагах, то жаркое у него поджаривалось плохо, и грозила опасность, что обед не успеет к назначенному сроку и что мясо не будет подано на стол в надлежащем виде. А кто знает, насколько ревнива честь повара, тот может себе представить, в каком душевном состоянии находился человек, к которому испанец обратился с вопросом. В этот момент повар мог бы не ответить самому пале, а Паредесу приходилось отвечать.

Повар поднял голову и, тряся в кулаке дичь, сказал:

— Дьявол сунул сюда нос, синьор дон Диего. Сам сатана... Предатель дворецкий оставил меня без дров. Я велел этим лентяям пособирать кругом, пусть поищут, где можно, а они все провалились и никто не кажет сюда носа.—И закончил свою речь не то вздохом, не то рычанием.

— Дрова или не дрова,—закричал Паредес.—Клянусь, что если обед не будет готов к назна-

ченному сроку... Мерзавец!—И в повара полетел весь букет испанских ругательств, так что тот не мог не воскликнуть в ответ:

— Ваше сиятельство, научите меня, как жарить мясо без огня.

Диего Гарсиа был не из тех силачей, которые обрушиваются в гневе на слабых, когда те чувствуют свою правоту. Поэтому ответ повара сначала распалил его еще больше, но вскоре, сознавая, что повар прав, он сказал:

— Куда же провалился разбойник дворецкий?

И не дожидаясь ответа, он повернулся, сошел во двор и громко крикнул:

— Искиердо, Искиердо, чорт тебя побери!

Искиердо возвращался от соседнего дровяного сарая; с помощью поварят он нагрузил там дровами ослов и гнал их теперь вперед ударами палки. Все шествие вступало во двор, когда дворецкий услышал, что его зовут. Он стал ударять ослов еще сильнее, чтобы хотя отчасти вина пала на бедных животных. Одному богу известно, что претерпели эти ослы!

Подойдя к Паредесу, Искиердо начал извиняться, но тот прервал его:

— Друг, поживее, болтай меньше, поскорее связывай дрова, а не то я смеряю их на твоей башке.

Чтобы попасть в кухню со двора, нужно было сначала подняться на три ступеньки, потом темным переходом пробраться во дворик, посреди которого имелось обнесенное небольшой стеной углубление. Дверь на дне этого углубления вела в кухню, откуда шел спуск по витой лестнице. Гарсиа от нетерпения топал ногами, видя, с ка-

кими мучениями приходится людям носить дрова. Считая, что дело подвигается очень медленно, он в бешенстве наклонился под брюхо одного из ослов, поднял его вместе с поклажей, как козленка, за передние и задние ноги и понес к отверстию углубления. Там он спустил ношу вниз, и дрова оказались снизу, а осел с болтавшимися в воздухе ногами сверху. То же и с тем же увлечением он проделал со вторым и третьим ослом. Поэтому в отверстии, не очень широком, очень быстро выросла груда дров с мордами, ушами и ногами избитых и ободранных ослов. Очумелые повара, не зная, как освободить животных, хватали дрова и швыряли их в кухню. Страх перед Диего Гарсиа охватил повара; он вышел и тоже стал помогать. Время от времени он поглядывал наверх, чтобы посмотреть, продолжается ли дождь из ослов, чтобы во-время успеть спастись от него. В мгновение ока топки оказались полны, и толчок, так оригинально данный Паредесом, заставил каждого работать за троих. Убедившись, что дело идет хорошо, дон Диего стряхнул с себя пыль и, не переставая ворчать, пошел домой переодеться и, когда вышел во двор, то увидел, что он полон людьми, возвращавшимися с турнира. Гонсало, герцог Немурский, дамы и бароны успели полюбоваться на последнего из ослов на плечах Диего Гарсиа. Он объяснил им, в чем дело, и они со смехом и остроумиями принялись потешаться над испанским бароном. А потом поднялись в приготовленные для пиршества комнаты и стали дожидаться обеда.

В зале длиной в сто шагов, находившемся перед апартаментами Гонсало, стоял большой стол

в форме подковы, который занимал все помещение и мог обслужить около трехсот человек гостей. С той стороны, которая была дальше всего от двери, у выпуклой части стола стояли четыре бархатных кресла с золотой бахромой для герцога Немурского, Гонсало, доньи Эльвиры и Виттории Колонна. Со стены над их головами свешивались знамена Испании, значки дома Колонна и боевые знамена вперемежку с трофеями богатого и блестящего оружия с широкими султанами на шлемах и драгоценными украшениями. Из отверстий в столе, который был достаточно широк, на одинаковом расстоянии друг от друга поднимались кусты апельсиновых деревьев, мирты, молодые пальмы, все с цветами и плодами, и чистая, свежая вода, проведенная по тонким трубам, брызгая из-под листьев, стекала в серебряные сосуды, где резвились разноцветные рыбы. На ветвях деревьев порхали птицы, незаметно привязанные конскими волосами; выросши в клетках и в домашних условиях, они заливались, не смущаясь ни видом гостей, ни их шумом. Огромный буфет против почетных мест был заставлен серебряной посудой с большими блюдами кованого металла, украшенными арабесками. Посередине, перед буфетом, стояло самое высокое сидение для распорядителя, который палочкой из черного дерева должен был давать указания слугам. В пространстве, образуемом подковой, стояли две больших бронзовых урны с водой для мытья и полоскания (как рисует их Паоло Веронезе на своих картинах пиршеств), кувшины и бутылки с испанскими и сицилийскими винами. По двум другим сторонам залы на высоте десяти аршин от пола тянулись гал-

лереи для музыкантов. Благодаря хлопотам Диего Гарсиа и стараниям повара вскоре после полудня распорядитель вышел к ожидавшим гостям в сопровождении пятидесяти лакеев, одетых в красные и желтые костюмы, с полотенцами, тазами и кувшинами для умывания рук и объявил, что обед подан. Герцог Немурский, блистая молодостью, здоровьем и свойственным французской нации изяществом, предложил руку донье Эльвире, чтобы отвести ее на ее место. Кто бы в этот момент мог сказать юному вельможе, которому, казалось, улыбается счастливое и славное будущее, что пройдет немного дней, и его живые глаза, стройные члены похолодеют, станут недвижимыми и будут покоиться в бедном гробу в церкви Чериньолы и что недолгое сожаление Гонсало будет последним чувством, которое он должен был пробудить в человеческом сердце...

Гонсало сидел между Витторией Колонна и Немуром, справа от герцога села донья Эльвира, а по другую сторону от нее—Этторе Фьерамоска. Обед начался. Учтливое обращение Этторе с доньей Эльвирой в продолжение всего этого дня тронуло пылкое сердце юной испанки. Она слышала отовсюду похвалы себе и была благодарна тем, кто расточал их. Между нею и соседом за обедом завязался обычный разговор, сопровождаемый любезностями. Но понемногу лицо итальянца затуманилось, как бы покрытое облачком, ответы его сделались менее быстрыми, перестали попадать в тон беседы. Донья Эльвира посмотрела на него с подозрением, к которому примешивалось легкое нетерпение; заметив, что он побледнел и опустил глаза, она подумала, что она



Виттория Колонна  
*С портрета работы Муциано*





причина этой перемены. Эта мысль сделала ее мягче, она прекратила разговор, и оба на долгое время замолчали среди шума и оживления всех остальных гостей. Но бедная Эльвира напрасно тешила себя надеждой: причина тревоги Фьерамоски была иная и возникла от рокового стечения обстоятельств. Как раз против его места были широкие окна, разделенные готическими колоннами и открытые по случаю жаркой погоды; из этих окон виден был весь морской берег с Гаргано, залитым тем голубоватым светом, какой бывает у гор в полдень, когда воздух прозрачен и чист; среди моря выделялся островок и монастырь святой Урсулы, и можно было видеть, как темную точку на красноватом фасаде дома для приезжих, балкон Джиневры в тени виноградника. На ясном фоне этой картины вырисовывалась темная фигура Грайано, который сидел между Этторе и балконом.

Синева неба еще ярче оттеняла блестящий вид Грайано и усиливала грубое и небрежное выражение его лица. Вид этого человека, который сидел перед ним, терзал Фьерамоску. Хорошо еще, что тогда он не знал, в каком отчаянном положении находилась Джиневра. Как раз в этот момент, она, узнав от Дженнаро, что Грайано в Барлетте, спустилась в церковь и приняла решение навсегда оставить эти места.

В шуме многолюдного обеда никому не было дела до Этторе и доньи Эльвиры. Но Виттория Колонна, у которой зародилось подозрение, обратила внимание на перемену, происшедшую в лицах молодых людей, и думая, что причиной являются интимные разговоры между ними, с любопыт-

ством и тревогою стала следить за поведением кавалера и его дамы, за которую не могла не опасаться. Тем временем обед продолжался с тем обилием и разнообразием блюд, какие тогда были в обычае. Хотя кулинарное искусство сложно и в наши дни, но тогда оно было еще сложнее; оно требовало от повара в случаях, подобных описываемому, такого мастерства, о котором современные люди не имеют ни малейшего представления. Все блюда должны быть не только хороши на вкус, но и тешить взоры пирующих. Перед Гонсало стоял большой павлин с распущенными в виде круга перьями; трудность приготовления его без ущерба для его изящества была преодолена с таким успехом, что он всем казался живым; на том же блюде лежали птички меньшей величины, и казалось, что они глядят на павлина; все было полно специй и ароматов. На определенном расстоянии один от другого возвышались огромные папютеты в два аршина. В нужный момент распорядитель подал знак, и без посторонней помощи открылись их крышки, и изнутри в причудливом одеянии показались по грудь карлики, которые серебряным черпаком стали раздавать гостям содержимое и бросать в них цветы. Были блюда конфет то в виде горок, на которых поднимались растения из фруктов и варенья, то в виде озер, в которых плавали сахарные лодочки со сладостями. Другие блюда представляли гору с вулканом на вершине, и дым, выходявший из нее, состоял из тончайших благоуханий. Когда ее открыли, то нашли внутри каштаны и другие плоды, которые медленно жарились на пламени водки. Среди всякой дичи был небольшой кабан со шку-

рой; пока его не разрезали, он казался убитым копьями охотников, которые были сделаны из теста, а когда разрезали, то оказалось, что он жареный; вместе с ним и охотники были поделены на куски. К концу обеда в залу въехали четыре паж на белых конях в красных и желтых одеждах; они держали огромное блюдо с трехаршинным тунцом; они поставили его перед Гонсало, и все дивились размерам рыбы и тому, как это кушанье было разукрашено: на спине рыбы была фигура нагого юноши с лирой, юноша представлял Ариона из Метимна. Гонсало, обратившись к герцогу Немурскому, предложил ему нож, и попросил разрезать рот рыбы.

Герцог раскрыл рот рыбы, и оттуда выпорхнуло множество голубей, которые развернули крылья и полетели по зале, почувяв себя на воле. Эта шутка сначала была встречена с энтузиазмом. Но потом гости стали то там, то сям ловить голубей, заметив, что с шеи каждого из них свешивались драгоценности и карточки с именами.

Присутствующие догадались, что этим сюрпризом испанский полководец хотел оказать им внимание. Среди шума занялись ловлей голубей, и каждый, поймав какого-нибудь, прочитывал надпись и спешил торжественно передать голубя тому, кому он предназначался.

Фанфулле тоже хотелось поймать голубя; когда над его головой летел голубь с именем доньи Элвиры, он налету прочитал надпись. Так как ему очень нравилась прекрасная испанка, он решил, что именно он поднесет ей подарок. Подкараулив птицу, он с приеущей ему ловкостью поймал ее и, пробравшись среди гостей, стал на колени перед

доньей и, предлагая ей голубя, показал, что на шее у птицы застеежка из крупных красивых алмазов.

Донья Эльвира охотно приняла голубя, поднесла его к лицу, чтобы приласкать, но голубь в испуге затрепетал крыльями, сбил и спутал белокурые вьющиеся волосы девушки, которая слегка покраснела. Когда Эльвира захотела снять с шеи голубя драгоценности, Фанфулла поднялся и сказал:

— По-моему, на свете нет более красивых алмазов, но, сударыня, поднести их к вашим глазам значит их обесценить.

Благодарная улыбка была наградою Фанфулле за его любезные слова.

Иной из наших читателей, привыкший к тонкости, которая в современном обществе пропитывает все общественные отношения, подумает, что этот комплимент звучит очень вычурно. Но мы просим принять во внимание, что для военного человека XVI века с сумасбродной головой, какая была у юноши из Лоди, и это было уже слишком много. И оправданием для него служит то, что дочь Гонсало нашла его любезность приятной и изящной.

Но Фанфулла не мог без зависти и обиды смотреть на то, как донья Эльвира, внимательно разглядев и похвалив драгоценности, обратилась к Фьерамоске и, давая ему золотую брошку, попросила приколоть ее у себя на груди. Виттория Колонна, сидевшая рядом, со строгим видом предложила свои услуги, и Этторе, сознавая необдуманность поступка доньи Эльвиры, хотел уже передать брошку ей, но Эльвира, капризная и

своевольная, как все дети слишком снисходительных родителей, настаивала и сказала Фьерамоске со смехом, в котором таилась обида:

— Вы так привыкли к мечу, что вам стыдно секунду подержать в руке брошку.

Итальянцу осталось только покориться. Виттория Колонна отвернулась, показывая на своем красивом и надменном лице, как не нравилось ей такое кокетство. Фанфулла посмотрел на Фьерамоску.

— Хорошо тебе, — сказал он ему, — другие сеют, а ты собираешь.

И отошел посвистывая, как будто он был один на улице, а не среди многолюдного общества.

Подарки Гонсало предназначались не только дамам. Он подумал и о своих французских гостях. Герцогу Немурскому, как и его баронам, достались богатые цепочки, золотые украшения для ношения на берете и всякие безделушки. Роскошь, с которой испанский полководец обставил обед, была не без причины: ему хотелось дать понять французам, что у него не только всего было в избытке для снабжения солдат, но что были и излишки, которые он мог израсходовать на приемах гостей.

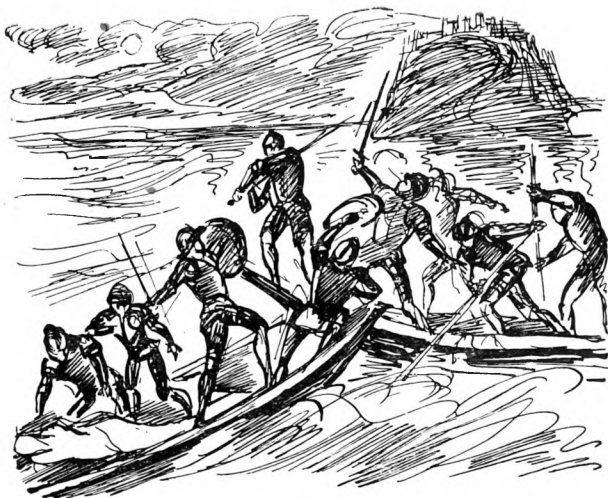
Игра с голубями окончилась. Каждый, отыскав свое место, приготовился к тосту, который ожидался с минуты на минуту.

По французскому обычаю, герцог Немурский встал, взял кубок и, обратившись к донье Эльвире, попросил ее отныне считать его своим рыцарем, поскольку это не нарушает его долга по отношению к христианнейшему королю. Девушка приняла тост и в свою очередь учтиво ответила

на него. После многих других тостов Гонсало встал и в сопровождении всех гостей перешел на галлерею, обращенную на берег моря; там в беседе все скоротали последние часы до вечера.

Большую часть времени донья Эльвира и Фьерамоска провели вместе. Молодая девушка ни на минуту не расставалась с ним. Если он уходил, смешиваясь с остальными гостями или присоединялся к чьему-либо кружку, она через несколько минут была уже подле него. Этторе, слишком чуткий, чтобы не заметить этого явного предпочтения, из чувства чести не хотел дразнить ее, зная, что это не приведет к хорошему концу. Но характер юноши и долг его перед Гонсало не позволяли ему быть невежливым. Многие догадывались об этой игре и, лукаво улыбаясь, перешептывались друг с другом. Фанфулла, все еще огорченный эпизодом с голубем, злился, видя, что его товарищи в таком почете, и, подойдя ближе, не то полунасмешливо, не то полураздраженно заметил:

— Ты мне во всяком случае заплатишь за это.



## ГЛАВА XV

В нижнем этаже, в большом зале, который в старинных замках служил для сбора военного люда, был устроен театр приблизительно так же, как современный, за исключением того, что занавес вместо поднятия опускался в то место, где теперь помещается оркестр. Из ближайшего прибрежного города была приглашена труппа бродячих актеров, которые после венецианского карнавала кочевали из города в город и разыгрывали драмы и комедии, то оказываясь в Неаполе на празднике св. Януария, то в Палермо на празд-



нике св. Розалии. Теперь, выступая перед столь избранным обществом, труппа тщательно подготовилась, и спектакль прошел с большим успехом. Едва наступил вечер, зрители разместились, и скоро последовало распоряжение начинать спектакль. Упало большое полотно, служившее занавесом, и показались подмостки, на которых с одной стороны виднелся богатый портик с колоннами и статуями,—он изображал вход в царский дворец, на двери которого золотыми буквами было написано: «Вавилонская земля». Под ним, на троне, окруженный своими баронами, восседал царь с золотым скипетром в руке, одетый в восточном вкусе, в высоком тюрбане, покрытом драгоценными камнями, и с короной на нем. Посредине виднелся берег моря. На другой стороне, под горой с деревьями и скалами была вырыта пещера, из которой время от времени появлялся дракон, и видно было, что он стережет баранью шкуру с блестящей золотой шерстью, повешенную на соседнем дереве.

Рядом с царем, на меньшем троне сидела высокая, крепко сложенная, красивая женщина, одетая в красный атлас с двухаршинным шлейфом и шапочкой из черного бархата на французский манер; рядом с ней был серп и в руке у нее книга и палочка. Это была Медея.

Вскоре у берега показался корабль, с которого сошло много юношей в боевых доспехах, в том числе красавец в панцире и кольчуге, покрывавшей его всего, за исключением головы. Это был Язон; двое юных мавров несли его шлем и щит.

Выступив вперед и ютвесив поклон царю, он начал говорить стихами, которые, вероятно, зву-

чали не очень приятно для слуха Виттории Колонна, как они не звучат и для многих читателей, и начинались так:

Мы к султану Вавилона —  
Бог храни его корону —  
Из христианских едем стран.  
Аргонавты — имя нам.

И продолжая тем же размером, он рассказывал, как они пришли за золотым руном. При этих словах царь Аэт, посоветовавшись с баронами и с дочерью, отвечал, что он очень рад, и удалился, оставив Медею одну с Язоном.

Язон сейчас же начал ухаживать за девушкой и, прося о помощи, обещал обратить ее в христианство, чтобы она стала его женой и великой царицей. Медея легко покорилась и стала учить его чарам, которыми можно усыпить дракона, особенно рекомендуя ему, если он дорожит успехом, не называть святых и не креститься, ибо это лишит колдовство всякой силы. По уходе ее Язон обратился к спутникам, говоря, что не дело рыцаря бороться при помощи чар, поэтому он попробует одолеть дракона в рукопашной. Обнажив меч, он взял щит из рук одного оруженосца, дал другому завязать себе шлем и напал на дракона. Последний, изрыгая пламя, защищался так хорошо, что после нескольких минут борьбы Язон отказался от своего намерения. Товарищи стали усиленно уговаривать его воспользоваться чарами. Язон так и сделал, усыпил дракона и сорвал без малейшего противодействия руно. Когда он сделал это, возвратилась Медея, торопя всех садиться на корабль. Тогда из города раздались звуки труб,

цимбалов, рожков и других мавританских инструментов. Потом появился верхом на коне юноша в одежде сарацина, вызывая Язона на бой. Язон принял вызов и тут же несколькими ударами свалил его. Когда он садился со своими спутниками на корабль, подоспел царь Аэт с баронами и при виде бегства дочери и простертого на земле мертвого сына Абсирта приказал задержать аргонавтов. Тогда Медея приступила к чарам. В воздухе потемнело. Люди в странных одеяниях с лицами демонов и с факелами в руках подошли к Вавилону и унесли царя и всех баронов, между тем как в глубине сцены можно было видеть, как аргонавты свободно продолжают свой путь. Так заканчивалась пьеса.

Те из наших читателей, которые кичатся изысканностью современных театров, пусть помнят, что искусство, благодаря которому некоторые спектакли покрываются аплодисментами и которое заключается в таком построении пьесы, что она всегда заканчивается или пожаром, или развалинами, или Олимпом, или Тартаром, не создано нашей эпохой, но было уже известно на сцене и ценилось публикой в XVI веке.

Зрители этого спектакля, хотя и состояли отчасти из лиц, не лишенных образования, были довольны им или по крайней мере, выражали свое удовольствие. И в самом деле, для таких актеров и для такого захоlustья, как Барлетта, зрелище было более чем, удовлетворительное. Но другая часть приглашенных, которым из-за более низкого общественного положения не было разрешено быть там, где были рыцари и знать, в то же самое время наслаждалась другим зрелищем во дворе и сво-

ими возгласами и криками более громко выражала свое одобрение. Некоторые из испанских солдат просили и добились разрешения на постановку одной из национальных комедий. В углу двора они устроили место из досок и холстов наподобие театра, несколько дней репетировали, стараясь каждый получше выучить и провести свою роль, и сообща выбрали самую популярную среди испанцев пьесу, называвшуюся «Las mocedades del Cid», что дословно значит «Ребячества Сиды», повествовавшую о молодости героя. После нее, если позволило время, они должны были поставить saunete в качестве petite piéce, как обычно зовут эти вещи французы.

В то время как в замке началось описанное нами драматическое представление, начал свой спектакль и второй театр; слушателей собралось очень много: тут были моряки, офицеры, солдаты, местные жители, лавочники и бесконечное количество простого народа. Аристократия этого театра сидела довольно удобно около сцены; по мере удаления от нее размещались люди более низкого происхождения и на вид более бедные, вплоть до уличных мальчишек и оборванцев. Доступ во двор был открыт всем, поэтому народу стеклось много. Если из-за разницы в местах и не все могли одинаково насладиться зрелищем, то сидевшие дальше от сцены вознаграждали себя возгласами, криками и свистом, которые были не по вкусу публике, близкой к сцене. Напрасно раздавались крики: «Тише!», перекатывавшиеся из одного угла в другой: вместо того чтобы послужить уздой, они скорее являлись поводом для усиления беспорядка.

В публике, задавшей целью приятно провести время, вертелся человек, который, несмотря на свой бедный вид и скромный костюм, имел осанку, выделявшую его из всей толпы. Его беспокойные и быстрые движения говорили, что не зрелище привело его сюда. Этот человек был Пьетраччо. Он добрался сюда, чтобы убить Валентино и предупредить о грозившей Джиневре опасности. Но, попав в эту суматоху, он испытывал замешательство, зная, каких трудов будет стоить ему найти нужных людей. Читатель, может быть, удивится, каким образом убийца, уже осужденный, отважился заявиться в город, подвергаясь риску быть задержанным. Действительно, в условиях теперешнего состояния общества это было бы большой неосторожностью. Но в то время люди не имели законов и полицейских, бодрствующих для их спокойствия, и Пьетраччо теперь, когда потрясение, вызванное убийством подесты, улеглось, мог так же спокойно находиться в Барлетте (тем более ночью), как и в пригоне среди своих. Но хотя были и очень велики трудности его плана, он привык выбираться из еще больших и слишком горел жаждой мести, чтобы не суметь преодолеть любое препятствие. Но оставим его с его мыслями и лучше обратимся к главным участникам нашей истории.

Было уже поздно, когда по окончании спектакля гости вернулись в залу, где обедали. Теперь она была убрана иначе и предназначалась для бала; тысячи восковых свечей горели по стенам в больших канделябрах и в красивых люстрах, которые свешивались со свода. Оркестр, как во время обеда, помещался в открытой галлерее на высоте

двух третей пространства между полом и карнизом. Кроме музыкантов, занимавших одну сторону галереи, туда забралась всякого рода люди поглядеть на зрелище, в котором не могли принять участия.

Гонсало со своими гостями и дамами сидел как раз там, где со стены свешивались знамена. Герцог Немурский, лишь только зал наполнился, встал и, пригласив донью Эльвиру, открыл бал.

Когда танец кончился и девушка вернулась на свое место, Фьерамоска, желая быть учтивым, пошел предложить руку, заранее извиняясь за свою неопытность в этих делах. Предложение было принято с видимой радостью. Образовалось много пар, и Фанфулла, не претендуя на донью Эльвиру, выбрал среди барлеттских дам, участниц праздника, самую грациозную и сумел сделать так, что в кадрили очутился возле Этторе и его дамы. Внимание, с каким он ловил каждое движение и каждое слово Эльвиры, не давало ему никакой радости. В беглых взглядах юной испанки можно было прочитать, насколько ей нравился ее кавалер. Звуки инструментов, движения, пожатия рук и та свобода обращения, которую создает танец между людьми, которые при других обстоятельствах держатся более церемонно, вызвали в дочери Гонсало возбуждение, с которым она едва справлялась. Этторе и Фанфулла оба заметили это: первый с сожалением, второй с досадою. Все время словами и взглядами Фанфулла изводил Фьерамоску, но последний, не любивший таких шуток, сохранял серьезную юсанку и несколько меланхолический вид, истолковываемый девушкою на свой лад и очень неправильно.

Под конец Эльвира с присущей ей рискованной неосторожностью, улучив момент, когда она держала Этторе за руку, наклонилась и шепнула ему на ухо:

— Когда бал кончится, я пойду на террасу, которая выходит на море. Приходите, мне надо поговорить с вами.

Фьерамоска, огорченный ее словами, в которых он почувствовал опасную для себя интригу, в знак согласия склонил голову. Он немного изменился в лице, но ничего не сказал. Зато—оттого ли, что донья Эльвира говорила недостаточно тихо, или оттого, что он был очень настороже, но Фанфулла расслышал эти злополучные слова и, ругаясь про себя, что повезло Фьерамоске, а не ему, процедил сквозь зубы:

— Нет ли такого средства, чтобы заставить эту шалунью заплатить за свои штучки?

Этторе в свою очередь мучился различным мыслями: ему и в голову не приходило поощрять кокетство прекрасной испанки, во-первых, потому, что сердце его слишком было полно Джиневрою, а кроме того он был достаточно умен, чтобы надеяться на что-нибудь серьезное с дочерью Гонсало. И донье Эльвире такими путями трудно было найти дорогу в его сердце, ибо Этторе был не из тех, кто всегда готов воспользоваться случаем. Но ему неприятно было и прослыть за человека невежливого, грубого и, возможно, еще худшего. Ибо среди многих противоречий человеческой природы есть одно: называть плохими известные вещи и в то же время считать глупым и ничтожным того, кто не хочет их делать. В продолжение всего бала он только думал о том, чтобы

спасти, как говорится, и волков и овец. Перебрав в голове много разных планов и видя, что пришло время, он твердо решил скорее пойти на риск, чем обидеть как-нибудь Джиневру. И думая о том, что теперь, когда он находился здесь на празднестве, она была в бедном монастыре, среди моря, всеми заброшенная, но, вероятно, полная мыслей о нем, он упрекал себя за то, что мог на минуту предпочесть ее любви что бы то ни было. Поэтому, едва окончив танец с доньей Эльвирой, занятый мыслью во что бы то ни стало уйти из дворца и рассчитывая в виде извинения сослаться на головную боль, которая в XVI веке оказывала те же услуги, что и в XIX веке, Этторе собрался покинуть бал и вернуться домой.

Молодежь, принимавшая участие в кадрили, чтобы быть свободнее в движениях, снимала согласно обычаю плащи, которые носились на левом плече. Все вместе были сложены в соседней комнате. Танцевали в одних куртках и коротких штанах, большей частью из белого атласа. У Фанфуллы и Этторе одежды были одного цвета и росту они были одинакового; только плащи у них были разные: Фьерамоска носил голубой, вышитый серебром, а плащ Фанфуллы был красный.

Этторе, отыскав Диего Гарсиа, просил его извиниться перед Гонсало и его дочерью за то, что головная боль вынуждает его уйти с бала. Затем он направился в комнату, где находился его плащ; он уже готов был переступить порог, как вдруг увидел, что толпа расступилась и около него не было ни души; он почувствовал на плече словно легкий удар упавшего сверху твердого



тела. Посмотрев на полу у своих ног, куда отскочил предмет, он заметил сложенную записочку с чем-то тяжелым. Он поглядел вверх на галерею, откуда, видимо, была кинута записка, но там никого не было. Хотел было пойти дальше, но наклонился, поднял записку, развернул ее и нашел в ней камешек, положенный для веса, чтобы можно было ее бросить в определенном направлении. Написано было грубо и неразборчиво: «По воле герцога Валентино мадонна Джиневра должна быть похищена из монастыря святой Урсулы в девять часов. Тот, кто передаст вам это сообщение, ожидает вас с тремя товарищами у ворот замка с копьём в руке».

Дрожь пробрала Этторе до самых костей и еще более усилилась от мысли, что на башенных часах уже пробило половина девятого. Нельзя было терять ни минуты. Бледный, как смертельно раненый, который делает последние шаги и вот-вот упадет, он в один миг нашел дверь и стремглав бросился вниз по длинной лестнице, в чем был, без плаща и берета, повергая в удивление всех натыкавшихся на него. Он бежал, пока хватило сил, и достиг указанного в записке места с такой стремительностью, что должен был ухватиться за большое железное кольцо у ворот, чтобы остановиться; входная арка была в полной темноте; он осмотрелся, тяжело переводя дух от бега и от волнения, когда от стены, у которой он раньше стоял, отделился человек с копьём.

Поспешный уход Фьерамоски с бала и перемена в его лице бросились в глаза многим, но за ним не подумали пойти, узнав от Гарсиа о причине. Но Иниго и Бранкалеоне, любившие его

сильнее других, не удовлетворившись объяснением Гарсиа, последовали за ним и, хотя не могли догнать, однако, не теряли его из вида и подошли к воротам сейчас же вслед за ним.

Они застали Фьерамоску, который, ухватив Пьетраччо, тащил его, говоря:

— Идем скорей, скорей.

При виде товарищей он торопливо бросил им:

— Если вы любите меня, идите со мной; помогите мне против этого предателя Валентино; сядем в лодку, нас будет семеро. Мы живо поспеем к монастырю святой Урсулы.

Бранкалоне, оглядев себя и товарищей, сказал:

— А где же оружие?

Ни у кого из троих не было шпаги. Фьерамоска в неистовстве топал ногами, тербил руками волосы, и казалось, сейчас сойдет с ума. Тогда Бранкалоне, который в нужную минуту умел находить пути, сказал:

— Ты, Этторе, отправляйся с ними к морю, приготовь лодку и весла и жди нас. А ты, Иниго, пойдем со мною.

Оба побежали быстро, как могли, а Фьерамоска кричал им вслед:

— Скорей, скорей, скоро девять.

Хотя его друзья не понимали смысла этих слов, ни повода к такой спешке, все же сознавали, что дело должно быть чрезвычайно важное, и одним духом влетели в дом братьев Колонна, где в зале нижнего этажа был склад оружия. Сорвав со стен панцири, шлемы и шпаги для троих, они с той же стремительностью пустились обратно, быстро добрались до лодки, бросили в нее оружие и прыгнули сами. Иниго, оставав-

шийся последним, уперся ногой в берег и оттолкнулся. Все взялись за весла и налегли так, что они гнулись от их усилий. Выйдя из небольшой гавани за крепостью и проплывая под башней с часами, они вдруг слышали хрип, который производят колесики перед тем, как пробьют часы. Бедный Этторе согнулся, поник сразу головой, словно эта башня грозила обрушиться ему на спину. Через несколько секунд колокол ударил девять роковых раз, и слышно было, как звуки, постепенно слабея, угасали в воздухе, повторенные отдаленным эхо.

Прежде чем рассказать о конце их путешествия, вернемся в залу, где происходил бал. Фанфулла, которого случайная хитрость сделала соучастником тайны доньи Эльвиры, задумал извлечь из этого пользу, но не знал, как. Тут он заметил поспешный уход своего счастливого соперника без плаща и берета, и ему в голову пришла безумная мысль. Он привык не задумываться ни на минуту, когда дело шло об исполнении любой его прихоти, чего бы это ни стоило. И он сейчас же принялся за осуществление своего нового безумства.

Не упуская из виду дочери Гонсало, он заметил, как по окончании бала она направилась к террасе, видимо, не зная еще об уходе Фьерамоски. Он торопливо побежал в комнату, где каждый брал свой плащ и где, кроме его собственного, оставался плащ Этторе и его берет из темного бархата с перьями. Он надел берет на голову так, что перья несколько скрывали его лицо, а на плечи накинул голубой плащ своего друга. Всякий, если бы не видел его лица, принял бы его за Фьерамоску. В таком одеянии он

тихо прошел среди гостей на террасу, где не было огней и куда свет лился от свечей, горевших в комнатах. Несколько ящиков с апельсинами вокруг небольшого бассейна, из которого била ключом вода, давали возможность спрятаться от тех, кто выходил из замка освежиться. Когда Фанфулла вышел на террасу, там случайно никого не было; он осторожно прошел дальше и увидел, что донья Эльвира сидит у балюстрады, увидевшей на море. Локти ее опирались на железную решетку, голову она поддерживала рукой. Она сидела неподвижно, устремив взор на небо.

В этот момент луну: зажрыли облака, пробегавшие перед нею и гонимые ветром. Фанфулла знал, что если он пропустит этот момент, то потом, когда луна выйдет снова, он наверное будет узнан. На цыпочках он подкрался к донье Эльвире, которая не видела его, пока он не очутился возле нее. Она повернула голову, чтобы взглянуть на него. Фанфулла, грациозно склонив голову в знак почтения, стал на колени у ее ног и, взяв ее руку, прижал ее к губам, сделав это так, что совершенно скрыл свое лицо, и у дочери Гонсало не возникло и тени сомнения, что это был не Фьерамоска.

Она попыталась вырвать руку, но он, согласно обычаю всех времен, не дал ей, прибегнув к очень простительному насилью. Хотя характер доньи Эльвиры был капризный, легкомысленный и своенравный, но она испытывала известные угрызения совести, что находится в интимной беседе с юношей. Кроме того она боялась, что может быть застигнута отцом и своей строгой подругой.

Сильный порыв ветра отогнал от луны облачко, и она залила своим светом весь балкон и яркие одежды Фанфуллы и Эльвиры. Может быть, никто из гостей и не заметил этого. Но их заставил вздрогнуть пронзительный женский крик, донесшийся снизу террасы, которая была невысоко над морем. Боясь, что гости, услышавшие этот крик, могут выйти на террасу, они поспешно и разными дорогами вернулись в залу, где немногие, обратившие внимание на крик, занятые другим, быстро забыли про него. За первым криком последовал второй, слабее и замер в горле женщины, пытавшейся его издать, а затем послышался глухой шум от падения человеческого тела на дно лодки. Но терраса была пуста, а внутри все было поглощено празднеством. Никто не выглянул полюбопытствовать, кто была несчастная, умолявшая о помощи.

Пока все это разыгрывалось в крепости, лодка, уносившая Фьерамоску и его товарищей, под ударами весел семи сильных человек летела к монастырю, подымая волны и оставляя за собой длинную полосу пены. Бранкалеоне, заметив, что Фьерамоска из всех сил налег на весла, сказал ему решительным тоном:

— Этторе, мы не знаем, куда ты везешь нас. Но я думаю, что дело тут серьезное. А раз так, то кольчуги, которые лежат тут, мало нам помогут, пока они на дне лодки.

Слова Бранкалеоне были как нельзя более убедительны, все стали вооружаться, причем каждый оставлял на время весла, чтобы иметь возможность надеть оружие. Они подвязали мечи, надели на головы тяжелые железные шлемы и стали

грести с новым жаром. Глаза их были прикованы к поверхности моря, не увидят ли они врагов. Дорогой Этторе прерывающимся голосом рассказал им, почему ему потребовалась их помощь. Вдруг вдали на море показалась лодка, они встревожились, но приблизившись к ней, увидели, что греб только один человек, который медленно подвигался к Барлетте. Чтобы не терять времени, они снова стали держать к монастырю, не разглядывая лица гребца. Иниго советовал подплыть к нему и спросить, нет ли у него каких-либо сведений, не видел ли он чего-нибудь, но Этторе не позволил. Назначенный час прошел, и он едва надеялся попасть во-время. Если бы послушались совета Иниго, скольких бед можно было бы избежать!

Монастырь святой Урсулы вырисовывался все больше. Фьерамоска пожирал его глазами и различал неосвященные окна. На расстоянии двух ружейных выстрелов вправо он увидал низкую и длинную лодку, которая неслась по воде, словно ласточка. Этторе, Иниго и Бранкалеоне—все трое тихо сказали:

— Вот они!

Повернули лодку и удвоили усилия. Другая лодка, заметив их маневр, стала быстро уходить, но у преследующих силы словно утроились. Пространство между обеими лодками начало заметно уменьшаться. Уже можно было расслышать на той лодке слова. Уже Фьерамоска, приподнявшись, сколько мог, не бросая весел, разглядел распростертую на корме женщину и двух людей охранявших ее. Он крикнул:

— Предатели!

И его крик отдался в стенах монастыря.

— Скорей, скорей! Гребите! Живое!— кричали все трое в дикой тревоге, со стиснутыми зубами. Но нос их лодки уже налетел на неприятельскую корму. Этторе с быстротою молнии бросил весло и с обнаженным мечом напал на врагов, которые встретили его с оружием в руках, хорошо подготовившись. Толчок, сообщенный лодке прыжком, заставил ее отойти назад и он остался один. На грудь и голову его посыпались удары, от которых его защищали панцырь и шлем. Но товарищи, видя, что он в опасности, поспешили на выручку. Пьетраччо, стоявший ближе всех, прыгнул вторым, но едва он оказался там, где думал найти Валентино, как его свалил удар веслом по голове. Иниго и Бранкалеоне дрались мечами—а они умели драться—рядом с Этторе в такой тесноте, что не могли ни сильно повредить врагу, ни пострадать от него, так как стояли, стиснутые на дне лодки. Они с большим проворством наносили и отражали удары. От этой суматохи лодка качалась в разные стороны и грозила перевернуться.

Товарищи Пьетраччо не могли вмешаться в борьбу, потому что в ширину лодка не вмещала больше трех человек. Но они оказались не бесполезны. Они подняли женщину, оставленную на корме, и с трудом перенесли в свою лодку. Когда трое сражающихся увидели это, они (так негромко посоветовал Бранкалеоне) медленно начали отступать и, перепрыгнув из той лодки в свою, дали возможность удалиться и другим. Этторе не ушел бы так легко из этой борьбы, узнай он среди врагов Валентино, но, не видя его, он

понял, что герцог пустил в это дело только своих бандитов. И ему показалось недостойным пачкаться в их крови. И кроме того, увидев, что Джиневра спасена, так по крайней мере он думал, он решил, что теперь надо ее успокоить. Но дон Микеле был разъярен, видя, что ускользают плоды стольких усилий и что в замешательстве он не сумел спрятать женщину в надежном месте на носу. Однако дело было уже сделано, и он понимал, что пытаться отнять у этих храбрецов добычу—все равно, что вертеть дыру в воде. Но пособник Валентино все-таки отомстил за свою неудачу. В то время как трое друзей отступали на свою лодку, он напал на них с мечом в правой руке и кинжалом в левой. Фьерамоске, который оставался последним, он нанес ряд ударов и, пока он перелезал через борт, слегка оцарапал ему кинжалом шею. Но в пылу боя тот даже не заметил этого.

Так они удалились друг от друга, одни к Барлетте, другие к монастырю.

Женщина была завернута в простыню. Фьерамоска, все еще тяжело дыша, посадил ее поудобнее и снял с нее простыню. Вместо Джиневры оказалась Зораида в обмороке. Во всякий другой момент он поблагодарил бы бога за ее спасение. Но сейчас выходило, что он ничего еще не сделал, тогда как думал, что все кончено. Что с Джиневрой? Как-то теперь она чувствует себя? Он глубоко вздыхал, ударяя кулаком по лбу, торопил своих товарищей, удивленных тем, что он, видимо, был недоволен, ибо они не знали о его разочаровании, и в несколько минут был на острове. С молниеносной быстротой



сбежав по лестнице, он прошел в комнату Джиневры. Комната оказалась открытой и пустой, а на острове и в монастыре царило полное спокойствие. Когда он вышел, чтобы постараться что-нибудь узнать, он увидел, что его товарищи поддерживали в коридоре Зораиду. Она уже пришла в себя и на все участливые вопросы Фьерамоски могла ответить только то, что около девяти часов ночи ее внезапно разбудили несколько человек, которые вошли в комнату, завернули ее в простыню и понесли в лодку; остального она не помнит, а о Джиневре не знает ничего, так как не видела ее со вчерашнего дня; заметив, что она задумчива и грустна, она решила не надоедать ей и в обычный час отправилась спать, не повидавшись с ней на ночь.

Всю эту историю Этторе выслушал, стоя и устремив глаза на Зораиду. Когда она кончила, он постепенно изменился в лице, побледнел и осунулся. Ему пришлось даже сесть, а когда он делал усилия приподняться, то ноги отказывались ему служить. Между тем один из его друзей постучался в ворота монастыря и, разбудив Дженнаро, вернулся со свечой. Бранкалеоне и Иниго были поражены видом Фьерамоски. В несколько мгновений он изменился до ужаса. Друзья приписывали перемену усталости и душевной тоске. Фьерамоска еще раз попробовал привстать, но силы покинули его, и упав головой на сидение, он сказал не своим голосом:

— Бранкалеоне! Иниго! Со мной стряслась неслыханная беда! Я не в силах поднять пера, а не то, что меча. Время бежит, что будет с Джиневрой? Эх, если бы мне хватило сил на

один час, а там пусть я превращусь в прах... Умоляю вас, дорогие друзья, не медлить ни секунды... Идите... даже не знаю, куда... Возвращайтесь в Барлетту, отыщите, освободите ее, найдите ее во что бы то ни стало. Боже вечный! Мне не сделать даже шага ради нее!

Он снова попробовал подняться, но так же безуспешно. Тогда еще горячее он стал упрашивать товарищей, чтобы они оставили его и отправлялись на помощь Джиневре; он с такой настойчивостью упрашивал их, что те, понимая, что нельзя терять времени на совещание, обещали скоро вернуться с новостями. Быстро спустившись к морю, они направились к городу.

Тем временем Зораида старалась помочь своему освободителю и словами и действиями, исполненными нежного внимания. Она развязала ему шлем, распустила панцырь и, отирая холодный пот со лба, заметила рану, которую прощупала ниже ворота рубашки.

— Да ты ранен!—воскликнула она. Вытерев тряпочкой капли крови, выступавшие из раны, она заставила их показаться в еще большем количестве, но успокоилась, считая, что рана легкая, и сказала:

— Пустяки! Это царапина.—Однако, осмотрев рану внимательно при свечке, она нашла вокруг нее как будто красно-фиолетовые пятна и обратила внимание, что в глазах и на губах Фьерамоски показывается синева, руки и уши приобретают мертвенный цвет, холодеют и коченеют. Уроженка Востока, она привыкла иметь дело со всевозможными ранами, и теперь у нее зародилось подозрение, что кинжал был отравлен.

Она предложила юноше перейти на кровать и не без труда помогла ему подняться. Попробовав пульс, она заметила, что он бьется все медленней и медленней, словно стиснутый чем-то.

Но физические страдания были для Фьерамоски ничто в сравнении с той тоскою, которая подсаживала ему все новые и новые ужасы. Случившееся за день, опасность, угрожавшая Джиневре, не давали ему думать ни о чем другом. Подобно осужденному, который не может заснуть в последнюю ночь перед казнью без мысли об угрожающей смерти, Фьерамоска, едва приходя в себя от своего оцепенения, вспоминал о вызове на поединок и о клятве не убивать того, кто был мужем Джиневры. Он думал о позоре, который падет на него, если он не явится на бой, мучился, что не в силах поднять меч вместе с товарищами, воображал, какими насмешками будут осыпять его французы, страдал о потерянной чести итальянцев. Все эти мысли с такой силой гнездились в самой чувствительной части его души, что все мускулы его судорожно сжались, и он вздохнул с такой горестью, что Зораида в страхе вскочила на ноги, спрашивая, что с ним. Эторе воскликнул:

— Позор мне навеки! Поединок, Зораида, поединок!

Он бил себя кулаком по голове.

— До поединка остается немного дней, а я так слаб, что поправлюсь наверное только через месяц! Боже, за какие великие грехи ты посылаешь мне такое несчастье?

Девушка не нашла, что ответить на эти слова, но больше, чем о поединке, подумала наверное

о непосредственной опасности для любимого человека, опасности, которая, как подсказывал ей опыт, возрастала с каждой минутой. За моментом возбуждения сразу последовало забытие: Этторе упал навзничь, уронив голову на подушку, и Зораида, взглянув на рану, увидела, что красный круг стал в палец величиной.

Все с тем же отчаянием Этторе говорил:

— Вот он, защитник итальянской чести! Вот славный финал боя, похвальбы и хвастовства, которые мы расточали! Перед лицом бога спрашиваю, в чем моя вина? Мог ли я поступить иначе, чем поступил?

Но от этих размышлений не становилось легче, и он подумал про себя:

— Кому же рассказать всю эту историю? С кем поделиться своими доводами? Может статься, что враги прикинутся, что не верят им, и скажут: «Этторе сам сочинил весь этот вздор из страха перед нами».

В то время как его волновали эти мысли, яд, привитый кинжалом дона Микеле, делал свое дело: по венам он добрался до мозга. Постепенно раненый почувствовал, что зрение у него помрачается и свет разума гаснет, в висках у него стучало, и все предметы сначала колебались, а потом вращались в виде быстрых и рассеянных светлых точек, слепивших его. Зораида стояла около него, глядя на него в ужасе, и дрожала. А Этторе смотрел на нее пристально открытыми глазами, но не видел ее. В таком полубессознательном состоянии при слабом свете догорающей свечи он видел, как фигура молодой девушки расплывается, черты ее лица превращаются в черты Ламота.

У этого призрака складываются углы рта в горькую и жуткую улыбку; потом эта фигура начинает расти, губы делаются больше, и перед ним стоит Грайано д'Асти, сначала небольшой, потом он начинает понемногу увеличиваться и, широко разевая рот, становится бледным подобием лица герцога Валентиню. Все эти фигуры, образуясь одна из другой, представляли какую-то фантазмагорию лиц, которые особенно ясно были запечатлены в уме больного. И вдруг среди всех этих образов промелькнул образ Джиневры, к которому Этторе обратился с несказанной нежностью и сказал:

— О, дай мне умереть так! Ведь я так тебя любил! Вытащи меня из этой ямы... Сними тарантулов, которые ползают по моему лицу...

И много других бессвязных слов. В конце концов все фигуры, которые, как казалось ему, он видит, слились в нечто одноцветное, красное и дрожащее, подобно продолжительной вспышке молнии, потом, темнея и постепенно исчезая, потухли, когда моральные и физические силы юноши были полностью истощены.



## ГЛАВА XVI

Чтобы рассказать о многих происшествиях этого вечера с разными участниками этой истории, мы вынуждены были оставить читателя в неизвестности относительно каждого из них. Хотя обычно поступает так большинство рассказчиков, мы не думаем, что успели внушить читателю желание узнать конец книги, которую он держит в руках. Мы не будем извиняться перед ним за то, что прибегли к такому приему, впрочем, необходимому в нашем случае; это извинение было бы актом тщеславия, который вызвал бы улыбку;

ибо, если скромность в иных случаях является добродетелью, то часто ею кичатся из-за выгоды.

Как бы то ни было, мы должны на некоторое время оставить Фьерамоску, вернуться в крепость и отыскать Валентино, которого мы покинули в низеньких комнатах, выходивших на море.

Первый из двух мотивов, побудивших его при-  
быть в испанский лагерь, отпал. Несмотря на всю свою хитрость, он не смог внушить Гонсало достаточно доверия, чтобы убедить его заключить союз или по крайней мере оказать ему помощь. Испанец, обещая сохранить тайну переговоров, отклонил его предложения. Но он принимал его с почтением, который, если не относился к его характеру, то считался, очевидно, с его званием. На семь или восемь дней, которые протекли от попытки привлечь на свою сторону Гонсало до ее провала, герцог уединился в своих комнатах, чтобы не обнаруживать признаков своего существования. Правда, иногда он выходил подышать свежим воздухом, но делал это только по ночам в маске, к чему в то время прибегали высокие особы и часто даже для сокрытия своих мало похвальных поступков. Но, как нам известно, с политическими целями сочетались замыслы против той, которая была достаточно смела, чтобы показать ему свое презрение. Эта махинация благодаря хитрости дона Микеле и согласно его обещаниям должна была дать свои результаты в этот вечер. Иному будет трудно понять, как этот отъявленный злодей, погрязший в разврате, мог так стремиться к обладанию женщиной и с таким упорством следовать за нею по пятам. И действительно, было бы ошибкой

предположить, что герцогом в данном случае руководила любовь, хотя бы в самом грубом смысле. Но Джиневра сопротивлялась, выказывая ему презрение и ужас. Она жила, думал он, счастливо с другим. Ему казалось, что его унизили и осмеяли. А кто в целом мире мог похвалиться тем, что оставил ни с чем Цезаря Борджа?

Сколько он ни встречал женщин, славившихся красотой, всех он сделал либо преступными, либо несчастными. Среди них были, однако, честные и добродетельные, тесно связанные узами родства с могущественными людьми и потому имевшие право считать себя в безопасности от него. Можно ли теперь примириться с тем, что молодая женщина, не обладавшая знатным именем и не оберегаемая тщательно, так глумилась над ним, над человеком, имя которого заставляло трепетать Италию от края до края?

В это мгновение, когда Валентино был близок к совершению мести, он говорил про себя: «Затягостное мое пребывание здесь в этой келии ты дорого заплатишь мне!» В самом деле, жизнь в маленьких комнатах, похожих на тюрьму, должна была показаться ему после блеска римского двора тяжелой, хотя для этого человека не казались тяжелыми сотни лишений, которые он терпел для того, чтобы добиться одной какой-нибудь цели. Тем не менее у него не было недостатка в способах коротать время. Часами беседовал он с Гонсало и юбсуждал с доном Микеле свои планы; кроме того к нему ежедневно прибывали из Романьи гонцы от верных людей; они приносили письма, записки, сообщения о текущих делах; приходили и уходили по ночам, оправдывая утвер-



ждение Никколо Макиавелли, который несколько раньше этого времени писал Флорентийской республике: «Из всех дворов на свете лучше всего хранятся тайны при дворе герцога». И хотя он не объяснял, почему, но давал понять, что на неблагоприятных болтунов сейчас же налагается молчание могилы.

Почтовая связь поддерживалась на легких лодках, которые, проплыв вдоль берега Романьи, укрывались среди скал у подножия Горгано. Отсюда гонец ночью добирался в лодке до крепости. Из их числа, — а все были отборные молодцы, — дон Микеле взял нужных помощников для своего предприятия. В тот вечер, когда в замке было так по-праздничному шумно, герцог сидел перед столом и, чтобы убить время, при свете лампы просматривал записки, доставленные за последние дни гонцами. На нем был камзол, который застегивался спереди на несколько небольших пуговиц; грудь и рукава, довольно узкие, были из черного бархата, поверх них — буфы из полосок белого бархата, скрепленные с рукавами в четырех местах кружками, тоже бархатными. Около шеи три или четыре отстегнутых пуговицы позволяли видеть тончайшей работы панцырь, который герцог всегда носил под одеждой; он часто одевался в этот костюм, и кто был в Риме, в галлерее Боргезе, тот помнит портрет кисти Рафаэля, изображающий Цезаря в таком именно костюме. Несмотря на крепкое сложение, герцог по временам страдал от лишаев, которые то скрывались, то высыпали наружу, особенно на лице, и тогда его мертвенная бледность переходила в красноту, и кожа покрывалась пры-

щами, из которых сочился гной. Отвратительное безобразие его лица было таково, что отталкивало даже близких. Ни одна душа, похожая на его душу, не могла бы облечься в оболочку, лучше соответствовавшую его характеру. От сидячей жизни, которая была не в его привычках, и под влиянием весны прыщи высыпали с особенной силой, обезображивая более обыкновенного черты герцога и вызывая во всем его существе непередаваемое состояние раздражительности, обычно сопутствовавшее болезни.

Около восьми часов, когда в верхнем зале начался бал, в дверь герцога слегка постучался и затем открыл ее человек в темнокрасных штанах, плотно прилегавших к телу, и в плаще, доходившем до середины бедра, с черным капюшоном над глазами, с мечом, кинжалом и с узлом подмышкой. Валентино поднял лицо. Тот вошел и, поклонившись, положил на стол узелок; при этом оба не проронили ни звука. Герцог, положив руку на узел, сказал гонцу:

— Сегодня ночью я уеду отсюда; пройди в крайнюю комнату и запишись там. И что бы ты ни услышал, не выходи до тех пор, пока тебя не позовут.

Гонец прошел в дверь напротив той, через которую вошел, а Цезарь Борджа взял лежавший рядом небольшой очень острый кинжал, разрезал шнуры из красного шелка, которые вместе с апостольской печатью скрепляли пергаментное письмо от папы Александра. Когда он раскрыл письмо, то из него выпал и покатился по столу золотой шарик, при виде которого герцог недоверчиво привстал, но, внимательно осмотрев печать и подпись, успокоился и снова сел.

Смушение его отнюдь не было плодом слепого страха: столько было в этот век способов отравления, вплоть до того, что яд посылался запечатанным в письме, чтобы при открытии его сразу сказало его действие, что герцогу было простительно испугаться при виде неожиданного предмета. Если и был на свете человек, который должен был сразу настроиться на дурные мысли, так это был, конечно, он.

Письмо было написано шифром, ключ к которому имелся только у герцога и у папы.

«Папа был запрашиваем послем христианнейшего короля о заключении с ним союза против католического императора с целью изгнания его из Неаполитанского королевства; он предлагал в то же время объединить свои силы с силами церкви против Сиены и владений графа Джордано Орсини. Но папа не считал возможным подписать это соглашение, пока не выяснится исход переговоров, затеянных между Валентино и Гонсало.

Он получил от матери и от подруги кардинала Орсини денежную сумму и жемчуг удивительной красоты, унесенные из дворца на горе Джордано, когда он был разграблен по распоряжению папы после смерти герцога Гравины, Вителлоццо и Ливеротто да Фермо.

Пусть герцог держит наготове людей, так как по случаю смерти упомянутого кардинала они могут понадобиться для похода в Браччано, где собрались Орсини и их сторонники.

Для покрытия расходов на выполнение этих планов папа решил дать красную шалку Джованни Каstellяру, архиепископу Трани, Франческо Ремолино, послу аррагонского короля, Франческо

Содерини ди Вольтерра, монсеньору Корнето, секретарю по грамотам, и другим богатым прелатам в ожидании, что его сын возвратится в Рим и решит, как поступить лучше для овладения их сокровищами».

В конце письма папа уведомлял герцога, что ему советовали остерегаться в этом году, большой опасности, и рекомендовал носить под одеждой для предохранения от нее золотой шарик, заключавший в себе величайшую святыню и присланный для этой цели герцогу.

Хотя факты, упомянутые в этом ужасном письме, были верны и хотя предательство против кардинала Корнето, как каждый знает, обрушилось на голову папы и было причиной его смерти, мы колебались, нужно ли раскрывать перед нашими читателями весь этот позор. Но если бог ради неисповедимых целей допустил, чтобы тот, на кого были возложены священнейшие обязанности, так ужасно злоупотреблял ими, то читатель, может быть, осудил бы нас за сокрытие палских преступлений либо упрекнул бы нас в пристрастии и в том, что мы стремимся к триумфу партии, а не к торжеству истины, которая не нуждается в соучастии лицемерия.

Разумеется, герцогу Романьи при чтении отцовского письма пришли в голову мысли, весьма далекие от этих. Переводя глаза с письма на золотой шарик, который он вертел между пальцами, он сложил лицо в улыбку, в которой отчасти сквозило презрение (он не верил ни в бога, ни в святых), а отчасти трусливое и подозрительное легковерие, потому что он верил в астрологию. Если бы даже он не собирался уехать

в эту ночь, письмо заставило бы его решиться на этот шаг. Мысли, которые должны были удовлетворить его честолюбие и наполнить доверху его сундуки, были для него интереснее простого похищения женщины. Он подумал, что дон Микеле со спутниками должны были вернуться с минуты на минуту. Поэтому, спрятав за пазухой золотой шарик с тем небрежным движением, которое как будто говорило «будь что будет»,—он стал собирать записки и другие вещи, какие должен был взять с собою.

Все было готово в несколько минут. Он снова сел на прежнее место; не зная, чем занять себя, он достал из-за пазухи талисман, стал его рассматривать со всех сторон, перебрасывая из одной руки в другую и думая о том, что может быть там внутри, и о том, кто его послал. Потом, переходя от одной мысли к другой, он стал размышлять о церкви, главой которой был его отец, о догматах веры, которая одно время была истинною для него самого, о своем высоком положении, которое было результатом подчинения народов авторитету первосвященника. Издеваясь в душе над легковерием стольких людей, он подумал в заключение: «Что касается меня, то я пользуюсь властью на зло всем». Тут он услышал еле слышный голос, заглушаемый всеми его горделивыми помыслами насилия и неверия, шептавший ему: «А что, если это правда?»

В досаде, не желая верить, а вместе с тем бесильный заставить замолчать этот голос, герцог поднялся, раздраженный, зашагал по комнате и попробовал рассеяться. Но напрасно. Это «а что если это правда?» преследовало, мучило его и,

пожалуй, даже отнимало у него вкус к почестям, к власти, ко всем благам, которые он имел. Он бросился на кровать, с яростью зарывая лицо в подушки, стараясь немного успокоиться. Веки у него отяжелели, он закрыл их и заснул.

Но и во сне мысль его продолжала работать, как наяву. Ему представлялось, что он в Риме, на улице, которая ведет от замка св. Ангела к собору св. Петра. Небо и земля взбудоражены, все ужасно, все полно мрака и громких криков. Он хочет бежать к собору св. Петра, но не может и задыхается в тревоге. Ему кажется, что его кто-то держит; он оглядывается вокруг. Вот они все те, кого он предал, убил, отравил. Они держат его за волосы, за руки, ноги и кричат протяжными отчаянными голосами.

Потом он очутился незаметно для себя в соборе св. Петра, в невыразимом хаосе, среди мрака и плача, среди сотрясающихся стен, раскрывающихся могил, блуждающих призраков; его мучают его жертвы, вопящие: «Правосудие боже!» И тогда он подумал: «Вот он суд, в который я не хотел верить».

В отчаянии он двигается дальше, чтобы найти убежище у папы, которого он видит в глубине, на тропе, при тусклом и слабом освещении. Но тут ему преграждает путь брат его, герцог Гандиа, с зияющими ранами, из которых вместо крови сочится гнилостная лимфа и отвратительный труп которого, полуразложившийся в воде, имеет мерзкий и распухший вид; здесь и герцог Бишелли, и Асторре Манфреди, и женщины, и дети; все они с плачем воздевают руки к пале, взывая о справедливости и отпущении. Пала в большой

черной мантии, а на голове у него тиара. Толстое, опухшее и увядшее лицо Александра VI желто, как лицо мертвеца; он медленно поднимается, выпрямляется, и тогда плач и крики заглушаются раскатами адского хохота, исходящими из уст демона, который, свернувшись и подняв колени к подбородку, вопит: «Христос, вера, пала... все это обман!» Последние слова протяжным воем звучат под сводами церкви.

У герцога в ушах стояли еще крики, когда он, открыв глаза, сел на кровати, пробудившись от сна.

На минуту он растерялся, но этот сон укрепил в нем преступное сознание, что он мог совершить любое злодеяние, не боясь наказания в другой жизни.

Пока он успокаивал себя этими мыслями (только что пробило девять), послышалось гудение голосов, звуки, веселые крики, долетавшие слабо из верхнего этажа вследствие толщины сводов. Зато крик, прервавший беседу доньи Эльвиры и Фанфуллы, герцог услышал вблизи от себя, как будто бы он шел из-за двери, выходящей на песчаный берег у фундамента замка. Он вышел посмотреть, кто это кричит, но увидел лишь пустую лодку, корма которой, бороздя песок, врезалась в берег; он посмотрел на террасу, на окна и не заметил ничего. Он решил уже вернуться обратно в свою комнату, но сделал еще несколько шагов к лодке и заглянул через борт. На дне ничком лежала женщина, которая стонала, обхватив голову руками. Опешив от неожиданности, он быстро решил: вошел в лодку, подпаял женщину в бессознательном состоянии,

попес ее к себе и положил на кровать. Каково же было его удивление, когда, поднеся свечу, чтобы рассмотреть лицо, он узнал Джиневру! Слишком запечатлелись ее черты у него в памяти, чтобы он мог не верить своим глазам. Но по какой странной случайности она могла очутиться здесь одна в его руках, расстроив все коварные замыслы дона Микеле?

— Прежде всего, — бормотал он про себя, — это, несомненно, дело рук дьявола. Только сатана мог по моему желанию услужить мне.

Переставив свечу с небольшого столика к изголовью, он сел у постели и стал следить за лицом Джиневры, чтобы не пропустить момента, когда она проснется. Удовольствие, что он может наконец насладиться мщением, которого он ждал долго и мучительно, зажгло его глаза пламенем, бегающим наподобие электрической искры, и безобразные пятна на его лице, казалось, пылали и налились кровью. Никогда еще лицо человека, у которого физическое безобразие сочеталось с неслыханным злодейством, не было столь ужасно. С одной стороны Джиневра, бледная, неподвижная, с печальным выражением лица, поникшая и расслабленная, а с другой — беспощадный Валентино — представляли мрачную картину. Долгое время они оба не двигались. Джиневру можно было считать счастливой, пока рассудок и опущенные веки лишали ее представления о местонахождении и не давали ей лицезреть того, кто был сейчас ее полным властелином. Но это состояние продолжалось недолго, и по легкому движению ее Цезарь Борджа догадался, что его жертва собирается открыть глаза. В этом месте и в эту минуту никто



не мог помешать ему: крики под этими сводами в разгаре празднества не могли быть услышаны. Считая себя в полной безопасности, он решил, что времени у него много и он может не спеша насладиться столь благоприятным случаем.

Наконец из груди молодой женщины вырвался глубокий вздох и приподнял одеяло, которое лежало на ней. На один момент она приоткрыла глаза, но сейчас же опять закрыла их. Потом открыла их во второй, в третий раз и стала всматриваться в неподвижное лицо незнакомца, который склонился над ней. Она видела его черты только физически, ибо с этим лицом у нее не связывалось никаких воспоминаний. Потом ее глаза, не будучи в силах смотреть на это безобразное лицо, медленно отвернулись в другую сторону с такой печалью, что пробудили бы сочувствие в каждом. По мере того как к Джиневре возвращалось сознание, первое, что сразу взволновало ее, было воспоминание о Фьерамоке на террасе, у ног доньи Эльвиры.

— Этторе,—произнесла она, едва складывая вместе эти звуки.—Значит, ты изменил мне, это правда?—Затем, закрыв ладонью глаза и лоб, она оставалась так несколько мгновений. При упоминании этого имени губы Валентино искривила усмешка ярости.

Джиневра вспомнила тогда, что она должна была быть в лодке, но, опершись на локоть, чтобы привстать, вдруг почувствовала мягкость постели. В ужасе она открыла глаза и при виде герцога вскрикнула, но ее крик был прерван рукою Цезаря. Он схватил ее за горло и принудил упасть на кровать.

— Не кричи, Джиневра, — сказал Валентино. — Зачем ты надрываешься! Хорошо, что ты пришла ко мне. Я вознагражу тебя за неприятность путешествия в такое время. Ты ведь не искала меня. Ведь так? Чего ты хочешь? Не все шары выходят круглыми.

Бедная Джиневра с содроганием слушала эти слова, они отнимали у нее силы. Не видя давно герцога, она не узнавала его и теперь смутно припоминала его лицо. Чувствуя свою беззащитность, она только сказала:

— Синьор! Кто вы? Сжальтесь надо мной... Что вам надо? Оставьте меня...

И герцог продолжал:

— Помнишь, Джиневра, много лет тому назад в Риме как обращалась ты с тем, кто любил тебя больше своих глаз, кто делал тебе такие подарки и расточал такие ласки, что ты приходила в изумление? Помнишь, как ты позволяла себе выходки, неприличные даже в отношении конюха. Вспомни, как ты смеялась над его любовью, как ты презирала его подношения, как ты разыгрывала неприступность, которая была бы чрезмерной даже для королевы? Ты знаешь, кто это был? Это был я. А известно ли тебе, кто я? Я Цезарь Борджа.

Точно свинцовая плита обрушилось на сердце Джиневры это имя, заглушая в ней всякую надежду. Она не могла поэтому ничего ответить, а только в страхе посмотрела на герцога. Так смотрят на тигра, очутившись в его лапах. Кому придет в голову, что его можно смягчить словами?

— Теперь, когда ты знаешь, кто я, — продолжал герцог, — подумай, должна ли ты рассчитывать на мою жалость. Однако я мог бы отказаться от

мести, которую ты заслужила, но с одним условием, Джиневра: будь благоразумна; я знаю, что ты сумеешь.

Эти слова, уже менее суровые, не могли не заронить в грудь женщины искру надежды. Сложив руки и боясь выдать взглядом дрожь, которую она испытывала, Джиневра решила умолять его, как молят распятого, не губить ее, и без того жалкую и несчастную.

— Сеньор, заклинаю вас язвами Иисуса, тем днем, когда вы, столь могущественный на земле, предстанете с обнаженной душой перед вечным судьей! Если у вас когда-либо была дорогая вам женщина, если бы она оказалась в руках другого и просила о милосердии, если бы ваша мать, ваша сестра очутилась бы в моем положении и тщетно умоляли бы, скажите, неужели вы не стали бы вызывать к небу, о мести тому, кто их оскорбил?

Эти мысли, в которых слова о добродетели и чести переплетались с именами Ванопцы и Лукреции Борджа, вызвали у Валентино, который кое-что знал об этих вещах от матери и сестры, легкую усмешку. Но то был злой смех, от которого Джиневре стало еще страшнее. Она продолжала умолять, и понемногу слезы изменили ее голос, и сквозь рыдания с трудом можно было разобрать последние слова:

— Я несчастная женщина. Что, какую славу вы, такой могущественный, хотите завоевать, мстя мне? Кто знает, наступит, быть может, такой момент, когда память об оказанной мне милости явится для вашего сердца утешением?

Невозможно передать, в какой грусти, тоске и отчаянии была несчастная Джиневра, попав в это



Цезарь Борджа  
*С гравюры XVI века*



ужасное положение. Ее слезы, мольбы, неистовые крики и, наконец, безумные проклятья трудно описать. Слишком мучительную картину пришлось бы нам развернуть перед читателями. Судьба ее была взвешена и непреложна.

Тем временем дон Микеле, который возвращался со своими спутниками, печальный и с пустыми руками, полный страха перед гневом своего господина, пристал у крепости. Заметив у двери герцога две лодки—Джиневры и гонца, он стал недоумевать. Он подошел к двери и, слыша шум позади, подумал, что здесь произошло какое-нибудь печальное событие. Затем толкнул дверь, она оказалась запертой. Он не успокоился бы, если бы окрик Цезаря Борджа: «Подожди!» не убедил его, что бояться нечего. Тогда он приткнул ухо к щели, не понимая, почему же дверь все-таки заперта.

Несколько минут царило глубокое молчание. Слышно было только, как сверху долетают звуки и отдаленные крики и плещется вода у берега, заставляя лодки ударяться одна о другую. Вдруг дон Микеле, внимательно прислушивавшийся к каждому шороху, разобрал голос герцога, который, громко смеясь, говорил:

— Теперь молись богу и святым...

Но шаги герцога становились все ближе и заставили дону Микеле отойти в тот самый момент, когда Валентино, повернув ключ, вышел наружу.

Дон Микеле начал было извиняться, но герцог прервал его:

— Расскажешь в другой раз. Я знаю о деле больше, чем ты.—Эти слова давали понять дону Микеле, что повелитель его рассержен, однако по

звучу его голоса и по лицу он догадался, что у герцога была какая-то тайна, которой он не мог разгадать.

Обратясь к спутникам дон Микеле, Валентино отдал распоряжение:

— Марш сейчас все на лодку и ждите меня у монастыря святой Урсулы.

А ему:

— Иди за мной.

Те взмахнули веслами и скоро исчезли из глаз. Дон Микеле с герцогом вошли в комнату; и сейчас же вышли обратно, неся Джиневру. Они положили ее в ту самую лодку, в которой она была найдена. На ее одежде с левой стороны дон Микеле заметил несколько кровавых пятен.

Покончив с этим, они вызвали из комнаты гонца; все трое сели в лодку, не произнося ни слова, и пустились вдогонку за первой лодкой; догнав ее, они пересели туда. Герцог поместился на корме, а дон Микеле в ногах у него. Хотя дон Микеле знал теперь, почему герцог не беспокоится о неудачной попытке, все же ему хотелось рассказать, отчего он вернулся с пустыми руками. Он передал герцогу все точь-в-точь, как было, как на них напали, с каким трудом они защищались и как была отнята донна.

— Одному из них пришлось плохо,—добавил он,—указывая на Пьетраччо, который, оглушенный ударом весла, упал на дно лодки и оказался в плену. В эту минуту он пришел в себя и находился в двух аршинах от герцога. Приспешникам Валентино казалось, что Пьетраччо скорее мертвый, нежели живой, и видя его неспособность к бегству, они оставили его в покое.

— Этот негодяй, — прошепс дон Микеле, — точно фурия, спрыгнул в лодку, по здесь Россо веслом ударил его по уху, и он упал без движения. Я думал, что он уже мертв, но, кажется, к нему возвращается сознание.

Из рассказа дона Микеле и отдельных выражений Пьетраччо уловил, что находится перед тем, кого он так тщетно искал в этот вечер. Валентиню заметил, что раненый злобно смотрит на него, вытаращив глаза; у него мелькнуло подозрение, не замышляет ли тот чего-то недоброго, и он уже готов был дать распоряжение выбросить его на съедение рыбам. Если читатель помнит, дон Микеле слышал в тюрьме святой Урсулы последние слова матери убийцы и ее мольбу отомстить Цезарю Борджа. Внимательно следя за Пьетраччо, Микеле догадывался, что разбойник готовится к какому-то отчаянному шагу. Наемный убийца герцога, хотя и служил ему (правда, из соображений выгоды), сам бы с радостью направил удар, если бы это осталось необнаруженным и прошло бесследно для него. Читатель легко себе представит чувства дона Микеле к своему господину, когда он узнал, что женщина, умершая на его глазах в башне, была женой герцога.

Когда после стычки с Фьерамоской и его друзьями Пьетраччо оказался в руках герцога, он наскоро перебрал в голове разные планы, задумывая использовать их для мести. Но впопыхах ему не удалось найти верного способа. За отсутствием определенного плана он стремился только к тому, чтобы не упустить удобный момент, и теперь обстоятельства, казалось, складывались благоприятно для него. Действительно, за словами



дона Микеле последовало молчание, которого разбойнику было вполне достаточно для исполнения его отчаянного решения. Он поднялся с места, пробежал мимо дона Микеле, который сделал вид, будто хочет его задержать и что он ускользает из его рук, и кинулся на герцога, словно бешеный зверь, рассчитывая, что ему хватит ногтей и зубов, чтобы растерзать добычу. Но герцог, у которого давно было подозрение, был готов, и едва дон Микеле схватил Пьетраччо за спину, как разбойник уже свалился мертвым: грудь его была пробита кинжалом. Герцог носил его у пояса и в этот решительный момент воспользовался им с невероятной ловкостью. Все это произошло так быстро, что гребцы обернулись на шум только тогда, когда все было уже кончено. Они были ошеломлены, увидев, что Валентино вложил кинжал в ножны и, оттолкнув ногой еще трепещущий труп, приказал сбросить его в море.

— Безумец—этот разбойник!—воскликнул дон Микеле, притворяясь взволнованным той опасностью, которая грозила герцогу. Несколько дней тому назад я нашел его в заключении в глубине монастырской башни вместе с матерью; они оба были задержаны стражею вместе с бандою убийц; мать умерла от ран, полученных при защите и, прежде чем испустить дух, она передала сыну какую-то цепочку, рассказав при этом историю. Что это была за история?.. Да, теперь припоминаю... она ему сказала, что получила цепочку от своего любовника в Пизе... И поэтому... подожди, Россо, кидать его в море, я посмотрю, нет ли у него на шее той цепочки. Золото не стоит отдавать для кормежки рыб.

С этими словами он, расстегнув спереди куртку ионоши, нашел цепочку и показал ее герцогу, который весь обратился в слух.

Валентино не настолько умел владеть собою, чтобы скрыть волнение, охватившее его при виде цепочки. На минуту он, как бы растерялся, и его руки, которые поддерживали медальон, висевший на цепочке, бессильно опустились на колени. Потом он сел на прежнее место и изменившимся голосом вторично приказал выбросить труп в море. Повернув голову в другую сторону, он по всплеску воды и по брызгам, которые попали в лодку, догадался, что его приказание исполнено. Сжимая в руке цепочку, он закутался в плащ, оперся головой на руку и погрузился в молчание.

Дон Микеле, притворяясь, что с почтением относится к мыслям, занимавшим его господина, отошел и сел между двумя гребцами; они гребли молча; за весь путь не было слышно ни одного звука, кроме легкого шума воды, лившейся с весел, когда их поднимали. Наемный убийца Валентино наслаждался мстью, какая еще не удавалась ни одному человеку. Он сумел пробудить в его сердце воспоминания, которые заставили его пережить нечто вроде угрызений совести, угрызений, которые, отнимая у человека всякое утешение, похожи на адское отчаяние. Большим торжеством было для дона Микеле то, что он сумел понять муки Цезаря и упиться ими.

После всех этих приключений лодка продолжала свой путь и пристала к судну, стоявшему в ожидании их. Оно взяло направление на Романью. Но не будем дальше следовать за этими злодеями.



## ГЛАВА XVII

Замеченное немногими исчезновение с бала Фьерамоски и его друзей не повлияло на веселое настроение. Фанфулла, покинув террасу, на которой нашел донью Эльвиру, потихоньку проскользнул в комнату, чтобы убрать вещи своего друга. Потом он присоединился к танцующим (как будто ничего не случилось), улыбаясь капризу судьбы и умирая от желания рассказать про все. Дочь Гонсало, ища глазами Этторе в толпе и не находя его, не догадывалась, почему же теперь он прячется от нее.

Так прошло с час. Вдруг появились Бранкалеоне и Иниго и стали у первых попавшихся спрашивать, где Гонсало. Им показали на угол зала, где в кругу французских баронов находился Гонсало. Они подошли к нему и, отозвав его в сторону, рассказали ему новости: как они узнали, что Валентино в крепости и как по его воле имели место все происшествия, и просили Гонсало сказать, как им вести себя теперь. Гонсало; считавший Валентино человеком, способным не только на такое убийство, но даже на большее, на минуту задумался, а потом приказал обоим идти за ним и направился в свои комнаты. Дорогой ему повстречался дон Гарсиа, и он сделал ему знак присоединиться к ним.

Ему не хотелось думать, что герцог еще в замке, чтобы совершить какое-нибудь предательство. Но когда он вспомнил, что в этот самый день он простился, говоря, что уедет ночью, ему показалось странным, что Валентино, именно в последний момент, наделал столько бед. Во всяком случае он решил все выяснить. Он приказал спутникам взять две свечи, опоясался мечом и пошел по коридору, который выходил на впитую лестницу. По ней все спустились, открыв по дороге две двери. Гонсало остановился и тихо велел своим спутникам подождать, не шуметь и не входить без зова. Потом он отпер дверь и вошел в комнату герцога. Она была пуста, не освещена и в большом беспорядке. Здесь кресло, там опрокинутый стол, около кровати брошенная лампа и масло, разлившееся по полу. Соседние комнаты тоже были пусты. Тогда он позвал спутников и, немного подумав, сказал:

— Чтобы сдержать слово, данное негодяю, я не хотел бы рисковать обидеть невинного. Знайте, что герцог прожил в этой комнате несколько дней. Завтра утром или этой ночью он собирался уехать. Больше я не скажу вам ничего, потому что ничего больше не знаю. Мы все убеждены, что он способен на любое злодейство; поэтому и в последнем преступлении он мог быть виновным. Поступайте, как найдете лучше; хотите, преследуйте его, я даю вам полную волю. А вы, дон Диего, окажите им посильную помощь.

У Иниго сейчас же возникла мысль посмотреть, не видно ли на море судна, которое могло бы быть судном герцога. Но сквозь стекло ничего нельзя было рассмотреть. Не теряя времени на снятие больших рам, он кинулся к дверце, которая открывалась на песчаную бухту и о существовании которой он прекрасно знал, как человек, хорошо знакомый с крепостью. Он вышел и заметил лодку, на дне которой была распростерта неизвестная ему молодая женщина. Он тут же подумал, что это могла быть Джиневра.

Он стал неистово звать товарищей. Никто не знал, что подумать при виде брошенной в таком месте женщины. Ее заботливо перенесли на кровать герцога, которую тут же привели в порядок. Почувствовав жалость к несчастной, избитой, с испарявшимся лицом, всклокоченными волосами, со следами крови на одежде, Гонсало поспешно поднялся и решил поручить ее заботам какой-нибудь женщины. Ему не хотелось огласки загадочного события, в котором он и сам ничего не понимал, и он решил сообщить о нем только Виттории Колонна, зрелое благоразумие которой было

ему хорошо известно. Он пошел в зал, где танцевали и, найдя там дочь Фабрицио, тихо провел ее к кровати Джиневры, рассказывая ей по дороге о происшедшем и убеждая Витторию не жалеть внимания к этой несчастной, которая была им неизвестна. Виттория с ее благородным сердцем приняла поручение горячо и с благодарностью. Она подошла к кровати, на которой лежала молодая женщина, внимательно посмотрела на нее, потом привела в порядок ложе, поправила подушки, уложила ее удобнее с той любовью и участием, какие умеют проявлять в этих случаях женщины, утешительницы всех измученных.

Состояние Джиневры было чем-то вроде летаргии, в которую погрузили ее муки; она была в полной прострации. Она не была без чувств и не была в сознании. Она принимала положение, какое ей давали; если ей двигали руку или голову, она не препятствовала и как будто бы даже не замечала этого. Глаза ее были открыты, но совсем тусклы, и она поводила ими, не видя ничего вокруг. Виттория увидела, что состояние Джиневры было тем тревожнее, что она была спокойна, и поняла, что нельзя терять ни минуты. Она отпустила мужчин, позвала нескольких своих горничных, которые принесли спирт и укрепляющие средства; с их помощью ей вскоре удалось пробудить в Джиневре жизнь, которая чуть теплилась.

Первым признаком того, что к ней возвращается способность владеть своими движениями, был мгновенный испуганный взгляд, брошенный вокруг, и потом стремительный порыв броситься с кровати и бежать. Но слабость ее была так

велика, что она упала бы на пол, если бы Виттория не подхватила ее и не уложила насильно, но ласково на кровать.

— Боже,—проговорила Джиневра,—и вы с ними? Вы представляетесь мне благородной женщиной, вы молоды и прекрасны, неужели вы не сжалитесь надо мной?

— Конечно,—ответила Виттория, беря ее руки и поднося их к губам.—И я и все, кто находится в этой крепости, готовы услужить, помочь и защитить вас. Успокойтесь во имя неба. Вы можете никого не бояться.

— Если так,—сказала Джиневра, опять спуская ноги с кровати,—дайте мне, о, дайте мне уйти.

Виттория, полагая, что желание бежать было вызвано расстроенным рассудком, и видя в то же время, что она так слаба и так истерзана, стала кротко уговаривать ее потерпеть некоторое время. Но отвращение к этому месту превратилось у Джиневры в исступление, которое разжигалось препятствиями еще больше. Она продолжала вырываться и говорила вся в слезах:

— Мадонна! Во имя бога и пречистой девы прошу вас об одном—пустите меня вон с этой кровати, бросьте в море, в огонь, но только пустите с этой кровати. Я не стану очень утруждать вас... Глоток воды... я чувствую, что внутри у меня все горит. И сделайте так, чтобы я могла сказать два слова фра Мариано из церкви Сан-Доменико... Только пустите меня отсюда... Дайте мне уйти..

С этими словами она поднялась с кровати, и Виттория Колонна не удерживала ее больше, видя такую настойчивость. С трудом она и женщины

перенесли Джиневру по лестнице и поместили в отдаленной комнате, где Гонсало приказал поставить небольшую кушетку. Здесь, после того как ее освободили от одежды и она легла, она вздохнула и сказала:

— Синьора, бог видит все и все знает в моем сердце; я умолю его вознаградить вас за ваше доброе дело. Пречистая дева, благодарю тебя. И вас, синьора, ведь только благодаря вам я не умру в отчаянии... только пошлите поскорее за фра Мариано... Скажите, который час? День ли сейчас или уже ночь? Я давно не знаю, в каком мире я нахожусь.

— Теперь одиннадцать часов ночи,—отвечала Виттория.—Я уже послала за фра Мариано. Но ужас, испытанный вами, заставляет вас бояться больше, чем следует. Успокойтесь, отдохните, моя бедняжка. Здесь вы в надежном месте, я не оставлю вас.

— Нет, нет, не оставляйте меня! Если бы вы только знали, как успокаивают меня ваши нежные глаза, когда вы смотрите на меня! Сядьте ко мне, я подвинусь немного к стенке... Нет, нет, не бойтесь, мне ничего. Так мне лучше...

Некоторое время она смотрела в одну точку, потом ее охватила дрожь испуга, и она заговорила как бы вне себя:

— Если бы вы знали, что это за ужас! Живой быть закопанной в могилу... Быть придавленной горой трупов! Видеть гримасы разлагающихся мертвецов, которые смеются... Боже! Боже! Еще сейчас мне кажется, что я там...

Тут она прижалась к своей покровительнице, которая, видя, в каком она состоянии, не пы-



талась ее уговаривать, а обняла и молча ласкала, чтобы успокоить.

— О, синьора,—продолжала Джиневра, зарываясь головою в ее грудь.—Не знаю, что мне и сказать; знаю ведь, что говорю глупости... Но я страшно измучилась... Я не заслужила этого! Что я сделала ему, что он так поступил со мной? И святая дева обещала мне спасение. Я молилась ей от всего сердца! И потом покинула меня! Правда, я грешница... но я скорее несчастная, чем виновная... Да, скорее несчастная. Я знаю свое сердце, знаю свои чувства, знаю, сколько оно выстрадало.

— Дорогая моя, верю вам,—отвечала Виттория,—но право, успокойтесь и не говорите, что святая дева вас покинула. Разве вы не видите, что она послала меня утереть ваши слезы и утешить вас в ваших страданиях? Я с вами, я не бросаю вас. И не оставлю вас, не бойтесь. Но если вам нужна поддержка других, если надо наказать вашего обидчика, если нужно помочь в какой-нибудь беде, скажите... Положитесь на меня. Фабрицио Колонна, мой отец... Консальво... все придут к вам на помощь...

— Ах, синьора,—прервала Джиневра,—целый свет не мог бы дать мне отведасть чуточку добра или хоть на каплю уменьшить мои страдания. В этом мире для меня все кончено. Благодарю вас, благодарю. От вас я услышала последние слова утешения... И не считайте меня благодарной, если я не делюсь с вами своими горестями,—это невозможно, этого не расскажешь,—и если я не принимаю ваших предложений. Бог наградит вас... Он может это сделать...

А я могу лишь благодарить вас и целовать ваши руки, которые поддержат мне голову в последний час и закроют мои глаза... Обещайте мне, что оставите меня только тогда, когда я совсем похолодею.

Витторини хотелось рассеять эти мысли, уговорить, что ее жизни ничто не угрожает, но Джиневра не давала ей произнести ни слова.

— Нет, нет, синьора, это бесполезно, я знаю, что случилось, и знаю, что я переживаю. Не откажите мне в этой просьбе, милая синьора. Не откажете, ведь правда? Посмотрите, какое счастье дает мне ваше расположение. Ведь вы не назовете меня ни гордой, ни неблагодарной. Так, значит, обещаете мне?

— Да, да, дорогая, обещаю, если это будет нужно.

— Ну, вот я и спокойна. Теперь сделайте так, чтобы пришел фра Мариано, и тогда все кончено. Дайте мне еще немного воды, потому что мне кажется, что в сердце у меня горящие угли... И если можно, уберите лампу подальше, слишком ярко светит она в глаза. Простите все беспокойства. Это будет недолго.

Витторини сделала то, о чем она просила, и присела отдохнуть на ее кушетку. Через несколько минут в дверь постучался Инниго, ходивший за фра Мариано. Он спрашивал, может ли войти монах.

— Пусть, пусть войдет!—сказала Джиневра.

У входа показался высокий монах, бледное и скромное лицо которого было наполовину закрыто капюшоном. Он подошел к кровати и произнес:

— Христос да сохранит вас, синьора.

Все вышли, и он остался один с Джиневрой. Осанка и манеры его, полные любви, были проникнуты сознанием высокой и важной задачи — утешить человека в несчастье. С первого взгляда можно было видеть, что для него давно уже умерли все страсти и все тревожения земные.

Его история была загадкой для жителей Барлетты да и для самой братии монастыря Сан-Доменико, в котором он жил, не занимая никакой официальной должности. Его окружало уважение к его добродетелям и учености, и все были убеждены, что он является жертвой какого-то религиозного преследования. О нем говорили, что в миру он был одним из первых граждан Флоренции, из числа так называемых «пьяньони», главой которых был фра Джироламо Савонарола, что он, захваченный словами этого могучего проповедника, оставил мир и облекся в одежды доминиканца в монастыре Сан-Марко. К этим рассказам, которые всеми считались достоверными, прибавляли еще много другого: будто он, посвящая себя богу, разорвал сердечные обязательства. Передавали, что эта внезапная перемена была причиной серьезных скандалов, ненависти и мести со стороны покинутой девушки, что ей едва не удалось запутать его в дело, поднятое римской курией против Савонаролы, что после смерти фра Джироламо он спасся с большим трудом благодаря усилиям своих начальников, которые дали ему возможность бежать переодетым, что они отослали его под другим именем в барлеттский монастырь, где он проживал неузнанным ввиду отдаленности и малой посещаемости обители.

Таковы были разговоры на его счет. Но са-

мое изобретательное недоброжелательство тщетно старалось бы бросить тень на его репутацию. Суровые назидания Савонаролы нашли в его сердце подготовленную почву, а его натура, пылавшая готовностью пожертвовать всем ради истины, помогла им принести плоды любви и пламенного усердия.

Костер, который обратил в прах Савонаролу, развеял всех его последователей. Страх перед папской мезтью зажал рты всем, кто питал ненависть к злоупотреблениям римской курии. Фра Мариано спокойно жил в своем уединении, так как бог не считал его достойным умереть за истину; он был доволен, что ему не приходится быть праздным зрителем зол, против которых нельзя было возвысить голоса.

Сев у изголовья девушки, он благословил ее, спрашивая, не желает ли она исповедываться.

— О, да, отец,—ответила Джиневра,—у меня нет иного желанья; если бы я не чувствовала, что мне нехватает сил, я не стала бы беспокоить вас в этот час, но мне недолго осталось жить; поэтому не будем терять времени, помогите мне умереть в милости господа бога и святой римской церкви.

— Смерть и жизнь в руках бога,—ответил фра Мариано.—Да свершится воля его! А вы исполните свой долг и не сомневайтесь в его помощи.

Он перекрестился и после положенных молитв сказал молодой женщине:

— Теперь говорите.

Чтобы открыть свое сердце до его самых тайных уголков, нужно было рассказать исто-

рию всей своей жизни с самого начала, неудачный брак, предполагаемую смерть, скитания из одной страны в другую. Рассказ ее часто прерывался от изнеможения и был бессвязен, потому что мозг ее уже не справлялся с такой трудной задачей.

— Отец,—сказала в заключение Джиневра,— это правда, что я много лет находилась вблизи человека, который не был моим мужем, но вся моя вина лишь в том, что я подвергала себя опасности совершить дурной поступок. Но бог не допустил до этого. Я неохотно разыскивала своего мужа, плохо справлялась о том, умер он или жив... Потом в конце концов я нашла его и тогда решила вернуться к нему... И я исполнила бы это решение... С помощью святой девы я надеялась, что мне это удастся... Но боже! вместо этого куда я попала!

И здесь она поведала: фра Мариано, как около крепости она увидела в интимной позе Этторе и Эльвиру, как под тяжестью огорчения она упала на дно лодки и пришла в себя только в комнате Валентино. Рассказав до конца о его гнусном преступлении, она залилась слезами, содрогаясь от отчаяния, путаясь в словах. Все свидетельствовало, что рассудок ее мутится все больше и больше.

Монах был потрясен до глубины души; с той осторожностью, которой требовала серьезность момента, он старался успокоить ее; это удалось ему, хотя и не вполне, лишь после долгих усилий, когда усталость вылилась в припадок, доведший несчастную женщину до полного изнеможения.

— Отец,—сказала она, вся охваченная бла-

поповением.—Значит, я еще могу надеяться и еще не погибла навеки?

— Нет, сестра, чем труднее борьба, тем будет славнее венец. Кто кладет руку на орало и затем оборачивается вспять, не достоин награды. Образ этого человека овладел вашим сердцем? Видите, на кого вы возлагали свои надежды, от кого ждали радости и утешения? Видите, ради кого вы презрели любовь своего господя? Ради того, кто не сохранил земную греховную верность вам, в которой клялся. Вот так держит мир свои обещания. А вы, чтобы итти за ним, пренебрегаете несокрушимыми обетами. Когда он заставляет вас самым осязательным образом убедиться в тщете ваших желаний, вы возмущаетесь, вместо того чтобы склониться перед этим чудом добра. Вы не можете простить ей? Чем она обидела вас? Во-первых, она даже не знает вас, а потом она молодая девушка, и ей нет запрета предаваться таким мыслям. Вы должны были бы скорее любить ее, почитая в ней орудие, которое рука божия воздвигает ради вашего спасения! И я, грешный, некогда был преступником и слепцом, я в мире земном искал утешения для своего сердца. Бог позвал меня. Я последовал его призыву и сначала с горькими чувствами; зато какую богатую награду даровала мне божественная доброта за небольшую жертву! Какую спокойную радость любви и уверенности в огромном и вечном воздаянии! Поверьте мне грешному, более вас грешному, я познал на опыте: все в мире—горечь, ложь и мрак, кроме одной любви божней, служения ему и надежды на его милосердие...

— Да,—произнесла Джиневра, прерывая его и заливаясь слезами,—вы просветили меня и убедили. Да, я прощаю, прощаю от всей души и хочу доказать это. Пусть она придет, пусть я увижу ее, пока я не умерла. Я обниму ее, и пусть они счастливо живут вместе, ибо я надеюсь на милость бога ко мне в будущей жизни.

Монах стал на колени около кровати и, воздев глаза и руки к небу, произнес:

— Почтим дело его милосердия!

Некоторое время он молился, потом поднялся, благословил женщину, отпустил ей грехи и сказал:

— Итак, вы решили увидеть ее и свершить это святое дело?

— Да, отец, пусть она придет. Я должна умереть, протистив ее.

— Бог,—говорю вам от его имени,—уже простил вас, отныне вы в числе его избранных. Ваше святое намерение—знак вашего спасения.

Монах пошел было за доньей Эльвирой, но Джиневра окликнула его.

— Мне остается,—сказала она,—просить вас об одной милости, и вы не откажете мне, если хотите, чтобы я умерла с миром. Когда меня больше не будет, пойдите во французский лагерь, отыщите там моего мужа (среди воинов он зовется Грайано д'Асти и состоит на службе у герцога Немурского) и скажите ему, что в последнюю минуту я просила прощения у бога, как прошу у него, если чем-нибудь обидела его. Скажите ему, что, невзирая на мое состояние, я клянусь ему, что душа моя покидает этот мир такой же чистой, какой он когда-то получил ее из рук моего отца; пусть он не проклинает моей

памяти и велит отслужить мессу об упокоении моей души.

— Благословение божие да будет с вами!..  
Будьте покойны, ваша воля будет исполнена.

— Да, вот еще об одном одолжении я хотела бы просить вас,—продолжала Джиневра.—Я не знаю, хорошо ли это или дурно... Но бог, который знает мои мысли, знает, что я говорю с добрым намерением... Мне хотелось бы, чтобы вы Юты-скали и его... Этторе Фьерамоску; он—рыцарь Просперо... Передайте ему, что я буду молиться за него, что я ему прощаю, нет, не говорите ему о прощении... В конце концов я не вполне уверена. Ведь это мог быть другой, похожий на него... Нет, нет, скажите ему только, чтобы он подумал о своей душе, что теперь он знает, в какой мы впали... Пусть он вспоминает о другой жизни, ибо эта жизнь проходит, как дым; я говорю обо всем этом по опыту и желаю ему, чтобы и он подумал о своем истинном благе. И потом еще скажите ему, что если бог, как я надеюсь, будет милостив ко мне, то я буду молиться за него, чтобы он вышел победителем на турнире и чтобы честь итальянского оружия была поддержана.

Фра Мариано вздохнул и сказал:

— Я сделаю и это.

Некоторое время умирающая молчала, затем перед ней встал образ Зораиды, к которой в эти последние дни она питала некоторую злобу. Она просила брата найти ее в монастыре св. Урсулы и с последним приветом передать ей ожерелье, чтобы она носила его в знак любви к ней. Она поручила попечениям фра Мариано



эту несчастную одинокую девушку, прося его устроить ей достойный приют и прежде всего сделать ее христианкой. После этого она продолжала:

— Теперь прошу вас уже о последней услуге и уверена, что вы пойдете мне навстречу. Похороните меня в подземной часовне монастыря святой Урсулы, в монашеском одеянии. Для меня будет утешением, что я буду покоиться возле образа святой девы, внявшей моим мольбам и положившей предел моим несчастьям.

— Хорошо,—сказал фра Мариано, едва удерживая слезы.—Ваша воля будет исполнена в точности.

С этими словами он вышел, впустил Витторию Колонна и попросил ее не давать ей много говорить, потому что это ее утомляет. И прибавил:

— Синьора! прошу вас, разыщите донью Эльвиру и позовите ее сюда. Эта несчастная хочет сказать ей два слова.

Виттория, не ожидавшая этого, сначала была в нерешительности, но потом, не сказав ничего в ответ, собралась идти за Эльвирой. Джиневра тихо сказала ей:

— Простите меня за беспокойство, но нельзя терять ни минуты.

Было около часу ночи, и бал только что кончился. Залы начинали пустеть; гости в сопровождении высших чинов испанской армии спускались по парадной лестнице. Гонсало простился с герцогом Немурским и его рыцарями, которые, сев на коней, отправились в свой лагерь, предшествуемые факелами.

На дворе кишел конный и пеший люд, стоял шум, крики разносились по всему замку. Дамы

садились на коней позади своих кавалеров, как тогда было в обычае. Понемногу толпа и шум стали меньше, и спустя некоторое время двор опустел, разве только иной слуга перебежал его по своим надобностям. Слышно было, как отпирали и запирали ворота, и видно было, как дрожал свет в галлереях и окнах. Наконец, когда часы пробили два, стража у ворот подняла мост, соединявший замок с площадью, и когда замер звук цепей, на которых он держался, наступило безмолвие, которое ничем уже не нарушалось в продолжение всей ночи.

Виттория через зал, где тушили огни и раставляли по местам мебель, прошла в комнату, куда удалилась уже донья Эльвира, снимавшая с себя украшения и праздничное платье. Виттория застала ее за этим занятием, ей прислуживали две горничные. Судя по ее обращению с ними, видно было, что она ими недовольна; она была сильно возбуждена; лицо у нее покраснелось, и по всему было заметно, что вечер ей не понравился. При появлении Виттории Колонна внутреннее чутье, вызванное, быть может, угрызениями совести, подсказало ей, что подруга будет говорить с ней в таком тоне, который ей было бы трудно вынести. Поэтому она встретила ее с удивлением, которое не могло вполне скрыть ее нетерпение. Виттория заметила это, но, не подавая вида, мягко сказала ей, что просит ее не ложиться еще немного и пройти с ней к Джиневре, которая зовет ее к себе. Ей пришлось сейчас же объяснить Эльвире, каким образом Джиневра очутилась в этом месте. Дочь Гонсало, у которой, как у всех легкомысленных людей, по существу было

доброе сердце, охотно согласилась, тем более, что дела приобретали лучший оборот, нежели она думала.

Они вместе спустились в комнату Джиневры и подошли к кровати. Красота доньи Эльвиры не так бросалась в глаза, когда она была наилучшим образом одета и причесана, как сейчас, когда ее длинные золотые волосы в беспорядке рассыпались по шее и плечам. Фра Мариано опустил глаза, и бедная Джиневра, взглянув на нее, почувствовала внутреннюю дрожь и вздохнула; добрый монах не мог не посочувствовать ей. Несколько минут все три женщины хранили молчание. Потом Джиневра привстала, опираясь на локоть, и сказала:

— Синьора, вас удивит, что я решилась беспокоить вас, не будучи знакома с вами. Но в моем положении все прощательно. Прежде чем говорить более откровенно, я должна просить у вас позволения сказать вам два слова с полной искренностью. Каков бы ни был ваш ответ, я скоро унесу его с собой в могилу. Но могу ли я говорить в присутствии этой синьоры, или вы желаете, чтобы мы остались одни?

— Это мой самый близкий друг, — сказала донья Эльвира. — Она любит меня больше, чем я этого заслуживаю. Говорите, дорогая синьора, я готова вас слушать.

— Раз так и вы разрешили мне, я хотела бы задать вам один единственный вопрос.

Тут, как бы собираясь с силами и готовя фразу, которую не умела начать, она немного приостановилась. Решение простить ту, которая являлась причиной ее безутешной скорби, было принято

вполне искренно. Но кто бы решился осудить несчастную за то, что когда вот-вот могло выясниться, что юноша, виденный ею у ног доньи Эльвиры, был действительно Этторе, она почувствовала, что не может вынести жестокой правды? Кто упрекнул бы ее в том, что в ней теплилась еще смутная надежда, что она ошиблась, что Этторе был ее прежним Этторе.

Мы не уверены, что эти чувства вполне угасли в ней; отсюда короткая нерешительность, вызвавшая это молчание. Наконец она решительно, ясно и отчетливо спросила:

— Скажите мне, — и простите, что я так настойчиво спрашиваю вас, — не были ли вы сегодня вечером на террасе, выходящей на море, около девяти часов и не было ли у ваших ног Этторе Фьерамоска?

Этот вопрос, столь неожиданный и прямой, поразил обеих девушек, но по разным причинам. Лицо доньи Эльвиры стало цвета горячих угольев, и она не могла проронить ни звука. Джиневра, которая не сводила с нее глаз, поняла все, почувствовала, как кровь у нее холодеет, и изменившимся голосом сказала:

— Синьора, я очень смела, я это знаю, но видите, я умираю и прошу вас, во имя спасения, на которое мы все надеемся в другой жизни, не откажите мне в моей просьбе. Скажите, это были вы? И с вами был он?

Донья Эльвира была, как во сне. Она робко перевела взгляд на Витторию, которая прочла в ее глазах боязнь осуждения, и зная, что теперь не время для него, обняла ее и успокоила без всяких слов.

Джиневре показалось, что она умрет в неизвестности. Она протянула к девушке дрожащие руки и голосом, полным отчаяния, спросила:

— Итак значит?..

Донья Эльвира в ужасе съежилась около своей подруги, опустила глаза и ответила:

— Да, это были мы...

Лицо несчастной Джиневры изменилось; оно словно сразу осунулось. Потом с трудом она поднялась на кровати, схватила донью Эльвиру за руку, притянула к себе и, обняв руками ее шею, сказала:

— Так пусть же бог благословит вас и сделает счастливой.

Но последние слова едва можно было услышать, и быть может, раньше, чем она их произнесла, душа ее уже стяжала на небесах награду за самую трудную победу, какую только может одержать над собой женщина, за самое великодушное прощение, на какое способно человеческое сердце.

Руки Джиневры, обвивавшие шею дочери Гонсало беспомощно упали, и она навзничь повалилась на кровать. На лицо ее сразу легла печать смерти. Обе девушки поняли это и вскрикнули. Монах некоторое время стоял, не дыша; потом он сложил руки и произнес:

— Так идут в рай.

Став на колени, все трое начали молиться об упокоении души, которая так в этом нуждалась и так этого заслужила. Они соединили ее руки; и фра Мариано положил ей между пальцев четки, которые носил на поясе, поставил у ног свечу и произнес:

— Variis et miris modis vocat nos Deus<sup>1</sup>.

Молясь в глубине души за нее и прося ее предстательства, ибо ему казалось, что душа ее отлетела в место спасения, он вывел обеих девушек из этой печальной комнаты, а сам вернулся к умершей и провел в молитве остаток ночи.

---

<sup>1</sup> Разными и чудными путями зовет нас господь.



## ГЛАВА XVIII

Давая согласие на поединок между испанцами и французами, и между итальянцами и французами, Гонсало прежде всего хотел выиграть время для получения помощи от Испании с моря. Без нее его силы были много слабее неприятельской армии, и ему приходилось держаться в Барлетте, не предпринимая никаких решительных действий. В тот день, когда его гостями были французские бароны, ему были доставлены письма, сообщавшие о приближении кораблей с людьми, которые уже прошли Реджо и должны были вскоре пристать

к Барлетте. Зная, что теперь ему уже нет нужды медлить и что нельзя давать падать настроению, которое должно было подняться у его солдат с прибытием новых сил, он в разговорах о поединках с герцогом Немурским и французами просил назначить их как можно скорее. Было решено, что испанцы будут биться на следующий день после бала около моря, в полумиле от ворот, ведущих в Бари, а итальянцы на третий день в месте, осмотренном Бранкалеоне и Просперо Колонна и ими одобренном, на полпути между Барлеттой и французским лагерем.

Рыцари обеих партий, оповещенные своими начальниками о решении, сейчас же занялись приготовлениями: французы, которым предстояло сражаться, оставили бал и вернулись в свой лагерь раньше других, чтобы распорядиться о бое, а испанцы вернулись каждый к себе, чтобы разоблачиться и немного отдохнуть до утра. Иниго и Бранкалеоне получили это известие тогда, когда Джиневра была уже перенесена в комнату, из которой ей не суждено было выйти живой, и они пошли за монахом. Иниго, который был в числе бойцов, должен был заняться приготовлениями и передал другу заботы о Фьерамоске и о помощи ему. Расставаясь, они пожали друг другу руки, и Иниго сказал:

— Как он будет биться завтра, если сегодня вечером он не мог держаться на ногах?

Вместо ответа Бранкалеоне покачал головой, кусая нижнюю губу. Он прекрасно понимал, что испанец прав. Затем он пошел к берегу и сел в лодку, торопясь в монастырь, чтобы сообщить Этторе о результатах поисков, как было условлено.



Прежде чем рассказать о положении его друга, которого он оставил в таком печальном состоянии, мы должны, предваряя события следующего утра, сообщить об исходе боя испанцев с французами.

Когда обе группы воинов, каждая численностью в одиннадцать человек, встретились в поле, солнце уже с час как взошло. Среди испанцев самыми славными были. Иниго, Асеведо, Корреа, старый Сегредо, дон Гарсиа де Паредес; другие, хотя и менее известные, были хорошими кавалеристами и бойцами. Педро Наварро получил от Гонсало поручение быть распорядителем боя. На противоположной стороне эта обязанность была возложена на монсиньора де ла Палиссе, среди рыцарей которого был Баяр, гордость тогдашней армии. Сражение долгое время шло без перевеса на какой-либо стороне. Но внезапно у Сегредо ударом меча была разрублена туго натянутая узда; лошадь его понеслась бешеным галопом и едва не выскочила из пределов поля. Такой случай, согласно правилам поединков, приравнивался к поражению, а тот, с кем он происходил, считался пленным. Сегредо, видя, что его лошадь готова переступить границу, указанную большими кучами камня, соскочил на землю; от трудности прыжка или оттого, что годы делали его менее подвижным, он упал на колени и храбро оборонялся от двух всадников. Но меч его разлетелся в куски, а другого оружия у него не было. Он тщетно пытался спрятаться среди своих, которые были далеко, и в конце концов должен был сдаться и удалиться с поля. Но он сражался с таким мужеством, что отовсюду, неслись похвалы и сожаления о его неудаче. После этого

эпизода сражение продолжалось, причем успех, видимо, склонялся в пользу испанцев. Под многими из французов лошади были убиты. Здесь следует заметить, что в этих поединках, несмотря на старинные рыцарские правила, часто уговаривались прежде всего о праве ранить лошадей, чтобы придать бою характер настоящей войны,—где почти не применялись правила боевой вежливости,—и подчеркнуть ловкость сражающихся. После двухчасового боя распорядители приказали трубить в трубы и, прервав таким образом схватку, дали бойцам короткую передышку. Испанцы все были на конях, и в их рядах не хватало одного Сегредо. И из французов один был объявлен пленным; в этом отношении обе группы были равны. Но на поле лежало семь убитых лошадей. Баяр был еще на коне. После получасового отдыха сражение возобновилось, и несмотря на усилия испанцев, их противники держались, укрепившись за трупами лошадей, через которые кони неприятеля, даже раздираемые шпорами, не хотели скакать. Таким образом, после ряда бесполезных маневров французы предложили прекратить бой и остаться при одинаково почетных результатах.

Упорная защита французов, трудность одолеть их за прикрытием из трупов их лошадей сделали то, что большая часть испанцев склонилась на предложение прекратить борьбу. Один Диего Гарсия не уступал: он в ярости кричал своим товарищам, что позорно отступать перед врагом, который наполовину уже побежден, что дело надо покончить и показать превосходство испанцев в конном и пешем строю. Не имея другого оружия, кроме меча, которым он не мог достать врага, Диего Гар-

сия наклонился к земле и, подняв большие камни, обозначавшие границы поля, камни, которые обыкновенный человек едва мог передвинуть, он стал бросать их в середину неприятельского отряда. Но от них легко было уклониться, и поэтому он не мог причинить урона. Тем не менее, схватка снова вспыхнула и продолжалась до захода солнца; французы защищались весьма храбро, так что наконец обе стороны должны были остановиться; судьи признали исход равно почетным для обеих сторон, причем испанцам дано было преимущество в доблести, а французам в стойкости. Пленники были обменены, и все, усталые, измученные, избитые, вернулись—одни в лагерь, другие в город.

Испанцы возвратились, когда уже наступил вечер. Они спешили во дворе замка и, представившись Гонсало, рассказали, как все происходило. Полководец был очень расстроен и упрекал их за то, что, начав хорошо, они не сумели так хорошо кончить. Тут во всем величии сказалась благородная натура дона Гарсиа. На поле сражения он резко укорял товарищей, оставивших дело незавершенным, а теперь, перед лицом Гонсало, упорно защищал их, говоря, что они сделали все, что было в силах хороших бойцов, и добились своей цели, состоявшей в том, чтобы показать французам свое превосходство над ними в конном бою. Но Гонсало плохо принял эти оправдания. Он прервал речь Гарсиа словами: «Я посылаю вас, как лучших», и отпустил их.

Вернемся теперь к Бранкалеоне, который, расставшись с Инниго, отправился к Фьерамоске.

Когда он причалил к острову св. Урсулы, в нем

остыло уже желание поскорее увидеть друга, которым он был полон в пути: он все время думал, как сообщить Этторе про то, что произошло с Джиневрой и про ее состояние. Он медленно поднялся по лестнице, которая вела на монастырскую площадь, и собравшись с мыслями, направился к жилищу Джиневры. Объяснения, заготовленные наперед, оказались излишними. Входя в комнату, он увидел Зораиду, сидевшую у изголовья. Она рукою сделала ему знак, чтобы он не шумел, и указала на Этторе, который крепко спал. Бранкалеоне тихо удалился, а девушка поднялась, взглянула на Фьерамоску и, убедившись, что он спокойно спит, вышла на-цыпочках и прошла за Бранкалеоне в одну из соседних комнат.

— Все идет хорошо,—сказала Зораида.—Завтра Этторе будет чувствовать себя так, словно с ним ничего не было. Но где Джиневра? Вам не удалось найти ее следов?

Услышав такие вести о Фьерамоске Бранкалеоне вздохнул с облегчением и отвечал:

— Джиневра в крепости в хороших руках, и вы скоро увидите ее. Но скажите, правда, что Этторе поправится? Послезавтра ему надо участвовать в бою.

— Он будет сражаться.

Загадочное выражение, которым сопровождались слова Зораиды, возбудили любопытство Бранкалеоне, который, желая разузнать поточнее, в чем состояла болезнь его друга, услышал, что он был ранен, но легко, в шею, причем Зораида не упомянула про отравленный кинжал. Но в словах девушки ему чудилось что-то недоговоренное. Он продолжал свои расспросы, но более

точных объяснений ему так и не удалось получить.

— Среди нас на Востоке ходит басня,—с грустной улыбкой сказала Зораида,—о льве пустыни, которому мышь спасла жизнь. Больше ничего я не скажу вам; вам достаточно знать, что через несколько часов рука Этторе будет так же крепка, как шея дикого быка. Оставьте его сейчас в покое; завтра он проснется во-время, чтобы привести себя в порядок; я пойду к нему на случай, если ему что-нибудь понадобится. Положитесь на меня: по части ухода за ранеными я мастерица и выхаживала гораздо более опасных.

Бранкалеоне, видя, что ему здесь делать нечего, попросил Зораиду, когда Этторе проснется, сообщить ему о сражении следующего дня и о том, что он придет сам в полдень, если Этторе не попадет в город раньше. На этом расстались, и Бранкалеоне вернулся в Барлетту. Прежде чем пройти домой, он решил зайти в крепость, узнать о Джиневре, но он нашел ворота закрытыми и мост поднятым. Приходилось отложить справки до следующего дня.

Едва забрезжил день, как одиннадцать человек бойцов отправились на поле в сопровождении всех, кто мог их проводить. Поэтому в замке осталось народу очень немного. Бранкалеоне поднялся по лестнице, не встретив никого, кто мог бы что-нибудь ему сообщить, дошел до дверей комнаты, где накануне он оставил Джиневру, и постучал. Фра Мариано, прошедший здесь ночь, отворил ему и, пригласив в соседнюю комнату, рассказал о случившемся.

Бранкалеоне был подавлен печальной новостью еще и оттого, что несчастье обрушилось на его друга в момент, когда тот меньше всего был к нему подготовлен и когда предстоящее сражение требовало от него напряжения всех сил. Он опасался, как бы под тяжестью горя Этторе не оказался слабее, чем всегда, в трудном и важном испытании. Поэтому, думая о том, как помочь делу, они с фра Мариано решили скрывать от него смерть Джиневры весь день и перенести умершую, согласно ее воле, в монастырь только завтра, когда Этторе вместе с товарищами будет биться против французов. Они рассчитывали, что нетрудно будет сохранить тайну в течение дня, когда крепость будет пуста, и решили сообщить о смерти Джиневры только Гонсало с тем, чтобы он оказал им содействие в перенесении тела и погребении его с известными почестями.

Что касается Фьерамоски, которому надо было дать какие-нибудь объяснения, то было решено: Бранкалеоне скажет ему, что Джиневре хорошо, но видеть ее в этот день невозможно, что она велела ему помнить о чести итальянцев и биться так, как требовали столь необычные обстоятельства, и что она будет молиться за него и его товарищей. Все это можно было сказать без всякой лжи, и это должно было успокоить его и ободрить перед сражением.

Устроив таким образом это наиболее важное дело, Бранкалеоне спустился на площадь и прошел в дом братьев Колонна. Он застал их обоих на дворе, где собралось тринадцать итальянцев; все тщательно осматривали оружие, сбруи, лошадей, чтобы быть в полном порядке; не было

ни одной части вооружения, которая не подвергалась бы испытанию.

Бранкалеоне, поставленный в известность об этом осмотре, прислал своих оруженосцев и оруженосцев Фьерамоски с лошадьми и оружием. Не хватало только хозяина их, и на все вопросы оруженосцы отвечали, что они с ним не виделись и вообще ничего не знают.

Просперо Колонна выслушал новость с удивлением, быстро перешедшим в гнев. При появлении Бранкалеоне он спросил строго:

— А где же Фьерамоска, почему, он не является?

— Ваше сиятельство,—отвечал Бранкалеоне.—Он скоро будет здесь; промедление его не по его вине... Неожиданный и важный случай...

— Какой такой случай может быть для него важнее завтрашнего дня? Я не думаю, чтобы могли быть какие-нибудь другие дела.

Фанфулла, который помнил эпизоды минувшего дня и искал случая в разговоре намекнуть на них, сказал со смехом:

— Должно быть, он слишком много танцевал в эту ночь или нашел такую зазнобу, которая выгнала старую. А в таких случаях рано встать очень трудно.

— Он нашел болячку, чтоб тебе от нее сдохнуть,—отвечал Бранкалеоне.—Ты думаешь, что все вроде тебя, спятили? Говорю, ваше сиятельство, не беспокойтесь о нем. Даю честное слово, что он скоро будет здесь. Я сам пойду поторопить его.

Он думал, что так действительно будет лучше, потому что при всем доверии к Зораиде он боял-

ся, как бы новое препятствие не помешало Фьерамоске. Он пошел к гавани, чтобы во второй раз съездить на остров, сел в лодку, но в тот момент, когда он хотел оттолкнуться от берега, другая огибала мол, на ней он к великой своей радости заметил Этторе. Тот в свою очередь, увидя Бранкалеоне, подошел к нему и, спрыгнув на землю, сейчас же спросил его:

— Где Джиневра? Больна? Что с нею? Скорей идем к ней.

— Пойдем лучше скорее к Колонна. Там ждут только тебя. Джиневра здорова, и ты потом увидишь ее.

— Ладно. Туда успеем. Идем к ней.

— Разве Зораида не говорила тебе, что завтра бой?

— Конечно. Но сейчас, ради бога, веди меня к Джиневре.

— Сейчас ее видеть нельзя. И сегодня вообще...

— А я тебе говорю...

— Но если ты не слушаешь меня и не даешь мне говорить, то ведь мы никогда не кончим... Знай (и это велела она сама передать тебе; я не видел ее, но она прислала меня с просьбою, чтобы я сказал тебе), что она здорова; синьора Виттория взяла ее к себе, приласкала, оказывает ей, как сестра, все услуги, и она ни в чем не нуждается. Она умоляет тебя на сегодня не думать ни о чем другом и не стараться увидеть ее. Будь покоен духом, сражайся завтра с полными силами, памятуя о чести итальянцев и обо всем том, о чем вы столько раз говорили с нею, а она будет молить бога о нашей победе.



— Почему же я не могу видеть ее? Тут что-то есть.

— Да говорю же тебе, что ничего нет. Рассказать тебе, с какой головокружительной быстротою вчера все произошло, я не могу, потому что и сам всего не знаю. Но хватит с тебя, клянусь небом, что она спасена. Остальное ты узнаешь после сражения. Теперь не время думать о другом... Идем, а то синьор Просперо и все остальные заждались тебя и уже спрашивали о тебе; они очень удивлены, что творится с тобою в такой момент. Идем, ну смелее! Ведь ты всегда был мужем! Нельзя попирать ногами честь и имя такого великого воина, как ты!

— Ну, ладно, идем,—сказал Фьерамоска, все еще сердитый.—Я не такая лошадь, которую нужно так сильно прищипывать. Я просил о минутном свидании с Джиневрой. Неужели мир рушится от этого?

— Мир-то не рушится... Но разве ты не понимаешь, что там сейчас все заняты осмотром оружия, а тебя одного нет, что могут о тебе подумать?

— Итак,—сказал Фьерамоска, ускоряя шаги (во время всего этого разговора они шли медленно: одному хотелось к замку, а другой тащил к дому Колонна),—идем. Ты прав... Долг и честь прежде всего.

Когда они пошли побыстрее, Бранкалеоне спросил его:

— А кстати, как ты чувствуешь себя? как твоя рана?

— Ничего. Пустяки! Потом расскажу... Сейчас не время. Чертовщина какая-то! Бедная Зораида!

Она ничего не хотела объяснить мне, но я хорошо понял по тому, как мне было нехорошо... Кинжал был отравлен... Я не хотел, чтобы она у меня высосала рану... а это одно могло спасти мне жизнь... И боюсь, что она это именно и сделала. Но я сам не свой и не помню, было это в действительности или во сне.

— В общем ты чувствуешь себя хорошо?

— Как будто и не был ни ранен, ни болен.

Разговаривая так, они очутились во дворе и представились Просперо Колонна, который, сказав несколько слов по поводу опоздания Фьерамоски, продолжал свою работу. Тщательность осмотра привела к тому, что он затянулся на несколько часов. Лошадей пробовали; латы испытывались ударами копыя, алебарды и меча. Клинки и острия проверяли на дереве, на железе, и оружие, которое оказывалось мало пригодным, отбрасывали. К полудню, когда каждый вернулся уже к себе домой, одного только Этторе задержали под предлогом выработки подробностей поединка, но на самом деле, чтобы не дать ему возможности ходить, куда ему заблагорассудится. Бранкалеоне отвел синьора Просперо в сторону и рассказал ему обо всем, прося занять Фьерамоску в остальную часть дня, что и было в точности исполнено. С наступлением вечера, когда уже не было никакого смысла его удерживать, его отпустили, и Бранкалеоне провожал его до дому, беседуя с ним о ратном деле, о том, как вести себя завтра утром перед врагом. Ему удалось настолько овладеть вниманием Этторе, что последний не мог отдаться мечтам и влечениям своего сердца. Так они прошли площадь, до-

брались до испанских бойцов, с которыми провели время в расспросах и выслушивании новостей о битве, и только к ночи были дома.

— Ну и крепкие кости у этих чертей-французов,—прибавил Этторе, расставаясь с другом.—Испанцам было над чем поработать.

— Тем лучше,—отвечал Бранкалеоне.—Будем иметь дело с настоящими людьми. Недаром мы бьемся под знаменем Колонна. Но завтра я надеюсь драться за двоих; подумай, что скажут эти разбойники Орсини, если они узнают, что нам попало. Этот трус Питильяно охотник посмеяться, но на этот раз, надеюсь, он не получит этого удовольствия.

— О нет,—сказал Фьерамоска.—И может быть, кому-нибудь из этих французов не поздоровится, раз они захотели попробовать алулийских фиг. Теперь надо немного отдохнуть. Завтра мы докажем французам, что, если бедных итальянцев и преследует жестокая судьба, то, когда приходится биться один-на-один, мы не боимся ни их, ни целого света. Прощай, Бранкалеоне,—продолжал он с улыбкой.—Я знаю, что ты хочешь сказать. Не беспокойся, до завтрашнего вечера я буду думать только об этом. Клянусь, у меня кровь кипит сильнее, чем в тот день, когда мы их вызвали. Надеюсь, не осрамить ни Италию, ни вас.

— В этом я больше чем уверен,—ответил Бранкалеоне.—До завтра.

— До завтра,—сказал Фьерамоска, пожимая ему руку. Они расстались.

Прежде чем пройти в комнату, Фьерамоска заглянул в конюшню. Он подошел погладить свою

лучшую боевую лошадь, желая тем самым выразить любовь или даже дружеские чувства к товарищу трудов и опасностей. Он провел рукой по шее и спине, слегка лаская ее, и она, опустив уши, встряхнула головой и, играючи, попробовала укусить хозяина.

— Ну, бедный мой Айроне, ешь и будь весел, пока можно. А то ведь неизвестно, будешь ли ты завтра спать на этой подстилке. Во всяком другом деле я оседлал бы Бокканеру и не рискнул бы твоей шкурой, но завтра нужно, чтобы подо мною был ты. Ты не подведешь. В тебе я уверен. И потом,—добавил он, усмехаясь и трепля животное за морду,—ты ведь конь итальянский и тоже должен нести крест.

Убедившись, что все в порядке, он сказал своему оруженосцу Мазуччо:

— В четыре часа напой ее и дай ей ячменю, сколько влезет, а в пять приходи помочь мне вооружаться.

Сделав распоряжения, он поднялся в свою комнату, через несколько минут потушил свет и лег с твердым намерением уснуть. Сначала ему показалось, что он сможет заснуть, но потом потянулись мысли, одна за другой, и он пролежал больше часа, ни на секунду не смыкая глаз. Все случившееся с Джиневрой, относительно которой он, положившись на Бранкалеоне, немного успокоился, снова стало казаться ему неясным и подозрительным; тысячи страшных мыслей роились в его голове. Он думал:

— Тут есть какая-то тайна, и мне не разгадать ее и завтра. Неужели Бранкалеоне пришла охота морочить меня?

Он готов был уже проклинать поединок, но эта мысль, не успев родиться, была отброшена им.

— Какой, какой позор, — сказал он, приподымаясь на кровати, — как могла родиться в душе такая подлость! Разве я не тот, что прежде? Что бы сказала Джиневра, видя, что я переменялся и остаюсь холоден при мыслях, которые в другое время зажигали огонь в моих жилах?

Эти рассуждения так рассердили его, что в ярости он поднялся, потому что в этом состоянии бессонницы кровать была ему невыносима, и вышел на террасу. Он сел, как это делал часто, у барьера под пальмой и решил дожидаться здесь зари, уже недалекой.

Бледная и неполная луна слабо отражалась в море. Вдали, шагах в пятидесяти, с левой стороны возвышалась крепость, которую в этот час трудно было разглядеть; она вырисовывалась, как большая коричневая масса, и только зубцы на башнях отчетливо выступали на фоне неба. Этторе со вздохом посмотрел на стену, думая о той, которая там укрывалась. Ему почудилось, будто он слышит отдаленное пение псалмов. Но это было так далеко, что звуки то долетали, то нет. В окне, вкось и с большим трудом он мог рассмотреть только свечу, которую не гасили всю ночь. Этторе отдал бы жизнь, чтобы не видеть этого света, и отворачивался в другую сторону, говоря: «Мои фантазии сведут меня с ума». Но глаза сами собой поворачивались, а свеча все горела и горела.

С той нерешительностью, какая бывает у человека, измученного докучными сомнениями, ему хотелось убедить себя в том, чему в глубине души

он не верил: что Джиневра жива и здорова, что с ней не произошло ничего дурного и что вся загадочность, которой окутано происшествие, не больше, как его выдумки, пустая игра воображения. И если, чтобы обмануть себя, он терпел такую муку, то потому лишь, что знал, что для сосредоточения всех своих мыслей и всех своих душевных сил на сражении ему необходима, если не вера, то вероятность того, что его разуму представлялось чистой иллюзией.

— Да, да,—говорил он, встряхивая головой и проводя рукой по лбу и волосам, чтобы отогнать теснившиеся мысли,—прежде всего надо поддержать честь... Может быть, завтра, в этот час я смогу уже сказать: «Джиневра, победа за нами»...—Потом он призадумался...—Или она увидит меня возвращающимся в Барлетту на носилках и скажет: «Бедный Этторе, ты сделал все, что мог»... А если это случится? Я умру честно... и она будет оплакивать мою смерть. Но я не хотел бы остаться живым ценой низости. И она была бы горда возможностью сказать: «Мы были друзьями с детства»... Да... Но она останется здесь одна без защиты; она даже не знает, что муж ее во французском лагере. А если бы и знала—как ей явиться к нему, через столько времени?

У Этторе сейчас же сложился план поручить ее Бранкалеоне. Но, собравшись, что и тот может быть убит вместе с ним, он решил написать письмо к Просперо Колонна и в нем распорядиться, чтобы все его небольшое имущество в Капуе, то-есть дом, имение, оружие и лошади стоившие все-таки несколько тысяч дукатов, пере-

шло к Марии Джиневре Росси ди Монреале. Он зажег свечу и быстро написал письмо. Но вдруг у него мелькнула мысль написать письмо Джиневре, как бы прощаясь с ней и поручая ей сарацинскую девушку, которой он имел столько поводов быть признательным. Уже запели петухи, и люди в конюшне завозились и зашумели. Поэтому за недостатком времени он успел написать только несколько строк.

«Джиневра, я готовлюсь сесть на коня. Сойду ли с него сегодня вечером живым? Если небо судило иначе, верю, что, оплакивая близкого друга детских лет и слугу, ты будешь довольна, что я погиб смертью славных, прекраснее которой нельзя себя представить. В память о моей любви прими мое скромное достояние. Ты ведь знаешь, что я один и что близких родственников у меня нет. Поручаю тебе, не тратя на это лишних слов, моего слугу Мазуччо; со дня, когда в Офанто он был ранен в плечо, он не может работать; и принужден будет, если ты ему не поможешь, просить милостыню Христа ради, а это было бы нехорошо для моей памяти. Еще об одном остается мне сказать тебе: твой муж состоит на службе у герцога Немурского. Я слышу сигналы в доме Колонна. Господь да хранит тебя. Поручаю тебе Зоранду.

Эttore».

И действительно, было слышно, как трубач, готовясь протрубить сигнал к пробуждению, давал по обыкновению короткие и отрывистые звуки, как бы пробуя свой инструмент. Гудение и глухой шум, доносившиеся из нижнего этажа

и из соседних домов, неясные голоса, шаги людей и топот лошадей на улице показывали, что большинство будущих участников и зрителей поединка готовы к выступлению. Однако на небе не было заметно никаких признаков зари. Густая мгла скрывала звезды. Было темно.

Закончив оба письма, Фьерамоска сел у открытого окна и стал смотреть туда, где слабый блеск свечи рассеивал туман, через который он пробивался. Мрачный вид природы в этот момент, когда Этторе и без того был склонен к грусти, только усилил ее; летучие мыши, в быстром дрожавшем полете пронесившиеся перед окном, куда привлекал их свет, часовые на башнях крепости, ввиду близкой смены переключившиеся друг с другом протяжными и замогильными голосами,—все подчеркивало меланхолию этого часа, и молодой человек некоторое время ощущал какую-то подавленность. Но тяжелые и гулкие шаги двух людей, которые, поднявшись по лестнице, вошли в комнату, заставили его поднять голову и придать лицу веселое и смелое выражение, чтобы они не могли догадаться об его душевном состоянии.

Бранкалеоне явился, весь покрытый броней, кроме головы, а с ним Мазуччо, несший вооружение Фьерамоски. Колокол в монастыре Сан-Доменико ударил к мессе, которую участники сражения должны были прослушать до выхода в поле.

— Вооружайся, Этторе, скоро все соберутся в церкви,—сказал Бранкалеоне.

С помощью Мазуччо он в несколько минут надел на своего друга превосходное блестящее вооружение, которое тот носил в особо важных случаях. Работа одного из лучших миланских



мастеров, оно плотно облегалo стройные члены рыцаря и так хорошо было пригнано в скрепах, что тело его не ощущало никакого стеснения, не теряло изящества и движения его оставались свободными и гибкими. Когда Фьерамоска кончил вооружаться, он привесил слева меч, справа кинжал, и они вышли; слуги несли за ними копье, шлем, щит и вели лошадей. Они пришли в церковь Сан-Доменико, куда быстро собрались тринадцать рыцарей и Просперо Колонна в сопровождении большой толпы народа.

Церковь представляла собой четырехугольник в три корабля, разделенный колоннами и арками, грубоватый по стилю. Ближе к главному алтарю две поперечные пристройки образовали крест с основным корпусом здания. Хор монахов, согласно древнему обычаю, расположенный перед алтарем, был деревянный, с сидениями, украшенными рельефами, которым время придало блестящую и темную окраску. В середине была поставлена скамья на тринадцать человек для итальянских рыцарей. Дневной свет все увеличивался, но он еще не был настолько ярок, чтобы проникать сквозь раскрашенные стекла узких окон. Поэтому внутренность церкви как бы тонула во мраке, и тусклый свет нескольких алтарных свечей дрожал на латах рыцарей, оставляя в темноте остальные фигуры. Просперо Колонна, тоже вооруженный, стоял немного впереди других. У ног его для коленопреклонения была положена роскошная подушка из красного бархата с колонною, вышитой серебром, ее принесли два пажа, стоявшие в нескольких шагах позади Просперо. Началась месса. Ее служил фра Мариано, и сердца зрителей, способных

к благородным и возвышенным чувствам, едва ли остались равнодушны, глядя на этих сильных и смелых молодых людей, которые склоняли перед богом свое чело, изборожденное железом и трудами, и просили даровать мечам их победу над теми, кто хотел смешать с грязью имя итальянцев.

По их осанке, в которой от долгого ношения оружия даже во время молитвы была какая-то молодцеватость, можно было угадать, какие мысли навевало на них религиозное настроение. В конце скамьи слева неподвижно стоял Фьерамоска со скрещенными на груди руками; перед ним в нескольких шагах виднелась открытая дверь в ризницу; церковные служители, которые по своим делам сновали взад и вперед, быть может, одни могли отвлечь его от молитвы. Но он стал свидетелем сцены и разговора, которые могли в этот момент более, чем когда-либо, настроить его на грустные мысли.

Посередине ризницы стоял человек в поношенной черной мантии, с беспорядочно лежавшими рыжими волосами и печальным лицом. Повернувшись к монаху-доминиканцу, который, будучи очень полным, занимал все кресло между одним шкафом и другим, обычной мебелью этого места, он грубо, хриплым и тонким голосом спросил его:

— Которую готовить: для бедных или господскую?

— Что за вопрос?—отвечал брат одними губами.—Разве ты не знаешь, что платить будет синьор Консальво? А он не из тех голодных в Барлетте, которые, чтобы не дать факела приходскому священнику, велят нести себя беднякам... По первому классу. Я же сказал всем, что по пер-

вому классу: звон, катафалк и месса. Кажется, стали еще глупее, чем обыкновенно.

Собеседник пожал плечами и, отойдя в другую сторону ризницы, ушел из поля зрения Фьерамоски. Этторе только слышал, как вставляли ключ в дверь и открывали ее. Потом он уловил шум удалявшихся шагов. Потом все стихло. А немного спустя раздались те же шаги, при этом казалось, будто что-то волочат по полу. Шум приближался, и появился прежний человек. Он притащил и поставил посередине ризницы черный гроб, отделанный серебром, с крестом в головах и черепом, поставленным на две кости, скрещенные на манер андреевского креста, в ногах. Он набросил на гроб покров из черного бархата, предварительно стряхнув с него тряпкой пыль. Пока могильщик проделывал все это с безучастным и угрюмым видом, довольно обыкновенным у служителей ризницы, вдруг некая веселая мысль заставила сморщиться от смеха кожу на его щеках.

— Стало быть, на этот раз и мне поднесут винца? Вот уже сколько времени приходится хоронить одних только моряков да рыбаков... Благодарение богу, что хоть изредка посылает коекого пожир... (он вдруг обернулся, опасаясь, как бы его не услышали, и понизив голос, продолжал) пожирнее.

— По разочку всем достанется,—сказал монах, зевком разделяя фразу на две части.

— И может быть,—продолжал могильщик, прилаживая покров к гробу и отходя назад, чтобы посмотреть, не свешивается ли он с одной стороны больше, чем с другой,—может быть, Бека, моя ведьма-жена попала в точку. Вчера вечером (за-

помните это) лежим это мы оба себе в постели и разговариваем, что поневоле приходится гулять, а не работать, что ее платье и мой новый кафтан расплзаются на куски... Посмотрите, разве это не так? (Тут он засучил рукава, показывая, что не преувеличивает.) Словом, говорили о том, что, если так протянется еще немного, то мы умрем с голоду. Сегодня утром, перед «Ave Maria», когда я встал идти в церковь, юна сказала: «Россо, знаешь, что мне снилось?» Спрашиваю: «А что?» Говорит: «Снилось мне, что кухня трактира Велено полна кроватей, сам он желтый-прежелтый и что вернулась чума и наши дела поправились и ты ходил по Барлетте, разодетый, точно рыцарь... в общем, как фра Биаджо. Не слышно ли чего про войну или про чуму?» А ведь и то может случиться, что раньше сегодняшнего вечера (здесь он опять понизил голос и, видя, что в церкви никто не обратил на него внимания, показал через плечо пальцем в сторону тринадцати рыцарей), может случиться, что кто-нибудь вернется домой на четырех ножках.

Монах по рассеянности или, оберегая достоинство сана, не соблаговолил ответить; на этом диалог прекратился. Могильщик, когда все было сделано как следует, удалился, и гроб остался посередине ризницы. Фьерамоска не догадался,— да если бы даже у него и шевельнулось какое-нибудь подозрение, то он сейчас бы прогнал его, как безумие,— для кого предназначается этот гроб; тем не менее, он не мог оторвать от него глаз в течение остальной части мессы. Мысли его естественно останавливались на том, что этот день может оказаться последним в его жизни, и он с

большим жаром молил бога о прощении своих грехов. Мысленно он пробежал все время, протекшее с тех пор, как Джиневра была взята из церкви св. Цецилии, ему казалось, что совесть мучит его только за то, что он не сказал Джиневре о существовании Грайано. В этом грехе, как и в других, он покаялся в предыдущий вечер. Он почувствовал, что успокоился и что был готов мужественно встретить смерть. Месса кончилась, и тринадцать человек вслед за Просперо Колонна вышли и направились в его дом, где сели за стол, чтобы не сражаться голодными.

Среди условий, выработанных обеими сторонами—итальянской и французской, имелось следующее: всякий вооруженный человек, взятый в плен, вместо того чтобы следовать за своим победителем, может выкупиться вместе с оружием и лошадью за сто дукатов. Каждый из итальянцев передал деньги Просперо Колонна, и тысяча триста дукатов были нагружены в мешке на одного из мулов, которые несли на поле провизию и вообще все, что могло понадобиться.

После завтрака все вместе двинулись к крепости, где в зале ждал их Гонсало; на прощание он с ясным лицом сказал им несколько слов и прибавил, что ждет их к ужину, который было приказано приготовить на двадцать шесть персон, чтобы французы на случай, если они позабудут внести деньги на выкуп, не пошли спать нагощак. Затем они сошли во двор, где шеренгой стояли лошади, удерживаемые слугами, сели в седла и по двое в ряд отправились в путь, предшествоваемые трубами и сопровождаемые многочисленными друзьями и толпой любопытных.



## ГЛАВА XIX

На одинаковом расстоянии от Барлетты и французского лагеря, где равнина, подходя к холмам, начинает подниматься между низких горок, лежит площадка размером в триста шагов, вероятно, образованная когда-то наводнением. Благодаря почве из мелкого песка и гравия, отвердевшего от времени, лишенная кустов и травы, она представляет надежную и крепкую арену для лошадиных копыт. Это место и было выбрано для сражения. С утра стараниями людей, отряженными для этой цели обеими сторонами, местность была

сглажена там, где в почве имелись какие-либо неровности; границы были обозначены бороздой и крупными камнями, расположенными кругом. В тени югромных дубов на вершине ската, господствовавшего над всем полем, были поставлены сидения для судей под навесом из белой и красной материи, притянутой к веткам деревьев. Перед этим трибуналом, на виду у всех были водружены двадцать шесть копий со щитами рыцарей обеих наций и их имена, написанные крупными буквами на плакате. Из окружающих местностей и деревень любопытство привлекло большую толпу крестьян и мелких помещиков, которые еще до восхода солнца разместились на соседних возвышенностях. Те, что поважнее, уселись со стариками и с женщинами на траве; дети, ребятишки, бедняки вскарабкались на деревья и то там, то сям высовывались из-за листьев, лицами и одеждой ярко выделяясь на фоне зелени.

Прекрасное зрелище (особенно для тех, которые, расположившись в конце поля, сидели спиной к равнине и лицом к морю) представляла эта сельская картина, оживляемая толпой, полной движения и жизни. Справа к небу поднимались грандиозные массы падубов, и с мрачной листвою их сливалась живая и веселая зелень маленьких деревьев; несколько дальше виднелся город Кварато, но разглядеть можно было только его ворота с башней, упиравшиеся в скалы; у подножия башни змеилась дорога; посредине был лагерь, а вдали берег Адриатики, город и крепость Барлетты и разноцветные очертания зданий, выделяющихся на голубом фоне моря; еще дальше мост и остров св. Урсулы, высокий гребень Гаргано и линия

горизонта; слева холмы, которые постепенно повышались; а против мест, отведенных для судей, на неровной земле, покрытой свежей травой, группа очень высоких дубов со стволами, увитыми плющом во всей силе своего пышного цветения. Из тумана, скопившегося за ночь и взорванного утренним ветерком, образовались в верхних слоях воздуха облака фантастической формы, которые, будучи пронизаны солнцем, преломляли золотые лучи. Другие полосы тумана, более густые, легли на долину, уподобляясь ложу из ослепительно белого хлопка, на котором там и сям поднимались группы высоких деревьев и цепи холмов. Диск солнца, который еще не вышел из-за моря, уже разливал по морю свой свет, оставляя пока в тени предметы на земле, освещенные лишь воздушными отблесками. Все невольно устремили свои глаза в ту точку, где должно было появиться солнце. И вот на горизонте вспыхнула наконец очень яркая искорка, которая стала расти, потом оформилась, и показалось солнце, величественное, как огненный шар, и разлило свой свет, который придавал очертания и окраску всем предметам, усиливаясь вдвое благодаря своему колеблющемуся отражению в море.

Пришедший сюда сюзаранку отряд пехоты не пускал на поле народ, который стоял группами вокруг и особенно толпился там, где продавцы съестного и вина уже протянули свои навесы и расставили скамейки и столы. Среди них был хозяин харчевни Солнца, Велено, хорошо знакомый читателю, он тоже раскинул под навесом свою походную лавчонку, к которой уже бежало много солдат, обычных ее посетителей;



две-три больших сковородки стояли тут же на переносных железных жаровнях; стол из грубых досок, прекрасно укрепленный на кольях, воткнутых в землю и служивших ножками, был заставлен корзинами с рыбой, артишоками и всевозможными овощами. Хозяин, в двух фартуках и в дырявом берете, с засученными рукавами, держа подмышкой кастрюлю с мукой, в одной руке блюдо с еще сырым жарким, а в другой маленькие щипцы для того, чтобы его переворачивать, торопился приготовить кушанье, столь любимое южными итальянцами, — в то же время он ни на минуту не переставал болтать, хохотать, задавать вопросы и отвечать всем зараз. Трескотню свою прерывал он только для того, чтобы пропеть «Прекрасную Франческину» или чтобы во все горло кричать: «Вот так анчоусы, что за анчоусы!», «Живые золотые рыбки!», «Вы либо без глаз, либо без денег!» или что-нибудь вроде этого. Голос его разносился на полверсты во все стороны.

Наконец сильный шум на верхних местах заставил взоры всех обратиться в одну сторону, и тут из уст в уста стала передаваться весть, что показался французский отряд. Через несколько минут он появился на повороте дороги, позади холмов и, двигаясь вперед, выстроился в верхней части поля, лицом к морю. Рыцари сошли с коней и оставили их слугам, а сами вместе с сотней товарищей и друзей поднялись на место, где сидели судьи, и расселись под падубами в ожидании прихода итальянцев. Облачко пыли на дороге из Барлетты, в котором можно было различить блеск оружия, говорило, что ждать придется недолго.

Толпа, перед тем рассеявшаяся, тесно окружила границы поля; каждому хотелось пробиться вперед, несмотря на то, что пехотинцы с обычной в этих случаях вежливостью, ударяя по земле, а иногда по ногам рукоятками сабель и пик, осаживали назад напивавших.

Прибыли итальянцы, выстроились лицом к противнику и, сойдя с коней, тоже поднялись на возвышение, осененное падубами.

После взаимных приветствий и учтивых слов оба распорядителя, синьор Просперо и Баяр, сошлись и решили, что прежде всего следует выбрать жребием судей.

Читатель, наверное, удивится, не найдя среди сражающихся в таком важном поединке славного Баяра и видя его в роли распорядителя; мы сами испытали не меньшее удивление и можем объяснить это единственно тем, что какая-то рана, не вполне залеченная, мешала ему выступить с оружием в руках, или лихорадка, которой он страдал в то время, слишком обессилила его. Среди бойцов его во всяком случае не было.

На записках написали несколько имен военачальников обеих армий—поровну испанцев, французов и итальянцев; записки были скатаны и положены в шлем; жребий выпал на Фабрицио Колонна, Обиньи и Диего Гарсиа де Паредес. Сев на отведенное для них место, юни открыли на столе евангелие и приняли клятву двадцати шести бойцов: те обещали не допускать в сражении обмана, подтверждали, что не имеют чар ни на теле, ни на оружии и в боевом испытании полагаются лишь на доблесть и природные силы. Снова во всеуслышание были оглашены условия,

что каждый может выкупить себя, свое оружие и лошадь за сто дукатов. Один из итальянцев, опорожнив на столе мешок с деньгами, принесенный с собой, пересчитал золото и передал его судьям. Все ожидали, что с своей стороны французы сделают то же, но видя, что из них никто не двигается с места, Просперо Колонна сказал им с большой сдержанностью:

— Синьоры, а где же ваши деньги?

Вышел вперед Ламот и сказал, улыбаясь и показывая на золото, привезенное итальянцами:

— Синьор Просперо, вы увидите, что этих будет достаточно.

Такое неуместное хвастовство привело в негодование римского барона. Но он сдержался и только сказал:

— Прежде чем продавать шкуру, надо убить медведя. Но это неважно. Хотя мы условились, что обе стороны внесут выкуп, но из-за этого мы не станем срывать сражение. Синьоры (тут он подошел к своим), вы слышали: этот рыцарь считает, что дело сделано; вам нужно доказать ему, что он ошибается.

Нужно ли говорить, как закипела от этого пренебрежительного тона кровь итальянцев. Но ни одного слова не раздалось в ответ Ламоту и Просперо. Лишь кое-кто скрипнул зубами, кое-кто бросил на врагов молниеносный взгляд.

Вслед за этим обеим сторонам судьи дали получасовую передышку, чтобы подготовиться к бою; в знак ее окончания конный трубач, стоявший в тени падубов рядом с судьями, должен был проиграть сигнал к нападению.

Бойцы вернулись к коням и сели на них; рас-

порядители расставили их шеренгой в четырех шагах друг от друга. Как Колонна, так и Баяр опять занялись осмотром трензелей, подпруг, ремней, пряжек вооружения; едва ли у кого-нибудь во всей армии были более искушенные глаза, чем у них обоих.

После осмотра, остановив лошадь на середине линии, Просперо Колонна громко произнес:

— Синьоры! не думайте, что своими словами я хочу побудить вас сражаться, как достойно таких людей, как вы. Я вижу среди вас ломбардцев, неаполитанцев, римлян, сицилийцев. Разве все вы одинаково не сыновья Италии? Разве не поровну будет поделена между вами честь победы? Разве перед вами не чужеземцы, которые называют итальянцев трусами? Одно только я вам скажу: смотрите, там преступный предатель Грайано д'Асти. Он бьется, чтобы поддержать дурную славу своих соотечественников. Вы понимаете меня! Чтобы он не вышел живым с этого поля.

Фьерамоска, который стоял рядом с Бранкалеоне, сказал ему вполголоса:

— Ах, если бы обет не связывал мне руки!

Бранкалеоне ему ответил:

— Предоставь это мне. Я обетов не давал и знаю, куда ему нанести удар!

Желание убить Грайано возникло у него с той поры, когда, узнав о несчастиях своего друга, он понял, что таким путем можно было бы устранить препятствие, вставшее между Фьерамоской и Джиневрой. Узнав потом, что он в числе французских бойцов, он понял, что у него будет для этого случай. В день турнира, если читатель помнит, он получил очень полезные для себя

сведения, в то время как рыцарь из Асти вооружался около амфитеатра. Теперь неожиданный конец Джиневры делал его намерение бесполезным; однако он не бросил его, и оно еще более укрепилось в нем после слов синьора Просперо, которому, как главе партии Колонна, он слепо повиновался во всем.

Между тем распорядители удалились на свои места: Баяр—к судьям, а Колонна—под дуб. Покрытый броней, кроме головы, на крупном вороном коне сидел Колонна, повернув к своим величавое и смелое лицо, безмолвно выжидая сигнала. Около находился его паж, красивый юноша шестнадцати лет, в синей куртке и красных штанах, а рядом в различных позах другие воины, которые, несмотря на свою неподвижность, имели вид энергичный и воинственный. По мере приближения начала боя тишина делалась все напряженнее, только слышалось иногда какое-нибудь односложное слово, шепотом произнесенное между соседями; среди этого спокойствия, которое придавало сборищу величественный и торжественный вид, время от времени раздавались топот и ржание коней; юни, соскучившись без движения и хорошо поев, не могли теперь стоять спокойно, грызли длинные позолоченные удила, покрытые пеной, выгибали шеи и хвосты и, становясь на дыбы, фыркали напряженными и кровавыми ноздрями, и казалось, что из глаз их сыплются искры.

В наши дни трудно себе представить, какой воинственный вид имел в то время боец, который был закован в железо, как и его конь. Каждый рыцарь с опущенным забралом, весь в броне, со щитом у груди и с копьем у бедра,

сидел в седле, железные луки которого поднимались спереди и сзади, как два барьера, мешавшие упасть; сидя таким образом и сжимая колени, он настолько прирастал к коню, словно то были связанные вместе две природы кентавра.

У коней перед и бок головы защищались железным забралом, в котором имелось только два отверстия для глаз; в середине на лбу выдавалось острие; шея, спина и грудь были покрыты металлическими пластинками, слабо наложенными в виде чешуи и не стеснявшими движения; такая же броня защищала круп и боковые части живота, оставляя лишь место для прищипоривания. Прекрасные формы благородных животных были изуродованы всем этим вооружением настолько, что лошади производили впечатление носорогов. Глядя, как они стояли неподвижно, трудно было поверить, что они способны двигаться и скакать; малейшее движение повода или шпор делало их такими податливыми и быстрыми, как будто на них не было никакого вооружения,—так искусно оно было прилажено.

Помимо копья, меча и кинжала, у каждого рыцаря висели у седла стальная палица и топор; итальянцы особенно славились умением владеть этим оружием. Украшения менялись в зависимости от вкуса; на верхушке шлема, вдоль султана из павлиньего хвоста развеивались разноцветные перья. Некоторые вместо перьев употребляли полосы разрезанной ткани, которые у французов звались *lambrequins*. Кто поверх панциря носил одежду, кто перевязь, а у кого было богатое и хорошо выделанное вооружение, тот оставлял его открытым, и кони имели на голове или перья

или какие-нибудь украшения; поводья были шириною в ладонь с фестонами таких цветов, которые приковывали к себе глаз; ючень часто по отделке и богатому украшению одни поводья представляли огромную ценность. На щитах, кроме раскрашенного герба, итальянцы ставили подходящие к случаю слова. У Фьерамоски можно было прочесть: «Cuid possit pateat saltem nunc Itala virtus»<sup>1</sup>.

Наконец герольд вышел на середину поля и высоким голосом провозгласил, чтобы никто не смел выражать свое сочувствие или несочувствие какой-либо из сторон действием, криками или знаками. Когда он вернулся к судьям, трубач проиграл первый сигнал, затем второй,—слышно было, как пролетит муха,—затем третий, и рыцари, внезапным движением отпустив поводья, пригнувшись к шеем коней и пришпоривая их, отчего они брали с места, устремились вперед сначала рысью, затем карьером друг на друга с криками: «Да здравствует Италия!», «Да здравствует Франция!» Эти крики слышались вплоть до моря. Нужно было проскакать около ста пятидесяти шагов до встречи. Прежде чем они встретились, поднялась пыль, которая все увеличивалась и сгущалась; она скрыла их наподобие облака. Тут кони сталкивались лбами, и рыцари ломали копыта о щиты и латы противника. Поднялся шум, какой бывает при обвале; катясь по скату, он вначале не встречает препятствий, но потом наталкивается на лес, в котором крушит, низвергает,

---

<sup>1</sup> Ныне раскроет, что может, пускай итальянская доблесть.

рвет и разбивает все, что попадаетея. Поэтому для зрителей пропал момент первой встречи; в этой смешанной и пыльной гряде людей и лошадей они едва различали блеск оружия на солнце, обрывки перьев, разрываемых бешеными ударами; обрывки эти летели, кружились в каком-то вихре и исчезали, уносимые ветром. Гром стоял кругом; Диего Гарсиа бил себя кулаком по бокам от восхищения и от сильного желанья быть там, в гуще боя; это было единственное, что отметили зрители, застывшие от изумления.

Несколько секунд группа сражающихся оставалась сбитой в кучу, но более яркий блеск, который то здесь, то там вспыхивал в пыли, показывал, что рыцари взялись уже за мечи; послышались стук железа и звон, словно на этом пространстве работало десять пар наковален. Вся эта гряда, залитая светом, и я сказал бы, извивавшаяся, походила на машину потешного огня, окутанную дымом: настолько сложно и быстро двигались, сжимались, расходились и вертелись все ее части.

Желание хоть что-нибудь увидеть и узнать, на чью долю выпал первый успех, было так велико, что вот-вот готово было прорваться в криках; уже усиливался говор. Но он был заглушен сигналами герольдов и особенно появлением коня без всадника, настолько покрытого пылью, что нельзя было разглядеть, какого цвета седло. Несясь по полю средним галопом, он волочил между ногами наполовину разорванный повод. Поднимая то одну, то другую ногу, он путался в его обрывках, которые заставляли его опустить голову.



и готовы были повалить его; из широкой раны на спине фонтаном била черная кровь, оставляя след на арене. Сделав несколько шагов, лошадь упала на колени без сил и растянулась на земле. Она оказалась французской.

Между тем рыцари, сойдясь, попарно бились на мечах, нанося и отражая могучие удары; с целью добиться перевеса они вертелись один вокруг другого и тем расширяли рамки боя сравнительно с первым столкновением; пыль, вздымаемая ветром, больше не скрывала сражавшихся. Вышибленным из седла был Мартеллен де Ламбри. Противником его на беду для французов оказался Фанфулла; с безумной яростью, в которой высокая доблесть сочеталась с большой опытностью, он ударил его копьём по забралу так, что он вылетел из седла на расстояние длины копыя и попроволал, тверда ли земля; после этого мастерского удара он возвысил голос, — его можно было слышать даже среди этого шума, — и крикнул:

— Один!

Потом, заметив невдалеке Ламота, который от удара Фьерамоски потерял стремя, продолжал:

— Денег не хватит... мало денег.

И когда в схватке стало больше простору, сказал побежденному:

— Ты мой пленник.

Но тот, поднявшись на ноги, в ответ нанес ему удар мечом, который скользнул по блестящим латам лодиджанца; не прошло секунды, как меч Фанфуллы, который он держал обеими руками, обрушился на шлем его противника; тот, не оправившись еще от первого удара, еле устоял на

ногах, а Фанфулла наносил ему удар за ударом, всякий раз приговаривая:

— Мало денег, мало... мало...

Сила удара заставляла его произносить слова с таким придыханием, какой бывает у дровосека, когда он опускает топор.

Несмотря на все усилия, тот не мог опомниться от этих молниеносных ударов; наполовину ошеломленный, он упал на землю, но не хотел и заикаться о сдаче; тогда Фанфулла, разозлившись, нанес ему последний удар, выбрав время, когда тот попробовал встать на колени, и растянул его неподвижно на земле, говоря ему:

— Ну, что, теперь ты доволен?

Баяр, видя, что он зря дает убить себя, послал герольда, который бросил жезл между обоими бойцами и громким голосом крикнул:

— Мартеллен де Ламбри сдается.

Подбежало несколько человек, они помогли ему подняться и, поддерживая его, повели к синьору Просперо.

— Господь да благословит твою руку!—крикнул он победителю.

И поручил своим слугам французского барона, который не позволил снять с себя шлем, бросился к дубам и лег под ними, молча и не двигаясь.

Фанфулла повернул лошадь и легким галопом опять помчался в бой, всматриваясь, где может понадобиться его помощь; он игралочки проделывал в воздухе молниеносные круги мечом—искусство, в котором не имел равного во всей войске. Окинув взором схватку, он увидел, что фортуна не улыбалась врагам и что итальянцы выполняли свой долг хорошо; тогда он стал из-

давать громкие возгласы, называя имя Ламота и снова приговаривая: «Мало денег»; эти два слова он произносил напраспев, как песню, которую поют на улице слепцы. Его небрежный и странный галоп, удивительные круги мечом, проделываемые с такой легкостью, звук голоса—все это придавало его фигуре вид настолько забавный, что даже на серьезном лице синьора Проспера промелькнула улыбка.

За то время, какое потребовалось на эту первую победу, Этторе Фьерамоска копьём своим заставил Ламота потерять стремя, но не сумел вышибить его из седла. У того была иная сила и иная доблесть, нежели у пленника Фанфуллы. Стремясь добиться той же чести, которая выпала на долю последнему, Фьерамоска так начал работать мечом, что хулитель итальянцев при всей своей храбрости едва мог держаться против него. Фьерамоске вспомнились его оскорбительные слова в вечер ужина, когда Ламот сказал, что французский воин не захотел бы взять итальянца даже в конюхи; учащая удары мечом, он ломал и разбивал панцырь своего врага и время от времени сопровождал свои удары насмешкой:

— По крайней мере со скребницей мы умеем обращаться? Что же так плохо? Старайся! Теперь ведь нужны не слова, а дела.

Ламот не мог снести насмешек и ударил Фьерамоску по голове с такой яростью, что Этторе, не успев прикрыться щитом, тщетно пытался отбить удар мечом; но его меч разлетелся в куски, а меч француза, упав на латный ошейник, перерубил его начисто и ранил ему плечо немного выше ключицы. Фьерамоска не ждал второго

удара; он обхватил его, пытаясь сбросить его на землю, а тот, оставив меч висеть на цепочке, стал вырываться. Это-то и нужно было Фьерамоске: освободившись от противника раньше, чем тот мог взяться за меч, он пришпорил коня, заставил его отскочить в сторону и быстро схватив топор, висевший у седла, снова устремился на врага.

Добрый конь Фьерамоски, обученный всем тонкостям боя, почувствовал легкую игру поводьев и шпор, начал становиться на дыбы, словно баран, который собирается бодать; он прыгал и кружился около противника. Видя, что лошадь ведет себя так разумно, Фьерамоска подумал: «Хорошо, что я взял тебя с собой!» Он так искусно зареботал топором, что быстро восстановил утраченное преимущество над французом.

Схватка этих противников, лучших в обеих группах, решала если не исход поединка, то вопрос чести. Для Ламота было вдвойне позорно быть побежденным после подчеркнутого презрения к врагам, а для Фьерамоски было вдвойне почетно выиграть победу. Товарищи его, уверенные, что он справится с врагом, не вмешивались в бой; юстерегались и французы помочь своему рыцарю, чтобы не говорили, что после таких хвастливых заявлений он не сумел один бороться с противником. Поэтому, словно по уговору, все на несколько минут прекратили бой, прикованные взорами к обоим бойцам. А у них те же мысли рождали невероятное стремление к победе, и они боролись ожесточенно и внимательно, стараясь не делать ошибок и не пропустить благоприятного момента. Про их бой

можно было сказать, что он был образцом рыцарского искусства.

Дон Гарсиа де Паредес, прошедший всю жизнь в сражениях, был совершенно потрясен зрелищем такой искусной схватки и, не утерпев, встал на ноги; потом, подойдя к краю скаты, возвышавшегося над полем, жадно пожирал глазами бойцов. Заметный издали благодаря своему исполинскому туловищу на геркулесовых ногах, с руками, которые непринужденно висели, он казался неподвижным, как статуя. Но вблизи напряженные мускулы под тесно облегавшей замшевой курткой, надетой на нем, сжатые кулаки и особенно искры в глазах говорили, как сильно было его внутреннее возбуждение и как ему было досадно, что приходилось оставаться только зрителем.

Соображения, которые мешали другим нарушить бой между Этторе и Ламотом, либо не приходили в голову Фанфулле, либо он не придавал им значения. Когда он, оставив синьора Просперо, устремился в поле, он пришорил лошадь и с поднятым мечом понесся на Ламота. Но Этторе, заметив это, крикнул ему: «Назад!» И не удовлетворившись этим, пустил коня наперерез лошади лодиджанца и рукояткою топора ударил его наотмашь в грудь, довольно сурово заставив его натянуть поводья.

— Для этого хватит меня одного и с избытком, — сказал он сердито.

Акт вежливости по отношению к Ламоту вызвал похвалы у всех, за исключением Фанфуллы. У того вырвалось одно из тех итальянских восклицаний, которых бумага не выдерживает, и он, полусмеясь, полусердясь, сказал:

— У тебя язык в руках!

Он повернул коня и очутился среди врагов. Как безумный, начал он крушить их, не нападая ни на кого в частности. Так окончился момент бездействия, и схватка возобновилась с большим жаром, нежели прежде.

С самого начала Бранкалеоне всецело был поглощен своим замыслом. С копьём в руках он столкнулся с Грайано д'Асти, но никто из них не получил перевеса над другим. И когда они перешли на мечи, они долго бились без результата. Бранкалеоне превосходил своего противника силой и ловкостью, зато пьемонтец умел хорошо использовать время, а кто знаком с искусством фехтования, тот знает, как бывает полезно это качество.

Другие пары бились с переменным успехом, и хотя сражение продолжалось полтора часа, оно было такое упорное и жаркое, что люди и лошади нуждались в передышке. Она и была предоставлена им с общего согласия судей. Трубач дал сигнал, и герольды, войдя в середину сражающихся, развели их в разные стороны.

Тот говор, который, как мы знаем, вдруг поднимается в наших театрах, когда опускается занавес после представления, захватившего зрителей, возник и тут среди толпы, окружавшей поле. Рыцари, возвратившись к месту своего первоначального строя, слезли с коней; кто снимал шлем, чтобы дать отдохнуть лбу, и вытереть пот, кто, найдя неисправность в панцире или на сбруе коня, спешил приладить, что нужно. Лошади, трясая головами и поводя челюстями, пытались облегчить боль, причиненную уздой. Не чувствуя больше на себе человека, они стояли, понури-

голову, немного раскачиваясь, отчего броня на них издавала звон. Окрестные продавцы с отдохнувшими легкими громче расхваливали свои товары. Оба распорядителя, сев на коней, подъехали к своим рыцарям.

Сдача в плен одного из французов, усталость и раны почти всех других заставляли каждого делать вывод, что перевес на стороне итальянцев; из державших пари те, кто ставил за французов, начинали хмуриться и волноваться. Баяр был достаточно опытным в подобных делах, чтобы не уловить, что обстоятельства складываются неблагоприятно для его соотечественников. Но он старался не показывать вида и ободрял своих, водворяя среди них порядок, и учил каждого правилам боя, ударам и способам самозащиты.

Просперо Колонна, полагая, что его рыцари меньше нуждаются в отдыхе, как менее пострадавшие от противников, через полчаса предложил возобновить сражение, и судьи подали знак. Лошади, у которых бока еще вздымались от частого дыхания, побуждаемые шпорами, подняли головы и снова понеслись одна на другую. Теперь победа должна была решиться с минуты на минуту. Росли молчание и неподвижность зрителей, росли ожесточение и ярость сражающихся. пышные одежды и перья рвались в куски, летели в разные стороны или валялись в пыли и в крови. У Фьерамоски сбоку висела разрубленная мечом голубая перевязь, шлем его остался без украшений и выглядел приплюснутым, но сам он, слегка раненный в шею, чувствовал себя свежим и теснил Ламота, с которым снова завязал бой. Фанфулла бился с Жаком де Гинь. Бранкалеоне продолжал

борьбу с Грайано, думая о том, как бы ударить его по шлему, а другие их товарищи вертелись там и сям по полю в схватке с французами и дрались большей частью алебардой с явным перевесом над противниками.

Вдруг по рядам зрителей пронесся крик. Все, даже бойцы повернулись узнать о причине: оказалось, что бой между Бранкалеоне и Грайано кончился. Грайано пригнулся к шее лошади, голова его и шлем были рассечены вкось. Он терял кровь, которая сбегала по забралу на панцырь и лилась на ноги лошади; от копыт ее оставались кровавые следы. Потом он свалился на землю, и раздался звук, словно падал мешок с железными обрезами. Бранкалеоне поднял окровавленный топор и потрясал им над головой, крича мужественным и страшным голосом:

— Да здравствует Италия! Да погибнут изменники и ренегаты!

И гордый победой, схватив топор обеими руками, он ударил на врагов, которые еще продолжали защищаться. Но недолго тянулся бой. Гибель Грайано, видимо, пошатнула равновесие. Фьерамоска, ожесточенный долгой и упорной защитой Ламота, удвоил силу ударов с такой быстротой, что привел его в замешательство и ошеломил его. Он уже потерял щит, в руке у него была половина меча, вооружение разбито. Этторе ударил его топором в шею с такой силой, что Ламот был оглушен и свет померк у него в глазах.

Прежде чем он пришел в себя, Фьерамоска, находившийся по правую сторону от него, отбросив щит за спину, ухватил его левой рукой за ремни, которые на спине поддерживали грудь



панцыря, и сжав коня коленями, дал ему шпоры. Лошадь рванулась вперед, французский рыцарь был вырван из седла. Когда он распростерся на земле, Фьерамоска, улучив момент, соскочил на землю, нагнувшись над ним, приставил обнаженный кинжал к его забралу, так что он слегка касался его лба, и крикнул:

— Сдавайся—иначе смерть!

Барон, еще не пришедший в себя, не отвечал; это молчание могло стоить ему жизни. Ее спас ему Баяр, объявив его пленником.

Когда слуги Фьерамоски сдали Ламота синьору Просперо, Этторе хотел сесть на коня, но коня не оказалось. Он обвел глазами поле сражения и увидел, что Жиро де Форс, потерявший свою лошадь, забрал его коня и находился среди своих, защищаясь от противников. Этторе знал, что одному ему и притом пешему не добыть обратно коня. Лошадь была выкормлена и выхожена им и привыкла к его голосу; поэтому он не смутился: подойдя поближе к ней, он начал ее звать, топая ногой, как это всегда делал, когда задавал ей корм. Лошадь пошла на этот зов; рыцарь хотел было удержать ее, но она начала становиться на дыбы, делать прыжки, и так как он не смог ни остановить ее, ни справиться с ней, она прямо принесла его к итальянцам; последние, окружив коня, взяли всадника без единого удара меча. Сойдя с коня, на которого вскочил Фьерамоска, он проклинал свою судьбу, а тот, возвращая ему взятый у него меч, сказал:

— Бог с тобой, дружище, бери свой меч и иди к своим. Мы берем пленников оружием, а не пшгучками.

Француз, ожидавший совсем другого, был страшно удивлен. Немного подумав, он ответил: — Если я не сдался вашему оружию, то сдаюсь вашему великодушию.

Взяв свой меч за клинок, он пошел и положил его на землю перед синьором Просперо. Все, приветствовавшие этот великодушный поступок Фьерамоски, заявили, что и француз поступил и сказал мудро. Поэтому он один был отпущен на свободу без выкупа.

Французская сторона лишилась четырех лучших своих людей, тогда как итальянская насчитывала еще тринадцать человек на конях, и не трудно было угадать, чем кончится дело. Однако французы лишены лошадей, — их было пятеро, — тесно сомкнулись; по сторонам (двое на каждом конце) расположились четверо бойцов на лошадях. В таком порядке они намеревались снова сопротивляться итальянцам, которые, в третий раз сомкнув свои ряды, обрушились на противника.

Никому и в голову не приходило, что они могли устоять, но наряду с изумлением перед стойкостью и ловкостью храбрых людей у зрителей росли нетерпение и жажда узнать исход последней стычки; почти все были в тревоге, что эти люди должны подвергаться величайшему риску при столь неравных условиях. Но французов это не страшило; избитые, раненые, в пыли и крови, они представляли гордое и достойное зрелище, смело ожидая лавины такого количества коней, которая, казалось, сотрет их в прах. Наконец двинулись итальянцы, но не с прежней стремительностью; их лошади устали, и у многих от усиленной работы поводьями на губах выступила

кровавая пена. Всадники громко крикнули: «Да здравствует Италия!» Но, несмотря на прищипывание, они столкнулись с врагами в тяжелом и звонком галопе. Однако, не взирая на запрещение, оглашенное в начале, нетерпение зрителей настолько выросло, что круг, образованный ими около ристалища, все более и более сжимался. Лица, на обязанности которых лежало поддержание порядка, больше других сгорали от любопытства и сами вовлекались в это движение. То же бывает во время боя быков: вначале каждый смиренно стоит на своем месте, но когда собака начинает кусать животное за ухо и затем нападает другая и когда враг почти уже остановлен, никто не в силах устоять на месте, крики и шум растут, порядок нарушается, и каждый проталкивается вперед, чтобы получше видеть.

В центре шеренги итальянцев находился Фьерамоска, у которого была лучшая лошадь; по бокам от него стали те, кто имел менее усталую и более способную к бегу лошадь; так что во время скачки на врагов центр выдвинулся вперед, и получился клин, вершину которого занимал Этторе. Это построение поддерживалось так хорошо, что линия французов была прорвана сразу же и неотразимо. Тут загорелась новая схватка, еще более тесная, еще более ужасная; численности, мужеству, опытности итальянцев враг противопоставил сверхчеловеческие силы: отчаяние, ярость перед лицом грозного и неотвратимого позора. Храбрые и несчастные французы, в клубах пыли, окровавленные, падали под копытами лошадей, поднимались, цепляясь за стремяна и за поводья победителей, и снова падали, пораженные ударами,

измученные, растоптанные, катаясь по земле, наполовину безоружные, с разбитыми бронями, они все-таки пытались собраться с силами, хватали с земли обломки мечей, копий и даже камни, чтобы задержать миг поражения.

Этторе первый закричал, чтобы они прекратили сопротивление и сдавались в плен; но его крик едва можно было расслышать среди такого грохота; если его и слышали, то его предложение отклоняли, безмолвно снося ужасные удары, и пьяные от азарта, продолжали свою удивительную защиту. Из четырех рыцарей, которые в начале последней схватки были еще в седле, один свалился и защищался пеший; у двух были убиты лошади; четвертый, окруженный, был захвачен в плен. Невозможно было бы описать многочисленные замечательные эпизоды, удары, жесты отчаяния в эти последние моменты, все чудеса и ужасы, которые на много лет остались в памяти зрителей.

Вот один из многих примеров: де Лэ обеими руками схватил удила лошади римлянина Капоччо, чтобы разорвать, если можно, или взять повод; лошадь ударами копыт подмяла его под себя, но не могла от него отделаться; она протащила его по полю, и он в таком виде был доставлен синьору Просперо; нужна была серьезная помощь и много рук, так как он был вне себя, чтобы заставить его разжать руки и сдаться в плен. В конце концов самим итальянцам показалось жестоким продолжать подобное сражение; крик Фьерамоски был подхвачен другими, и все сообщая, приостановив удары, повторяли немногим оставшимся:

— Плен... Плен...

В толпе поднялся возрастающий говор, и несмотря на противодействие герольдов, послышались голоса, шум и громкие крики о том, что надо кончать сражение и сохранить жизнь французам. Строй оказался прорванным, толпа сгрудилась вокруг сражающихся, которые очутились в кольце диаметром в тридцать-сорок шагов; кто кричал, кто махал платком или шалкой, надеясь таким образом кончить сражение; кто взывал к судьям и распорядителям. Синьор Просперо подошел поближе, возвысил голос и поднял жезл, убеждая французоз сдатьса. В свою очередь Баяр, горюя о неудаче своих, понял бесполезность дальнейшего сопротивления. Полагая, что уже довольно играли кровью и жизнью храбрецов, он протискался вперед и крикнул своим, чтобы кончили бой и сдавались в плен. Но ни его голос, ни голоса других не были услышаны побежденными, которые едва сохраняли еще человеческий облик, а скорее походили на демонов, или неистовых фурий. Наконец судьи спустились с трибуны, вошли в середину круга, заставили трубить в трубы и громкими голосами провозгласили победителями итальянцев. Те хотели было удалиться, но не тут-то было: враги, которых ярость, скорбь, раны омпьяняли до потери сознания, продолжали бросаться на противников, как тигры, сжатые в кольцах змей.

Тогда вмешался Диего Гарсиа, видя, что другого выхода нет; он схватил сзади Сасэ де Жасэ. Тот в стычке с Бранкалеоне хотел вырвать у него из рук топор, между тем как его противник был в сомнении, наносить или нет ему удар

по голове, который навёрное убил бы его на- смерть. Диего, обхватив его, пользуясь своей уди- вительной силой и невзирая ни на что, потащил его с поля. Этот пример вызвал подражание со стороны многих, и в юдну минуту все протеснились к сражающимся. Хотя кое-кому досталось от толч- ков и некоторые порвали одежду, все же уси- лия и старания увенчались тем, что в конце кон- цов с поля вынесли этих пять-шесть полуиска- ленных человек; правда, они барахтались и в бешенстве исходили пеной, но их оттащили под дубы вместе с другими пленными.

Едва сражение окончилось, как первой заботой Фьерамоски было соскочить с коня и поспешить к Грайано д'Асти, который неподвижно лежал на том месте, где упал.

Когда Бранкалеоне нанес свой славный удар, великодушное сердце Этторе не могло подавить первого порыва радости. Но его сейчас же вы- теснила возвышенная и добродетельная мысль. Теперь он подошел к Грайано, раздвинув стол- пившихся вокруг, и склонился около него. Кровь еще струилась из широкой раны, но медленными сгустками; он приподнял его голову, тихо, с та- кой заботливостью, что можно было подумать, что он ухаживает за самым близким другом. И снял с него шлем.

Топор, рассекший череп, вошел в мозг на три пальца; рыцарь был мертв. Этторе со вздохом, выходящим из глубины души, снова положил на землю голову убитого и, поднявшись, ска- зал своим товарищам, которые собрались посмо- треть, особенно Бранкалеоне:

— Это твое оружие, — он показал на топор,

который тот держал в руках, весь обрызганный кровью, — свершило акт величайшей справедливости. Но как нам радоваться такой победе? Кровь, пропитывающая эту землю, разве это не итальянская кровь? И он, сильный и храбрый в бою, разве не смог выступить на славу себе и нам против общих врагов? Тогда могила Грайано была бы окружена уважением и славой; память о нем чтится бы всеми. Вместо этого он лежит бесславно, и на его прах обрушатся проклятия — удел предателей родины.

После этих слов все молча и в задумчивости вернулись к своим лошадям. Вечером труп был перенесен в Барлетту, но когда выразили желание похоронить его на палерти, народ поднял шум и не позволил. Могильщики отнесли его к ложу одного потока, в двух милях от города, выкопали там могилу и зарыли его. С тех пор это место получило название «Прохода предателя».

Синьор Просперо до ухода с поля обратился к Баяру и спросил его, хочет ли он внести выкуп за своих. Так за хвастовство Ламота пришлось расплачиваться Баяру, который ничего не отвечал; судьи постановили, что пленники последуют за своими победителями в Барлетту. Они пошли пешком, молча, ошеломленные, окруженные бесконечной вереницей людей. Итальянцы ехали следом на лошадях под звуки музыки и под крики: «Да здравствует Италия! Да здравствует Колонна!»

Когда достигли крепости и вошли в залу, тринадцать рыцарей представили двенадцать пленных Гонсало, ожидавшему их в кругу баронов. Пол-

ководец, похвалив победителей, обратился к французам и сказал им:

— Я не скорблю о плачевной доле доблестных людей: успехи оружия—дело минуты. Победенный сегодня может оказаться победителем завтра. Не стану я говорить вам, что отныне вы должны уважать доблесть итальянцев. После всего того, что произошло, мои слова были бы излишни. Скажу вам, что вам нужно научиться теперь ценить доблесть и смелость, где бы они ни проявлялись; помните, что бог распределил ее среди всех людей, а не дал, как привилегию, одной вашей нации и что истинная храбрость бывает украшена скромностью и опорочена хвастовством.

С этими словами он отпустил их, и они все вместе вышли из залы. Таков был конец этого славного дня.





### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все, кто рассказывает или пишет историю (будем искренни), питают надежду, что она сумеет развлечь и что найдется некто, кто от начала до конца выслушает или прочтает ее; в уголке сердца и мы ласкали себя этой надеждой, которая, подобно пламени свечи, поставленной на ветру, иной раз увеличивалась (пусть смеется читатель, он будет прав), а другой раз уменьшалась и готова была погаснуть; но самолюбие сумело так хорошо направить ее, что она до сих пор не потухла.

Если не тщетна эта иллюзия, если на самом деле нашелся читатель, достаточно терпеливый, чтобы следовать за нами до этих пор, мы могли бы льстить себя надеждой, что ему будет приятно узнать что-нибудь о Фьерамоске, и мы охотно сообщим ему, что нам удалось узнать.

Когда Гонсало отпустил побежденных и пленников, последние были собраны и тепло приняты в доме Колонна, где провели ночь. Наутро с французского поля были доставлены деньги на выкуп, пленные были объявлены свободными, и их проводили до стен города, выказывая заслуженное уважение к их доблестной защите.

Но Фьерамоска, едва вышел Гонсало, как позабыл о них. Наконец-то он мог подумать о себе и о Джиневре; поэтому он тихо оставил своих товарищей, которые шли в толпе друзей и в опьянении победой только и думали о своем триумфе. Он увидел в глубине одной из террас крепостного двора Витторию Колонна, которая после приема Гонсало тринадцати рыцарей возвращалась в свою комнату и уже собиралась войти в нее; он поспешил к ней и назвал ее по имени. Виттория обернулась и остановилась. До нее дошли слухи о судьбе Фьерамоски, и она догадалась, о чем он хочет спросить ее.

«О боже! что сказать ему?»—подумала она про себя. Но не успела сообразить, как Этторе стоял уже рядом. Вооружение его было в пыли и носило следы ударов; одно перо на шляпе было сломано, от других висели одни остатки; поднятое забрало позволяло видеть его прекрасное лицо, похудевшее от усталости и в каплях пота, но вместе с тем полное радости от сознания до-

бытой славы и беспокойства о судьбе той, которую он хотел отыскать и которую после смерти Грайано он наконец мог назвать своей.

Так как в зависимости от обстоятельств человеческое сердце склонно или к надежде или к страху, то уныние, я сказал бы, отчаяние, испытанное Фьерамоской в ночь и утром перед поединком при мысли о случае с Джиневрой, теперь, после физического и морального потрясения от долгого боя и невыразимой радости победы, сменилось доверчивой надеждой, что он найдет ее здоровой и невредимой.

— Мадонна!—сказал он, дыша часто от сердцебиения.—Бог да вознаградит вас и да благословит вас; я знаю, что вы приютили ее, что вы сделали столько добра ей... бедной... ведь она так нуждалась в нем! Проведите меня к ней, идёте ради бога.

Эти слова юноши были ударом в самое сердце Виттории, у нее нехватило духу сообщить печальную новость; она сделала усилие улыбнуться и сказала ему:

— Джиневра опять в монастыре святой Урсулы (на самом деле было так, потому что за час до возвращения итальянцев она в сопровождении фра Мариано была перенесена в монастырь, где ночью ее должны были похоронить).

— В монастыре святой Урсулы? Как? Так скоро? Значит, ей не плохо? Значит, она чувствует себя хорошо?

— Да, хорошо.

Фьерамоска развел руками от радости, словно хотел обнять Витторию, но вместо этого стал на одно колено, взял ее руку и в знак благо-

дарности покрывл ее поцелуями, говорившими больше слов.

Потом встал, как бы вне себя, и вышел, ничего не говоря о том, что направляется в монастырь св. Урсулы, но на мгновение остановился, взглянул на свою грудь и вернулся обратно.

— Посмотрите, синьора,—сказал он, смеясь и дрожа,—посмотрите на эту голубую перевязь, ее дала мне она... теперь удар меча, который пришелся по панцирю, который она покрывала, разрубил ее на две части.

Говоря это, он развязал узел, которым были стянуты два конца, чтобы лента не упала.

— Я очень смел. Я это знаю, но, пожалуйста, почините мне ее, чтобы Джиневра не заметила, что она разрублена... Она, бедная, приняла бы это за плохой знак... и сказала бы: «Почему, ты не прикрыл ее щитом?»

Виттория охотно прошла в свою комнату взять то, что было ей нужно, довольная, что на время могла освободиться от юности и скрыть свое волнение. Она вернулась более бодрой и, наклонив лицо, занялась починкой перевязи; Фьерамоска не заметил ничего.

— Едва ли,—заговорил он с улыбкой, когда Виттория погрузилась в работу,—едва ли теперь можно узнать, какого она была цвета. Я испытал превратности судьбы, она сопутствовала мне в моих бедствиях, сейчас она—мой спутник в день торжества. Знаете, сколько лет я не расставался с ней! Я спасал ее в стольких сражениях... А теперь! Когда все мои огорчения превращаются в радость... мне ее порвали. Если бы кто верил в предсказания, что бы это обозначало?

Виттория продолжала шить, не проронив ни единого звука. Борясь между мыслью, что нужно открыть истину, и неодолимым страхом опорочить его, она решила, как только Этторе уйдет, отыскать Бранкалеоне и предупредить его, чтобы он помог своему другу в его тяжелом испытании.

— Тысячу раз благодарю вас,—произнес Этторе, когда работа была кончена; в один миг он был на лестнице и затем очутился на дворе. Там оставался только его слуга Мазуччо, который держал за повод лошадь, покрытую пеной; бедное животное опустило голову и стояло с потускневшими глазами; тяжелое дыхание заставляло вздрагивать ее бока.

— В конюшню, в конюшню!—крикнул Этторе слуге, проходя мимо.—Кто это учил тебя? Потная лошадь на холодном воздухе!

И вышел со двора, направляясь к монастырю святой Урсулы; переезд по морю был кратчайшим путем.

Дойдя до места обычной стоянки лодок, он не нашел ни одной. Корабли, доставившие из Испании солдат, бросили якорь в гавани, и по приказанию Гонсало, желавшего, чтобы войско сошло на землю до вечера, все лодки были взяты для перевозки.

От нетерпения Этторе топал ногами, потом сказал:

— Поеду верхом. Это будет дальше, но что же делать!

Он пошел в конюшню, там Мазуччо снимал повод с Айроне.

— Оставь повод,—сказал Фьерамоска. Он взял повод из его рук, одним прыжком очутился на

седле и через несколько минут был за городом по дороге к монастырю.

— Бедняжка Айроне!—говорил он, ударяя рукой по шее лошади и торопя каблуками доброго коня, которому отказал в стойле после такой усталости.—Ты прав, но имей терпение, я вознагражу тебя за все.

Приближалась ночь; солнце уже зашло с полчаса тому назад. Фьерамоска, державший путь на восток, имел позади себя чистое и прозрачное небо, а перед собой длинные черные облака, которые оканчивались линией, параллельной горизонту. Вдали было видно, как отвесно к морю падал сильный дождь; верхушки облаков, поднимавшихся до половины неба, прорезываемого еще светом сумерек, окрашивались в белый цвет. В этих потемках непрерывно вспыхивал дрожащий блеск молнии и слышались отдаленные раскаты грома. Море вспухло и стало грозным; оно раздулось и в середине почти почернело; на гребне волн мелькали белые мелкие барашки; у берега прибой, постепенно подымаясь, оканчивался зеленой и прозрачной волною, очень тонкой, которая двигалась вперед вроде стеклянной стены до тех пор, пока самый край, перевернувшись, с шумом обрушивался, покрывая пеной сухой прибрежный гравий.

Меланхолический вид природы в этот момент не мог омрачить счастливого настроения юного итальянца. Он нетерпеливо пожирал глазами полосу дороги, отделявшей его от монастыря святой Урсулы, и так как берег был голый и открытый он мог видеть все. Он предвкушал радость первого появления Джиневры, как она встретит его

чистым взглядом своих глаз, своими мягкими движениями и всей своей грацией. Он надеялся первым сообщить ей новость о победе и подыскивал способ, как бы получше дать ей понять, что она может располагать своей рукою.

На расстоянии двух ружейных выстрелов от монастыря восточный ветер, который вдруг подул ему в лицо, предвещал начало бури. Крупные капли падали вкось и, ударяясь о панцирь, отлетали в брызгах; они делались все чаще, постепенно становясь плотными и мелкими. Раздался удар грома, и ему казалось, что на небе разверзся водопад. Начался проливной дождь, вымочивший Фьерамоску с головы до ног, хотя он застиг его в нескольких шагах от башни. Ворота были еще открыты, он быстро проехал через них и уже был на острове у гостиницы. Привязав лошадь к карнизу, он в четыре прыжка очутился в комнате Джиневры.

Нужно ли говорить о том, что он нашел ее пустой. Он опять спустился вниз и сейчас же решил искать ее в церкви. Он знал, что она часто ходила туда молиться на маленьких хорах наверху; едва он вошел, как сразу же заметил, что хоры были пусты, церковь тоже и почти совсем погружена во мрак; он уловил отдаленное пение псалмов, доносившееся как будто из-под земли. Пошел дальше и увидел, что из отверстия перед большим алтарем, находившимся над подземной часовней, пробивался луч света, который образовал светлый круг на своде; подойдя ближе, он услышал, что под землею читали молитвы. Он обошел кругом алтаря и спустился вниз. Звон его оружия, его шпор, острия меча, волочившегося

по ступенькам, заставил обернуться тех, кто наполнял часовню, образуя круг; они дали ему дорогу; у его ног стоял гроб, который он видел утром в ризнице Сан-Доменико; прямо перед ним у алтаря стоял фра Мариано в стихаре для заупокойной службы и в поднятой руке держал кропило; в середине крипты—открытая могила; по сю сторону от нее двое держали плиту; по ту сторону—Зораида, склонившись над телом Джиневры и рыдая, поправляла покров на ее лице и венок из белых роз у нее на лбу.

Этторе сошел вниз и застыл, не издавая ни звука, не двигаясь, не моргая ни одним глазом; лицо его постепенно осунулось и стало смертельно бледным, губы судорожно подергивались и капли холодного пота бежали со лба.

Рыдание Зораиды усилилось, и фра Мариано слабым голосом, показывавшим, насколько его сердце разрывалось при виде несчастного юноши, мог только произнести:

— Вчера она переселилась на небо; теперь господь сделает ее более счастливой, нежели когда она была среди нас...

Но даже он, добрый монах, почувствовав, что слезы душат его, умолк.

Камень, укрепленный на могиле при помощи рычага, нашел себе направление и упал в положенное ему место.

Этторе не двигался; фра Мариано подошел к нему, взял за руку, и Этторе повиновался. Они поднялись по ступенькам и выпли на воздух; попрежнему сверкала молния, гремел гром и дождь лил потоками. Когда они приблизились к гостинице, Фьерамоска вырвался из рук монаха и, не



успел тот раскрыть рот, как он уже был в седле, пригнулся к своей лошади, вонзая в брюхо ее шпоры, и галопом промчался под воротами башни.

С той поры ни друзья Фьерамоски, ни кто-либо другой не видели его больше ни живым, ни мертвым. Строились разные предположения относительно его конца, но все они были выдуманы и неверны. Только одно представляет известную вероятность; вот оно.

Несколько бедных горцев на Гаргано, добывавших уголь, рассказывали другим поселянам (рассказ их, переходя из уст в уста, спустя некоторое время достиг Барлетты, уже когда испанцы ушли оттуда), что им в одну бурную ночь явилось странное видение: вооруженный рыцарь на коне на вершине недоступной скалы над обрывом, отвесно падавшей к морю; сперва об этом заговорили немногие, потом заговорили все, утверждая, что то был архангел Михаил.

Когда об этом стало известно фра Мариано, он сопоставил сообщение с временем тех событий и решил, что это мог быть Этторе, который не помнил себя, загнал лошадь в непроходимые места, а под конец упал в какую-нибудь неведомую пропасть или, возможно, даже в море.

В 1616 году, когда обнажилась полоса подводных камней у подножья Гаргано, один из рыбаков нашел среди двух крупных камней кучу железа, изъеденного морской солью и ржавчиной, и среди них наткнулся на скелет человека и лошади. Тут читатель пусть думает, что хочет: наш рассказ пришел к концу.

Думать, что рассказ будет встречен хорошо и по достоинству, было бы напрасной и смешной

затеей, но мы льстим себя надеждой, что итальянцы снисходительно отнесутся к доброму намерению того, кто напоминает им о событии, которое приносит им такую честь. Чтобы больше подчеркнуть доблесть победителей, мы не решились вводить обстоятельств, тяжелых для побежденных, потому что истории Джовио, Гвиччардини и других авторов, писавших об этих событиях, обнаружили ложь всяких легенд. В нашу задачу не входило быть несправедливыми к доблести французов, и мы первые готовы признать ее и удивляться ей; нашей целью была отметить то, что доказали итальянцы; нам не нужно было изменять историю, от которой веет полной правдой.

Но что сказать нам о нечестивой и безрассудной вражде, которая столь долго тянулась и столь часто возрождалась среди различных партий одной и той же нации? Увы, Италия не может отрицать периода ошибок и падения, как, с другой стороны, никто не отымет у нее прошлого, исполненного чести и славы. Хотя вражда всегда была оплакиваема и проклинаема, долго еще ждать, когда осуждение будет соразмерено с преступлениями. Поэтому, думается, следует отметить некоторые из печальных фактов, которыми богата наша история,—правда, это не совсем благородная миссия, но не бесполезная. Думается еще, что порицание должно прозвучать более искренно и оказаться более действительным тогда, когда оно приурочено к определенной части Италии, где происходило действие—иначе покажется пристрастным и не свободным от местных перебранок. Поэтому мы верим, что уроженца Пьемонта наш рассказ больше, чем кого-либо другого,

заставит сделать упрек памяти Грайяно д'Асти, упрек, который он заслужил своими деяниями.

Еще знаменитый граф Напионе выразил мнение пьемонтцев на его счет в следующих словах: «...этот уроженец Асти, который в памятной битве у Квартато выступил против итальянцев в рядах французов и не только разделил с ними позор поражения, но остался мертвым на поле сражения; каждый признает заслуженным, что он понес наказание за свое безумие, за то, что он среди чужеземцев сражался против чести своей родины».

К этому позволим себе добавить, что теперь, несмотря на все поиски, не нашлось бы человека, который захотел бы пойти по стопам этого несчастного.

## **ПРИМЕЧАНИЯ**



65<sup>1</sup>. «*Этторе Фьерамоска*»—первый роман, с которым выступил Массимо д'Адзелио, перейдя в конце 20-х годов XIX века от живописи к литературе. Сначала он написал историческую картину на тему «Disfida (giostra) di Barletta» («Вызов на турнир в Барлетте»), потом воплотил ее в исторический роман. Мысль о картине выросла в сознании д'Адзелио еще в последнее время пребывания его в Риме, но написана она была уже в Турине до 1830 г.; там же были набросаны и первые главы романа. Однако закончен был роман уже в миланский период, когда д'Адзелио находился под влиянием Манцони и его романтического кружка.

Д'Адзелио разделял концепцию школы Манцони об общественном назначении литературы и стремился воплотить ее в своем творчестве. Его занимала отвлеченная идея народа единого, независимого и благоденствующего; он страдал за итальянский народ, видя его разъединенным и поработанным деспотическими правителями и чужеземным игом. Теми же чувствами были полны и ближайшие литературные предшественники д'Адзелио. Но у них эти чувства выражались

---

<sup>1</sup> Цифры в начале примечаний обозначают соответствующие страницы книги.

в плаче о бедствиях Италии, в покорности судьбе и в призывах к личному самосовершенствованию. У д'Адзелио же звучат другие ноты: вместо плача и покорности—негодование и призыв к борьбе. Весь тон д'Адзелио скорее боевой, чем лирически-сентиментальный. Форма романа привлекала его потому, что давала возможность свободно развешивать широкие картины, выводить большое количество действующих лиц и ставить их в разнообразные положения. Романтики вообще любили этот литературный жанр,—в особенности роман исторический, так как искали в старине то, чего не видели в настоящем. Исторический роман приобрел большую популярность; образцы его, данные Вальтером Скоттом, вызывали подражание. При том положении, в каком находилась в то время итальянская литература, исторический роман был удобен тем, что давал защиту от преследований цензуры, прикрывая историческим намеком то, чего трудно было коснуться в романе из современной жизни, не говоря уже о статье или ораторском выступлении.

В итальянской литературе 20-х и 30-х годов выдвигается идея личности, видящей в самосовершенствовании способ подготовки грядущего освобождения народа. Д'Адзелио тоже разделял взгляд, что именно личность делает историю; но ему казалось невозможным ждать, пока народная масса превратится в совокупность сознательных личностей: он призывал героических личностей становиться вождями народов. Такова «мораль» его исторических романов, которые были вместе с тем романами патриотическими. Понимания коллективных сил истории, классов, борющихся за свои интересы, у него не было<sup>1</sup>; по его мнению, в истории борются личности, объединяя вокруг себя массы в качестве героев добра и зла.

Сюжет романа «Этторе Фьерамоска» д'Адзелио по-

---

<sup>1</sup> Это понимание лишь намечается в третьем его (неоконченном) романе «Ломбардская лига».

черпнул из краткого рассказа Франческо Гвиччардини в «Истории Италии». Д'Адзелио свободно приспосабливает материал истории к своему замыслу; под маской исторического воспоминания перед нами проповедь освобождения Италии от иностранного владычества силами сплотившихся смельчаков, проникнутых любовью к родине и готовых пожертвовать за нее жизнью. Д'Адзелио ставит главным образом тему национальную (борьба против внешних врагов); политическая тема (борьба против деспотизма) отодвигается.

Выступают два главных героя: *Эttore Ферамоска*—герой добра, и *Цезарь Борджиа*—герой зла. Но противопоставление делается не грубо и шаблонно, а выразительно и поэтически жизненно: оно проходит через богатый материал исторических событий и общественных течений. Рисуются два лагеря—патриотов, отдающих себя на служение родине, и эгоистов, преданных лишь своей карьере, стремящихся только к личному успеху и власти. В качестве носителей добра выдвигаются и женщины,—на первом месте Джиневра, связанная с Ферамоской любовью; за нею, на заднем плане, другие. Все эти фигуры—исторически типичны.

Самое событие выбрано не совсем удачно: оно не достаточно широко и приводит к тому, что борьба за достоинство своей страны втиснута в узкие формы торжества над противником на условном состязании—грушовом турнире. Но надо помнить, что это состязание (*giostra*) по предварительному вызову на бой (*disfida*)—нечто вроде аллегии: это Италия борется с иноплемениками. Все же сюжет не дает повествованию достаточного простора и не позволяет художнику раскрыть среду и характеры. Хронологические рамки рассказа очень тесны: они охватывают не больше одного месяца; прошлое действующих лиц сообщается в форме биографических отступлений. Все это затемняет общий план картины и не дает развернуться внутренней динамике целого.



Это, несомненно, недостаток. Но нельзя все же забывать, что роман написан ровно сто лет назад и является одним из ранних образцов этого жанра. В нем есть достоинства. Проводя определенную идею и давая простор дидактическому элементу, он в то же время дышит искренностью, свободен от навязчивой, мертвящей тенденциозности и богат красками жизни.

Называя автора романтиком, мы должны сделать оговорку. Сам д'Адзелио стремится к реализму, и не без успеха. Он эмансипируется от ходульности и преувеличений, часто связанных с романтическим стилем, и хотя у него еще прорывается риторика, в которую легко впадала итальянская литература, роман его изобилует колоритными страницами, изображающими природу, историческую обстановку и быт и говорящими о том, что автору хорошо знакомо прошлое страны и ее исторические типы. Некоторые второстепенные лица представляют собой удачные психологические фигуры,—к тому же в хорошем историческом освещении. Главные же герои вырисовываются на общей ткани рассказа ярко и выпукло. Д'Адзелио сумел выработать красивый и оживленный язык, одушевляющий также его политические памфлеты и письма.

Симпатии и антипатии автора ясно видны в отрицательном изображении высших классов. Симпатии его обращены на лиц, выбивающихся на видную арену собственными усилиями. В то же время народная масса, как основа изображаемых исторических событий, еще очень слабо выступает и в построении романа и в его образах.

На русский язык роман переводился в 1847 г. и был опубликован в «Современнике»; в 1874 г. отдельной книгой вышел другой перевод. Оба перевода неудовлетворительны, что и вызвало необходимость нового.

67. *Барлетта*—город на итальянском берегу Адриатического моря, севернее Бари; хорошо устроенный порт с оживленной торговлей. Он был окружен креп-

кими стенами. Центральный замок (крепость) в старейших своих частях относится к эпохе, в которую происходит действие романа. В городе воздвигнут памятник д'Адзелио.

68. *Испания* в 1500 г. заключила союз с Францией с целью совместного завоевания Неаполитанского королевства и раздела его территории. Союзным войскам удалось овладеть Неаполем и Сицилией и изгнать оттуда Арагонский дом; но при разделе между Людовиком XII и испанским королем Фердинандом Католиком произошел разрыв; между ними началась война, в которой итальянские вооруженные силы предпочли, в ожидании лучшего, держать сторону Испании (см. вводную статью).

— *Гонсало* (у итальянцев *Консальво*): Gonsalo Hernandez de Cordova y Aguilas), Gran Capitano, т. е. Великий Полководец; испанский полководец; участвовал в завоевании Гренадского халифата и в войнах Испании против французов за обладание Неаполем. В войне 1502—1503 гг., описываемой в романе, он вытеснил французов из Неаполитанского королевства. После присоединения Неаполя к Испании Фердинанд Католик назначил его туда вице-королем; популярность, приобретенная им в войске и в населении, возбудила подозрения короля. Гонсало был отставлен и последние годы жизни провел в опале; умер в 1515 г.

69. *Гаргано* (Monte Gargano)—горный полуостров на восточном берегу Италии (к северу от Барлетты), образующий как бы «шпору» на итальянском «сапоге».

70. *Газта*—город на западном побережье Италии, между Римом и Неаполем, военная гавань.

— *Манфредония*—приморский город, расположенный на южном берегу Гарганского полуострова, основан королем Манфредом (см. прим. к стр. 93).

71. *Тарент*—древний город на юге Италии (римский Tarentum), в глубине залива, разделяющего Калабрию и Апулию; торговый и военный порт.

74. *Колонна*—знаменитая и знатная римская фамилия феодальной эпохи и времен Возрождения; происходила по преданию от графов Тускуланских. Колонна владели значительной площадью в самом городе Рима, а также замками, сеньориями, городами в его окрестностях, в других областях Папской области и на юге Италии. Фамилия Колонна дала Риму ряд кардиналов и пап. Смелые, властные, честолюбивые, воинственные, жестокие представители ее всегда стремились к господству. Они сеяли кровавые раздоры в Риме и не раз вступали в открытую борьбу с папами. Особенно известна их постоянная вражда с другою знатною и сильною фамилиею феодальных римских магнатов—*Орсини*. История обоих родов дает любопытную картину внутренних отношений Италии того времени. Во времена Возрождения они увлекались литературою и искусствами. Упомянутый в романе *Просперо Колонна* (1452—1523), как и представители предшествующих поколений рода, принимал деятельное участие в войнах против французов при Людовике XII и при Франциске I. Он находился в числе вождей испано-итальянского войска, действовавшего против французов в Барлетте, как и его двоюродный брат *Фабрицио*.

— *Герцог* (il duca)—подразумевается *Цезарь Борджа*, сын папы Александра VI, один из самых могущественных князей Италии в это время, прославившийся смелостью предприятий, жестокостью, блестящими успехами и быстрым крушением. О нем, так же, как и о его отце, см. вводную статью. В дальнейшем он часто называется *Валентино*, так как, по сложении с себя духовного звания, получил от короля Людовика XII титул герцога Валентинуа (города и области в Южной Франции).

79. *Фьерамоска*—старинная знатная фамилия южной Италии (Капуанского края), не обладавшая большими богатствами, но отличавшаяся на военном поприще. К ней принадлежит главный герой настоящего романа—*Этторе*. Он воспитывался при пышном неаполитан-

ском дворе в качестве королевского пажа. Там покровительствовали наукам и искусству, но сохранилось и стремление к воинским подвигам. К молодому Этторе был привязан король Федерико; он давал ему не раз важные военные поручения. Этторе участвовал в войне против французов с самого начала их вторжения в Италию и, действительно, был при защите Барлетты. Потом судьба занесла его в Испанию, где он и умер в 1514 г. (см. Faraglia, «Ettore e la casa Fieramosca», Napoli, 1883).

87. *Христианнейший король* (le roi très chrétien)—эпитет, присвоенный французскими королями.

91. *El rey Chico*—мавританский правитель, с которым боролись испанцы при Фердинанде Католике.

92. *Фердинанд V*, король Арагонии (1452—1516), и *Изабелла*, королева Кастилии (1450—1504), своим браком (1469) соединили в одно целое два крупнейших на Пиренейском полуострове королевств, положив этим основание Испании, как мировому колониальному государству. Пользуясь раздорами между феодальной знатью и городами, Фердинанд V ослабил значение государственных чинов (кортесов), ограничивавших власть короля, и подчинил сословия созданной им крепкой государственной администрации. Духовенство Испании также было вынуждено покориться могуществу монархической власти. Королева Изабелла неуклонно поддерживала политику Фердинанда в своих владениях. Ярые фанатики, оба незыблемо стояли за господствующую церковь, за что и приобрели прозвище «католических». Они насаждали единство веры террором, ожесточенно преследуя еретиков, евреев и мусульман. Они же затеяли священную войну против последнего мавританского государства в Испании, которое покончило существование с падением Гренады (1492), в силу чего под власть Фердинанда попала вся южная часть полуострова. Фердинанд и Изабелла дали Колумбу средства осуществить его предприятие, и открытие Нового Света было для

Испании источником огромного экономического могущества. О роли Фердинанда в Италии см. вводную статью.

93. *Добрые рыцарские обычаи* составляли в эпоху расцвета феодализма на Западе целые кодексы «благородного» быта, права и нравственности.

— *Беневент*—древний город в южной Италии, к северо-востоку от Неаполя, известный в древности победою римлян над эпирским царем Пирром (275 до н. э.); в средние века центр одного из лангобардских герцогств. Около этого города в 1266 г. произошло между Манфредом Гогенштауфеном сицилийским и Карлом Анжуйским решительное сражение, в котором войско первого было разбито и сам он погиб.

— *Манфред*—узаконенный сын Фридриха II Гогенштауфена, короля Германии, Неаполя и Сицилии и императора Священной Римской империи, умершего в 1250 г.; после смерти старшего брата Конрада IV (1254) правил в Неаполе и Сицилии по малолетству племянника своего Конрадина. Папа Иннокентий IV не хотел признавать его права на престол в южной Италии, но Манфред силою захватил власть. Как и его отец, он покровительствовал просвещению; его двор в Палермо был полон поэтов, художников, музыкантов и ученых. Папы, желавшие уничтожения Гогенштауфенов, считавшие себя верховными синьорами Неаполя, призвали туда Карла Анжуйского. Сначала Манфред имел успех со своими союзниками—гибеллинами (битва при Монталерти, 1260), но потом противная сторона (Карл Анжуйский и гвельфы) одержала решительную победу в битве при Беневенте (1266), в которой сам Манфред был убит. Это был первый акт трагедии Гогенштауфенов. Последний же разразился в 1268 г., после поражения Конрадина при Тальякоццо, когда он был взят в плен и обезглавлен.

94. *Гвельфы и гибеллины*—политические партии в средневековой Италии. Распространено мнение, что первые были партией папы, вторые—императоров. Но

это верно только отчасти: политические отношения колебались. Действительное разделение базировалось на классовой основе: гибеллины рекрутировались преимущественно из феодальной знати, гвельфы—из городской торгово-промышленной буржуазии. Этот признак часто затемнялся междудомовыми раздорами, а иногда и личными интригами.

— *Карл Анжуйский* (1226—1285)—брат французского короля Людовика IX Святого, владетельный князь Анжу и Прованса во Франции. Он добился от папы признания своих прав на Неаполь и Сицилию, которые отнял у Гогенштауфенов, приведя к гибели двух последних отпрысков дома. Правил он везде деспотически, отягощая население своих владений поборами, что в конце жизни привело его к ряду неудач, омрачивших его политическую карьеру.

— *Инвеститура* (одеванием, наделением) по феодальному праву назывался ввод вассала во владение феодалом (леном), совершавшийся синьором, как последний акт при заключении феодального договора. Он сопровождался символическим действием—вручением из руки синьора вассалу зеленой ветки или куска дерна, заменяющих передаваемую землю. Договор закреплялся обычно грамотой (хартией). Папы стремились установить принцип, что Неаполитанское королевство является землей (феодалом), пожалуемой главой церкви как бы из патримония (наследия) святого Петра. В данном случае в силу измены Гогенштауфенов и нарушения ими верности (*fides*) римской церкви они лишались владения королевством, и папа вручил на него инвеституру новому лицу—Карлу Анжуйскому—в потомственное владение, с обязанностью возобновлять договор при смене поколений.

95. *Джованни Галеаццо*—молодой герцог миланский из фамилии *Сфорца*, власть которого фактически была захвачена его дядею *Лодовико Моро*. Последний был способный и деятельный, но неразборчивый в средствах искатель власти; чтобы устроить племянника,

он не остановился перед отравлением его (так утверждала общая молва). Он прибегал к вероломству и изменам, постоянно меняя союзников. Попав в плен к французам при Людовике XII, окончил жизнь во Франции. Это—менее видный и талантливый, чем Цезарь Борджа, но также характерный представитель коварной политики итальянских узурпаторов.

— *Форново*—город в Северной Италии (недалеко от Пармы), где в 1495 г. во время отступления короля французского Карла VIII произошло сражение между его войском и войсками образовавшегося против него союза итальянских государств. Французам удалось прорвать неприятельскую линию и открыть себе путь для дальнейшего отступления во Францию.

96. *Филипп де Комин* Commines; 1477—1511)—выдающийся французский историк, политик и дипломат, современник и советник Людовика XI, Карла VIII и Людовика XII, хорошо знакомый с итальянскими делами в эпоху войн с Францией, автор чрезвычайно интересных «Мемуаров», важного источника для истории эпохи.

103. *Дионисий* (Saint Denis)—французский святой.

— *Монсерратская мадонна*—изображение богоматери в знаменитом испанском монастыре ордена бенедиктинцев.

106. *Баяр* (Bayard; ок. 1477—1524)—знаменитый французский военачальник. Служил пажем Карла VIII, потом сопровождал его, а впоследствии Людовика XII в итальянских походах. За воинские подвиги получил почетное прозвище «рыцаря без страха и упрека». В 1503 г., когда разыгрываются события романа, он сражался в южной Италии против испанцев и однажды во время битвы один против двухсот всадников защищал мост на реке Гарильяно. Когда при Франциске I возобновились войны за Италию, Баяр неизменно принимал в них участие и в 1524 г. погиб от раны, полученной в одной маленькой стычке.

109. *Браччо да Монtone*—кондотьер (см. прим. к стр. 118), родился в 1368 г. В борьбе с папами ему

удалось создать себе почти самостоятельное государство с Перуджей в центре и многочисленными завоеванными землями на палльской и неаполитанской территории. Он лишь номинально признавал себя викарием (наместником) папы. Погиб в бою в 1424 г.

110. *Альфонсо II* (1448—1495)—неаполитанский король из Арагонского дома.

— *Джованни Понтано* (1426—1503)—итальянский ученый, гуманист, живший главным образом в Неаполе; был президентом неаполитанской академии, воспитывал детей короля Фердинанда I; был первым министром при двух его преемниках, Альфонсе II и Фердинанде II. Оставил много сочинений философского и литературного характера.

— *Карл VIII* (1463—1498)—король Франции из династии Валуа, совершивший в 1494 г. поход в Италию для завоевания Неаполя, окончившийся неудачно. О нем см. вводящую статью.

111. *Пьеро Каптони*—флорентийский политик и патриот, отстаивавший независимость родного города против французского короля Карла VIII.

112. *Сарацины*—арабское племя, упоминаемое древними писателями Аммианом Марцеллином и Птоломеем как кочевое и разбойничье. В начале средневековья это название перешло на всех арабов, и наконец так стали называться у христианских писателей все мусульмане вообще.

114. *Горации*.—Здесь вспоминается древнеримская легенда о том, как три брата из рода Горациев решили исход борьбы между Римом и Альбалонгой победоносными поединками с тремя братьями Куриациями.

118. *Кондотьер* (condottiere)—так назывались в Италии в XIV и XV вв. профессиональные предводители технически обученных военных отрядов, особенно конных, которыми они пользовались как источником дохода, нанимаясь на службу какому-нибудь городу или государю для выполнения военного предприятия.



Практика наемных войск изощряла искусство военного дела и вызывала соревнование между кондоттьерами; в то же время наемные дружины и их вожди были оторваны от социально-политических единиц, к которым поступали на службу, работали только для наживы и, не имея общих интересов с теми, кому служили, легко изменяли им.

121. Патриотическая речь Просперо Колонна, по идее автора, является важным местом романа. В ней подчеркивается излюбленная д'Адзелио мысль о борьбе за независимость нации, как лучшей цели для гражданина. Устами действующего лица д'Адзелио высказывает собственное убеждение о необходимости освобождения страны от иноземцев, защиты права и национальной чести.

— *Орсини* (Orsini Orso)—в подлиннике неподдающаяся переводу игра слов: «Орсини» значит «медвежий род»; их сторонники приветствовали их кличем: «Orso» (медведь); фигура медведя входила в фамильный герб Орсини.

137. Здесь приводятся наименования различных частей города Рима и его окрестностей. Луга (*Прати*)—обширная пригородная равнина на левом берегу Тибра, за замком св. Ангела, теперь вошедшая в черту города и застроенная. *Юлиева улица*—проведена в понтификат Юлия II (1503—1513) знаменитым архитектором Браманте, украшена монументальными дворцами XVI века. Превосходное ее описание находится в романе Эмиля Золя «Рим». *Площадь Фарнезе*—на ней расположен великолепный дворец, принадлежавший этому знатному роду, построенный архитектором Антонио да Сан-Галло Младшим и Микельанджело для принадлежавшего к этой фамилии папы Павла III (1534—1649). *Ворота святого Иоанна*—в южной части древнеримской Аврелиановой стены, перед построенным императором Константином Великим собором Иоанна Латеранского, связанным с важными событиями в истории папства.

138. *Остия* (Ostia)—древняя гавань Рима при впадении Тибра в море; на месте ее сохранилось много ценных развалин и памятников старины, которые тщательно раскапываются археологами. В последние годы совершенно перестроена.

144. *Santa Maria in Aracoeli*—принадлежит к числу главных церквей в Риме (с монастырем), построена на одной из двух вершин Капитолийского холма, где стояла некогда древнеримская цитадель.

149. *Храм св. Цецилии*—одна из древнейших церквей, в затибрской части Рима, существовавшая уже в V веке, с гробницею (конец II века) мученицы времен катакомб (подземных христианских кладбищ около Рима), о подвигах которой ходило много легенд.

154. *Лунгара*—улица, из числа главных артерий в затибрской части Рима. *Сикстинский мост*—мост через Тибр, построенный при папе Сиксте IV (1474) на месте древнего моста императора Валентиниана; три быка его построены до нашей эры.

157. *Романья*—область в северо-восточной части Средней Италии; входила в состав византийской провинции, потом составляла часть папской территории; в 1861 г. вошла в состав Итальянского королевства. Главный город—Болонья.

158. *Мессина*—приморский город на восточном берегу Сицилии, против Калабрии; в средние века и в эпоху Возрождения—второй по значению город на острове после Палермо.

160. *Катерина Корнаро*—дочь венецианского патриция Андреа Корнаро, отданная замуж за Иакова II Лузиннана, короля кипрского (1472). Венецианская республика была заинтересована в этом браке, надеясь в случае смерти короля притянуть к себе кипрское наследство. Но когда через год муж Катерины умер, она отстаивала свой трон в продолжение десяти лет. В конце концов Катерина была вынуждена отказаться от своего островного владения в пользу Венеции и провела остаток жизни на венецианской

территории в предоставленной ей маленькой сеньории.

161. *Урсула*—древняя святая, о жизни которой и подвигах еще в VII веке создалась большая легенда. Согласно преданию, она была дочерью британского короля и красавицей. Когда ее руки стал добиваться языческий государь, она заявила, что посвящает себя Христу, и отправилась на поклонение святыням Рима с десятью подругами. Каждую паломницу сопровождала тысяча служанок. На обратном пути, одиннадцать тысяч дев были изрублены около Кельна дикими гуннами, а души их одиннадцать тысяч ангелов унесли на небо. Повидимому, эта легенда была переработкой древнегерманского мифологического сюжета или же является отзвуком исторического факта избиения женщин гуннами в Кельне.

163. *Лилии*—один из символов в гербе французских королей.

— *Луи д'Арманьяк, герцог Немурский*—последний представитель древнего и знатного французского рода, пользовавшийся большим доверием короля Людовика XII, который, несмотря на его молодость, назначил его вице-королем Неаполя, а потом начальником вооруженных французских сил, действовавших в Италии против испанцев. Он не отличался военными талантами, вел дело неудачно и сам погиб в бою (1503). Испанский военачальник с почетом похоронил его тело в Барлетте. С его смертью род д'Арманьяков пресекся.

167. *Франджиспани*—римская знатная фамилия; представители ее примыкали к партии гибеллинов и враждовали с папами, но затем перешли на их сторону, подкупленные земельными пожалованиями. Джованни Франджиспани в 1268 г. выдал Карлу Анжуйскому последнего Гогенштауфена, Конрадина, за что был щедро награжден землями в Неаполитанской области.

168. *Пьемонт* (буквально — «страна у подножья гор») — северо-западная область Италии между Альпами, рекой Тичино, Апенниннами и морем. Главный

город—Турин. Находился под властью Савойского герцогского (потом королевского) дома.

182. *Подеста*—высшая судебная должность в муниципальном управлении итальянских городов. Подеста обычно избирались на полгода—из граждан другого города. В XV веке эта должность потеряла авторитет.

202. *Робер Гюискар* (Guiscard)—один из рыцарей выходцев из французской Нормандии, которые в XI веке совершали походы в Южную Италию и утвердили там свои владения. Он завладел последними византийскими землями в Апулии и Калабрии и был утвержден палой в качестве князя этих земель, признав высшие сеньориальные права папы над южной Италией. Он продолжал завоевания в Сицилии; то воювал с папою Григорием VII, то защищал его от императора Генриха IV. В 1085 г. был убит в бою во время экспедиции. Это был один из наиболее выдающихся норманских завоевателей.

224. *Ламентанский* (Номентанский) *мост*—на дороге из Рима в лежащую к востоку от города Сабинскую землю, в предгорьях Апеннин.

— Монастыри являлись феодальными собственниками земли, причем их аббаты и аббатиссы пользовались сеньориальными правами.

227. Венецианский монетный двор (Зесса) чеканил золотую монету, ходившую, благодаря огромному кредиту Венеции, не только по всей Италии, но и в других странах. Венецианские золотые с изображением св. Марка, патрона Венеции, назывались «цеккинами», или «дукатами» (равнялись 10—15 золотым франкам). В международном торговом обмене с ними конкурировали флорентийские золотые «фьорины».

237. *Джироламо Риарио* (1443—1488)—племянник («непот») папы Сикста IV; завладел при помощи церковных войск рядом городов в Романье; участвовал в попытке свалить дом Медичи во Флоренции (заговор Пацци, 1478). Погиб жертвою заговора.

250. *Сант Яго ди Компостелья*—монастырь в северо-западной Испании, центр массового богомолья из всех стран католической Европы. Орден Сант Яго был очень богатой рыцарско-монашеской организацией.

251. *Яйцевидный замок* (Castel del Uovo)—средневековый замок (анжуйской эпохи) возле Неаполя, расположенный на скалистом острове.

255. *Виттория Колонна*—дочь Фабрицио Колонпа, родилась в альбанских окрестностях Рима в 1490 г. В 1507 г. вышла замуж за Ферранте д'Авалос, маркиза Пескара, из знатной испанской фамилии. После бурной политической жизни муж ее умер в 1525 г., и она прожила в вдовстве до своей смерти (1547). Она получила гуманистическое образование, которое дополнила в постоянном общении с крупными представителями итальянского Возрождения. Красавица и даровитая поэтесса, она была склонна к мистической религиозности. Известна ее платоническая дружба с Микельанджело. Д'Адзелио представляет Витторию взрослой девушкой, между тем как в 1503 г. ей было всего тринадцать лет.

268. *Матадор* и *торeadор* (тореро)—бойцы, участвующие в боях быков в Испании; это кровавое развлечение перенесено было в Италию и южную Францию; в Испании оно распространено до сих пор.

279. *Трубадуры* (trouvatori)—средневековые провансальские поэты (южная Франция).

281. *Рафаэлло дель Моро*—известный флорентийский художник-резчик.

288. *Герцог Монпансье*, Карл—из младшей линии дома Бурбонов, обладатель обширных владений в различных местностях Франции и огромных богатств; видный полководец (коннетабль Франции) при Людовике XII и Франциске I; участвовал в войнах французских королей за Италию; после столкновения с Франциском I изменил ему и перешел на сторону его врага, императора Карла V. В 1527 г. командовал имперским войском и был убит при штурме Рима.

313. *Веронезе*—артистическое имя знаменитого художника Паоло Кальяри (1528—1588); родился в Вероне; известен своими большими, часто декоративными картинами на библейские и исторические сюжеты, с широкой композицией, яркими красками, световыми эффектами и большим количеством фигур.

324. Сюжет взят из древнегреческого мифа о походе аргонавтов за золотым руном. Средневековая драма подвергла его переработке в духе феодального быта.

327. *Сид-Кампеадор*—любимый герой испанских средневековых народных преданий, поэм, романсов и драм. В основе—историческое лицо; Сид жил в XI веке, был рыцарем, особенно отличился в борьбе с маврами. Народная фантазия украсила его образ множеством легенд, которые наслаивались из века в век. Трагикомедию «Юность Сиды» («Las mocedades del Sid») написал Гильен де Касто в начале XVII века; д'Адзелио ошибочно переносит ее в начало XVI века.

348. *Макиавелли*, Никколо (1469—1627)—итальянский политический деятель, дипломат и писатель; происходил из патрицианской, но бедной флорентийской семьи; при республике (1489—1512) занимал должность секретаря Коллегии Десяти. После реставрации Медичи находился в изгнании и в это время написал главные свои сочинения: «Рассуждения о Тите Ливии», «Искусство войны», «Флорентийская история», «Князь». Последняя книга стала настольной для практиков абсолютизма последующих веков. Под названием «макиавеллизма» разумеется политика, характеризующаяся отсутствием принципиальности и преследующая лишь эгоистическую цель личного успеха и сохранения власти в своих руках.

350. Письмо папы Александра VI к сыну очень показательно для личности писавшего и его политики. Для отца и сына характерно при полном отсутствии религиозности крайнее суеверие, вера в талисманы

и предсказания будущего по звездам (астрологию); это довольно распространенное в то время противоречие. Упомянувшиеся в письме замыслы против Сиены и графа Джордано Орсини—этапы завоевательной политики Борджа, оставшиеся неосуществленными. Кардинал Орсини был заключен в тюрьму и там отравлен после того, как у его родных были выжаты огромные средства в виде выкупа. Гравина (тоже Орсини), Вителоццо Вителли, Оливеротто да Фермо вместе с еще одним Орсини (Паоло) были кондотье-рами на службе у Цезаря Борджа. Они взбунтовались в 1502 г., но он сумел обмануть их, заманил к себе и предал смерти. Письмо в действительности относится к моменту, несколько более раннему.

353. *Герцог Гандиа*—брат Цезаря Борджа, которого обвиняли в его убийстве. *Герцог Бизелли* (правильнее—Бишелья)—второй муж Лукреции Борджа, убитый по приказанию Цезаря. *Асторре Монфредди*—тонкий и очень красивый владетель Фаэнцы, был захвачен в плен при взятии города, подвергся насилию и потом был убит в Риме.

374. *Савонарола* (Girolamo Savonarola; 1452—1498)—ученый богослов, монах Доминиканского ордена, проповедник и мистик, одержимый духом обличения и пророчества. Он был приором монастыря св. Марка во Флоренции и в последнее десятилетие XV века явился пламенным обличителем пороков служителей церкви (начиная с папы) и мирян. В силу доверия, которым он пользовался у широких масс, Савонарола был фактически облечен высшей властью в Флорентийской республике и стремился утвердить в ней теократическую демократию. Он боролся против аристократических привилегий, роскоши и всей светской культуры расцветавшего гуманизма. Его сторонники были разгромлены, а сам он схвачен, судим и казнен в 1498 г. *Плакальщицами* называли его сторонников, призывавших к покаянию, в противоположность *бесноватым*, защитникам эпикурейских радостей жизни.

409. Вся XIX глава занята описанием состязания между двумя группами итальянских и французских воинов; она представляет драматическую кульминацию патриотической героики романа, что подчеркивается его подзаголовком. Эпизод имеет основание в исторической действительности: событие произошло 13 февраля 1503 г. на поле близ Барлетты; краткий рассказ о нем имеется у современного историка *Франческо Гвиччардини* в «Истории Италии» (кн. V, гл. 42). В этом рассказе Этторе Фьерамоска тоже фигурирует как главное действующее лицо, но в остальном описания историка и беллетриста не вполне совпадают, поскольку последний украсил свой рассказ вымышленными подробностями. *Турниры* были типичным явлением рыцарской жизни средневековья. Существовали два вида их—единоборства (в Италии они обычно назывались *giostra*) и многоборства, коллективные состязания. Они являлись не только воинским упражнением, праздничным развлечением, соответствовавшим нравам общества, его любимым спортом, но также способом разрешать затруднительные случаи индивидуальной, сословной и даже национальной жизни. Они могли представлять, по понятиям времени, способ испытания морального достоинства отдельного лица или группы лиц, средством смыть оскорбление (своего рода дуэлью), формой соревнования в доблести и т. п. В частности, состязание в Барлетте было предпринято вызвавшей его стороной как символ борьбы за честь всей итальянской нации и явилось признаком пробуждавшегося в раздробленной Италии национального чувства. Оно вызвало особую литературу (см. «*Historia del combattimento di tredici italiani con altrettanti francesi*», Napoli, 1844; F. Abignento, «*La disfida di Barletta*», Trani, 1908). Победа тринадцати итальянцев была прославлена современниками: на месте боя был воздвигнут памятник; снесенный французами в 1805 г., он был впоследствии восстановлен. Роман д'Адзелио подновил популярность этого воспоминания.



(Ср. заметку «Disfida di Barletta» в статье об этом городе в новой большой Enciclopedia Italiana, а также De Cesare, «La disfida di Barletta nella storia e nel romanzo», Citta del Castello, 1903).

444. Трагический конец Фьерамоски не имеет основания в исторической традиции и является плодом фантазии д'Адзелио, как и весь любовный элемент романа.

446. Последние слова романа представляют направленное к землякам автора—пьемонтцам—патриотическое увещание—стоять за родину в трудную для нее минуту.

## БИБЛИОГРАФИЯ

Сочинения д'Адзелио изданы в двух сборниках: 1) «*Scritti postumi*», под ред. А. Ricci (Firenze, 1871), 2) «*Scritti politici e letterari*», под ред. М. Tabbarrini (Firenze, 1872). — Есть также несколько собраний его писем: *E. Rendu*, *Correspondance politique de Massimo d'Azeglio* (Paris, 1867); «*Lettere inediti al marchese Emmanuele d'Azeglio* (Torino, 1883); «*Lettere al fratello Roberto*» (Ed. C. Briano); «*Lettere al genero M. Ricci*» (Milano, 1872); «*Lettere a Giuseppe Torelli*» (Milano, 1870); «*Lettere a Carlo di Persano*» (Torino 1878); «*Lettere inediti di M. d'Azeglio a Tommaso Tommasini*» (Roma, 1885); есть еще сборник писем, адресованных к нему — «*Lettere inediti di uomini illustri a M. d'Azeglio*» (Firenze, 1884). Мемуары д'Адзелио — «*I miei ricordi*», 2 тт. (Firenze, 1867, есть франц. перевод).

Биографии д'Адзелио: *Giuliani* (Firenze, 1866), *Pavesio* (Firenze, 1871); *Morozzo* (Firenze, 1884); интересен очерк о нем в книге А. Reumont, *Charakterbilder aus der neueren Geschichte Italiens* (Leipzig, 1886); новейшая биография — *N. Vacaluzo*, *Massimo d'Azeglio* (Roma, 1920); *G. Gentile*, *La cultura piemontese e M. d'Azeglio* (в журн. «*La Critica*», XX, 1922). О нем, как о живописце, см. *C. F. Biscarra*, *L'opere di M. d'Azeglio artista* (Torino, 1866); *A. Tabbarrini*, *Di M. d'Azeglio pittore*. См. специальную библиографию: А. *Vismara*, *Bibliografia di M. d'Azeglio* (Milano, 1878).

Литература по истории итальянского «рисорджименто» XIX века обширна, но законченного синтеза эпохи нет; наиболее обстоятельные обзоры даны у *Lavisse — Rambaud*, *Histoire générale de l'Europe* (в последних двух томах; есть русский перевод); *Ch. Seignobos*, *Histoire politique de l'histoire contemporaine*, 2 т. (последнее, переработанное издание, Paris, 1924—19.6; русск. перев. с 1-го изд.). В обоих последних сочинениях есть указатели литературы. Наиболее полная история Италии XIX века: *B. King*, *History of the unity of Italy*, 2 тт. ( 901; есть франц. и русск. перев.). Краткое изложение: *Sorria* (Sorrin), *История Италии в XIX веке* (русск. перев. Спб. 1899). *Анджелли*, *История социализма в Италии* (2 тт. русск. перев. 1907). Подробный фактический обзор: *Bertolini*, *Storia del Risorgimento italiano* (Milano, 1887). Основательное руководство по истории итальянской литературы: *A. d'Ancona e Vacci*, *Manuale della letteratura italiana* (посл. изд. 1900, 1910; т. V). Краткий обзор: *A. Овэмм* (*Hauvette*), *История итальянской литературы* (русск. перев. Спб. 1908); *В. Фриче*, *История итальянской литературы XIX века, часть I* (Москва, изд. «Задруга», 1916).

### ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Массимо д'Адзелио. <i>С фрески Бегола</i> . . .	6—7
Поединок. <i>С картины работы д'Адзелио</i> . .	64—65
Просперо Колонна. <i>С фрески XVI века</i> . .	125
Баяр. <i>С рисунка в библиотеке в Гренобле</i> .	169
Гонсало Кордовский. <i>С фрески XVI века</i> .	263
Витгория Колонна. <i>С портрета работы Мучиано</i> . . . . .	315
Цезарь Борджа. <i>С фрески XVI века</i> . . .	359



## СО Д Е Р Ж А Н И Е

<i>Ив. Гресс</i> — Массимо д'Адзелио . . . . .	7
<i>Его же.</i> Италия и Европа в XV и XVI веках . . . . .	41
Э т т о р е Ф ь е р а м о с к а	
Глава I . . . . .	67
Глава II . . . . .	85
Глава III . . . . .	107
Глава IV . . . . .	118
Глава V . . . . .	146
Глава VI . . . . .	162
Глава VII . . . . .	173
Глава VIII . . . . .	191
Глава IX . . . . .	205
Глава X . . . . .	223
Глава XI . . . . .	244
Глава XII . . . . .	257
Глава XIII . . . . .	285
Глава XIV . . . . .	306
Глава XV . . . . .	323
Глава XVI . . . . .	345
Глава XVII . . . . .	366
Глава XVIII . . . . .	386
Глава XIX . . . . .	409
Заключение . . . . .	436
Примечания . . . . .	447
Библиография . . . . .	469
Перечень рисунков . . . . .	471



*Ред. А. К. Джигалов  
Художественная редакция  
М. П. Сокольников  
Лит.-техническ. наблюдение  
А. Н. Плавильщиков  
Техред. Л. А. Фрязинова.  
Наблюдение на производстве  
М. И. Козлов*

*Сдано в набор 17. XII. 1933.  
Подписано в печать 16. VI. 34.  
Тир. 5.300. Уполномоч. Главли-  
та В—37878. Зак. тип. № 7759  
Зак. «Ас» 80. Илд. А—1. Бум.  
74×105<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. П. л. 14<sup>1</sup>/<sub>8</sub><sup>1</sup>/<sub>16</sub>+1  
екл. Авт. л. 17,5. Тип. зн.  
на 1 бум. л. 93568*

*Отпечатано на ф-ке книги  
«Красный пролетарий», Крас-  
нопролетарская, 16.*

*Цена Р. 5,00  
Переплет Р. 2,00*







МАССИМО  
Д'АДЗЕЛИО

ЭТТОРЕ ФЬЕРАМОСКА



ACADEMIA

